

Бела
Сас

Без всякого принуждения

История одного сфабрикованного процесса

Восточная Европа — опыт тоталитаризма

Данное издание выпущено
в рамках проекта «Восточная Европа — опыт тоталитаризма.
Зарубежная художественная литература XX века»
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия
и Института «Открытое общество» — Будапешт.

CEU

Издание подготовлено при поддержке фондов
«Венгерская книга» и «Венгерский дом переводчиков» (Будапешт)

БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА
КОММЕНТАРИИ

Szász Béla

MINDEN KÉNYSZER NÉLKÜL

Egy műper története

EURÓPA KÖNYVKIADÓ
Budapest 1989

Бела Сас

БЕЗ ВСЯКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

История одного сфабрикованного процесса

Перевод с венгерского
Елены Малыхиной

КОММЕНТАРИИ
Москва 2003

Художественное оформление
Павла Сандомирского

Общее редактирование, комментарии и послесловие
Вячеслава Середы

ISBN 5-7327-052-X

БЕЗ ВСЯКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

История одного сфабрикованного процесса

В этой книге нет вымышленных лиц.
Все они живы или были живы когда-то.

1

СТОЛ БУКВОЙ «Т»

Здание министерства сельского хозяйства было построено в Будапеште еще при Марии Терезии, то есть два столетия тому назад. Собственно говоря, предназначалось оно под казармы. Однако лишь немногие в Венгрии помнят о столь символическом историческом факте, потому что уже в молодые годы наших дедов именно на это латаное-перелатаное здание поглядывали занимавшиеся сельским хозяйством венгры, именно отсюда ждали они — и ждали понапрасну поколение за поколением — решения аграрных проблем страны.

Величественная, даже чрезмерно широкая парадная лестница ведет в кабинеты министра, государственных секретарей и заведующих отделами. Но боковые и задние части здания прорезают скупо освещаемые тусклыми лампочками глухие, без окон, коридоры. Служебные помещения, даже в 1949 году, еще полнились пылью и затхлым запахом десятилетиями копившихся здесь документов, а в архивах витал дух почивших добрую сотню лет назад чиновников.

В конце 1948 года я был назначен заведующим отделом печати министерства сельского хозяйства. В мои апартаменты вел не элегантный светлый и просторный коридор, но и не тусклые, унылые коридорчики. К некоторым референтам, правда, можно было добраться только по этим темным переходам, но журналисты, прямо с парадной лестницы, попадали в просторный зал, из которого дверь слева вела к моему заместителю, а справа — в небольшую комнату секретарши и дальше — в мой кабинет.

24 мая 1949 года, примерно в половине десятого, в зале собрались журналисты, в основном иностранные, но были и венгры. Мы намеревались посетить некогда всемирно известный конный завод. Я пригласил на экскурсию Б.Й.Б.Грюнвельда, голландского атташе по сельскому хозяйству, который, надо полагать, чувствовал себя сиротливо и неуютно в Будапеште, так как был единственным из западных дипломатов аграрием и ему редко доводилось бывать на каких-либо предприятиях или принимать участие в непринужденном обсуждении касавшихся его профессии вопросов. Поэтому он являлся ко мне чуть ли не еженедельно, беседу вел осторожно и тактично, поскольку чувствовал ситуацию, должно быть, острее, чем я сам.

Грюнвельд ждал отправления в моем кабинете. Мы сидели в обтянутых кожей креслах возле окна, и голландский атташе как раз стал расспрашивать меня об опытах венгерского агронома Курта Седлмайера[1],

когда сотрудник, которому была поручена организация нашей маленькой экспедиции, объявил, что все готово и можно отправляться. Вообще аккредитованные журналисты приехали на собственных машинах, иностранцы же, командированные временно, и венгры воспользовались машинами министерства; но я — хотя тогда уже это было несколько необычно — принял предложение Грюнвельда и согласился ехать вместе с ним в его машине. Я уже устроился рядом с голландским атташе, мотор уже заурчал, как вдруг к нам подбежал один из референтов отдела печати и сообщил, что Геза Лошонци[2], госсекретарь президиума Совета министров, направил ко мне двух аргентинских журналистов. Кроме меня никто в отделе не говорит по-испански — что ему с ними делать? Аргентинцы улетают домой завтра.

Я провел в Аргентине семь лет. Мне было интересно услышать рассказы коллег о Буэнос-Айресе. Словом, мои колебания длились недолго. Я извинился перед Грюнвельдом, объяснил, что покидаю его ради аргентинцев, поскольку они уезжают, мы же и так имеем возможность часто встречаться. Мы быстро условились, что через несколько дней он мне позвонит, а я за это время договорюсь, чтобы он мог посетить Седлмайера. С этим я и вернулся в здание министерства, однако обещание, данное Грюнвельду, выполнить так и не смог.

Аргентинцы, сопровождаемые представителем Управления международных связей, растерянно переминались с ноги на ногу в вестибюле. Мы ждали лифт. В Венгрии, как в частных домах, так и в учреждениях, лифт обслуживал только тех, кто поднимался вверх, вниз же каждому приходилось спускаться на своих двоих. Поэтому могло случиться так, что пока это старомодное сооружение возносило нас вверх, трое следователей из Управления государственной безопасности, явившихся за мной в тот короткий промежуток времени, когда меня в кабинете не было, как раз спускались по лестнице вниз; а чуть раньше, пока я с Грюнвельдом торопился вниз на первый этаж, следователи УГБ теснились в подымавшемся вверх лифте. Все это я реконструировал частично пять-шесть часов спустя из мимолетно брошенных замечаний и отдельных слов следователей, частично же, через пять-шесть лет, из воспоминаний моей бывшей секретарши.

Одному из офицеров тайной полиции, представившемуся журналистом, моя секретарша сказала, что я вместе со всеми участниками поездки вернусь днем, часа в три. Мне она об этом визите не упомянула, поскольку «журналист» не просил мне что-либо передать и вообще выглядел обыкновенным юнцом репортером, вынюхивавшим какие-нибудь новости. Но секретарша моя не знала, что еще утром мне звонили из Центрального Комитета партии и предупредили, что я должен быть на собрании сельской агитационной комиссии не к трем часам, а

немного раньше, примерно к половине третьего, так как следовало кое-что обсудить еще до начала заседания. Поэтому, наговорившись вдоволь с аргентинцами, я за несколько минут до половины третьего пешком отправился в ЦК партии, находившийся совсем близко. А несколькими минутами позже половины третьего один из следователей опять объявился у меня в кабинете.

В 1945 году Венгерская коммунистическая партия заняла под свой центр дом № 17 по улице Академии. Позднее она прихватила и соседний угловой дом, а потом еще и обе стороны улицы Арпада, идущей от улицы Академии. Еще позднее она заняла целый ряд зданий, выходивших на улицу Надора, параллельную улице Академии. Таким образом Центральный Комитет проглотил несколько кварталов. Но аппетит партии возрастал. Все больше жителей района выселялось из принадлежавших им квартир, кабинеты и прочие помещения постоянно менялись местами и перестраивались. Вместо перманентной революции партийный центр жил в лихорадке перманентного переезда. Отдел агитации на селе в мае 1949 года занял целую анфиладу прекрасно обставленных заново комнат на третьем этаже дома по улице Надора.

Вызвали меня к Яношу Кукучке, заместителю заведующего отделом. Свою смешно звучавшую фамилию* он не сменил, рассудив, вероятно, что забавная фамилия послужит ему лишь на пользу, ведь любой, услышав ее впервые, непременно запомнит это презрительно-ироничное прозвище — в давние крепостнические времена такие прозвища нередко становились фамилией крестьян северной Венгрии. Свое крестьянское происхождение Кукучка, из батраков ставший партийным функционером, подчеркивал еще и тем, что ходил всегда в сапогах и высокой меховой шапке, хотя все это никак не соответствовало ни его городскому образу жизни, ни погоде. Помимо имени, происхождения и живого ума прекрасную карьеру улыбчивому молодому человеку сулило еще одно его достоинство: он всегда, даже наперекор собственному опыту и очевидным фактам, с готовностью и убедительным воодушевлением умел разделять взгляды своих начальников.

И вот мы сидим друг против друга, он — за своим письменным столом, я — перед ним. Однако, едва мы успели усесться и обменяться первыми фразами, Кукучку на полуслове прервал телефонный звонок. Он поднял трубку, затем протянул ее мне.

— Это тебя. Секретарша товарища Керестеша.

В сущности коммунист Михай Керестеш, государственный секретарь министерства сельского хозяйства, был реальным главой министерства; к

---

* От венг. глагола *kukucskálni* — подглядывать, подсматривать. *(Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, — примечания переводчика).*

министру Иштвану Чала, из партии мелких хозяев, чиновники относились как к манекену в витрине. Его возили в роскошных машинах на всяческие приемы; время от времени в печати появлялись, правда, статьи, им подписанные, — которые министр до этого даже не читал, как не читал и в напечатанном виде, — но в своем министерстве его голос значил едва ли больше, чем голос вахтера. Хотя с многопартийной системой тогда еще не было покончено, в министерстве сельского хозяйства через государственного секретаря всем заправляла коммунистическая партия.

В тот день Керестеш собирался с крестьянской делегацией в Советский Союз, поэтому ничего удивительного не было в том, что в последние минуты ему пришло в голову еще нечто неотложное. Но секретарша не переключила аппарат на него, сообщила только, что депутат от крестьянской партии Сюч — в соответствии с правилами хорошего тона коалиции, второй руководитель делегации — ведет переговоры в кабинете госсекретаря и желает со мной встретиться еще до их отъезда. Я сказал, хорошо, как только закончится совещание, я вернусь в министерство.

Через две минуты телефон зазвонил вновь.

— Опять тебя, — раздраженно сказал Кукучка, которому я тем временем успел сообщить, что было нужно Сючу. — Скажи им, — добавил он, — пусть Сюч сам зайдет сюда, если дело такое спешное, и вызовет тебя с заседания. Мы сейчас начинаем.

Я передал слова Кукучки секретарше Керестеша и положил трубку. Однако не прошло и полутора минут, как снова звонок. На этот раз я взял трубку сам.

Я услышал совершенно незнакомый мне голос: депутат Сюч говорит, сказал он, что ему необходимо очень срочно что-то сообщить и передать мне, но он сейчас в кабинете Керестеша, ждет звонка, выйти не может. Очень просит меня придти, хотя бы на пять-шесть минут. Больше времени это не займет. Если я без машины, он охотно пришлет свою. Да бросьте, говорю, садиться в машину из-за каких-то ста пятидесяти метров? Ну что ж, если так, сейчас выхожу, пообещал я, невзирая на протестующие жесты Кукучки, и на том разговор был окончен.

— В крайней случае, начнете совещание без меня, — сказал я Кукучке, — а я через пятнадцать минут вернусь.

Слово свое — как и обещание, данное Грюнвельду, — я не сдержал, хотя так спешил, что оставил в кабинете Кукучки не только портфель, но и плащ. Между тем слабый западный ветер нагнал меленький дождь, и хотя первая неделя мая сулила раннее лето, сейчас, в конце месяца, плащ оказался бы кстати.

Я поднял воротник пиджака и быстро зашагал через улицу. Я не посмотрел ни направо, ни налево, тем паче назад и потому не мог заме-

тить, что за мною идет худой человек в очках. Позднее он как-то спросил меня, видел ли я его в здании ЦК, когда спускался по лестнице, он же шел мне навстречу и сразу повернул назад. Признаюсь, я не обратил на него внимания. Но в министерстве, как только я свернул в коридор к госсекретарю, мне преградили путь двое мужчин. Один был плотный, с сединой в волосах, с правильными чертами лица, другой высокий, но обрюзгший от переедания, с на редкость грубой физиономией.

Они спросили, как меня зовут. Я назвал себя. Тогда первый вынул свое удостоверение.

— Государственная безопасность, — сказал он многозначительным шепотом, — будьте любезны пойти с нами.

— Зачем? — удивился я. — Почему не позвонили, почему не вызвали, если вам что-то от меня понадобилось?

— Дело очень срочное, — ответил перекормленный верзила и сунул руку в карман, но не вынул ее.

— Весьма сожалею, но я сейчас занят. Государственный секретарь Керестеш...

— Прошу, нас внизу ждет машина, как только закончим, привезем вас назад.

Чувствовалось, что возражать не имело смысла, и, хотя я не знал, как объяснить появление сотрудников госбезопасности, пришлось подчиниться. Для меня еще не было очевидно, что в каком-то смысле я уже не свободный человек, ведь с 1945 года и до сей поры функционеров-коммунистов не арестовывали. Если выявлялись какие-нибудь давние прегрешения или выплывали на свет факты чьей-то нечистоплотности в денежных вопросах, дело прежде всего рассматривалось партийной контрольной комиссией, провинившегося исключали из партии, и только после этого могла идти речь о вмешательстве следственных органов.

Мы спускались по лестнице. На сей раз не разминулись. Впереди шел седоватый крепыш, за ним я, а последним, вроде погонщика, топал парень с грубым лицом. Встречные здоровались со мной, без сомнения никто из них даже не подозревал, что жизнь человека, которого они приветствуют, оказалась на водоразделе и теперь человек этот отправляется открывать туманные края, которые, собственно говоря, давно его поджидали.

Мы покинули министерство через парадный вход, свернули направо, в небольшую улочку, где нас ждала средних размеров черная машина. Около нее стоял худой сыщик в очках. Он молча открыл заднюю дверцу машины. Меня посадили в середине; оба сопровождающих не без труда уместились, один справа от меня, другой слева. Очкарик сел рядом с шофером.

— Куда мы едем? — спросил я.

— В центр, — с готовностью ответил седой и тут же попытался завести светскую беседу, которая была бы вполне уместна в стенах какой-нибудь гостиной. Сказал, что знает меня не только в лицо, а однажды мельком встречался со мной. Я как раз беседовал с кем-то о театре, о средневековой испанской драматургии. Это было на приеме. Я не помню? Нет, не помню. Но детектив по-прежнему улыбался и всячески старался держаться дружелюбно.

Машина остановилась на проспекте Андраши, перед домом № 60. До 1945 года этот дом был цитаделью нилашистов, венгерской фашистской партии. В 1945 году его заняла политическая полиция и мало-помалу — как и Центральный комитет коммунистической партии — поглотила соседние здания, затем весь квартал и, наконец, выселила жильцов из доходных домов соседних улочек, в виде буквы U обрамлявших квартал. У всех входов и на всех углах стояли вооруженные автоматами охранники в полицейской форме, а со стороны проспекта Андраши тротуар был перекрыт тяжелой железной цепью, крепившейся на столбиках, отгораживая здание от граждан народной демократии. На поддерживавших цепь столбиках и на оконных карнизах фасада по проспекту Андраши автоматчикам приветливо кивали красными головками герань.

Следователи, предъявив свои удостоверения, пешком сопроводили меня на второй этаж. Из главного коридора мы свернули в роскошное помещение, расположенное в передней части здания, — с зеркалами, обшитое деревянными панелями с затейливой резьбой, напоминавшее салон каких-нибудь балканских нуворишей рубежа веков.

— Мы к товарищу Петеру, — почти проворковал очкарик и открыл дверь.

Генерал-лейтенант Габор Петер[3] был главой политической полиции. Я уже не раз встречался с ним, обычно на официальных приемах. Как большинство участников некогда нелегального коммунистического движения, мы с ним были на «ты». В длинной, но не широкой приемной Петера был письменный стол и две пары кресел. Мой старший спутник указал на темно-бордовое кресло в стиле бержер.

— Присядьте.

Я сел и сказал:

— Мне хотелось бы позвонить в министерство. Как мне сказали, меня ожидает депутат Сюч в кабинете государственного секретаря Керестеша.

Я не сделал ни малейшего акцента на словах «как мне сказали», так как еще не был уверен, что от имени Сюча звонили детективы. Трое мужчин переглянулись.

— Я сейчас же позвоню ему, — вызвался перекормленный парень, — скажу, что через полчаса, может, чуть позже, вы вернетесь.

С этими словами он открыл двойные, с мягкой обивкой, двери кабинета своего начальника и скрылся. Я закурил, но моим сопровождающим закурить не предложил. Кроме нас в приемной находился лишь молодой человек в форме, светловолосый, с правильными чертами лица. Судя по погонам — старший лейтенант. Облокотившись на свой письменный стол, он со скучающим видом теребил телефонный шнур. Прошло минут пять-шесть, наконец, младший детектив вернулся.

— Поехали! Нам не сюда, — сказал он. — А в министерство я позвонил, можете не беспокоиться, — кивнул он мне.

На этот раз мы покинули здание через боковую дверь, выходившую на улицу Ченгери. У двери нас ожидал гигантский американский «бьюик». Лишь когда мы оказались в машине, я обратил внимание, что все окна, в том числе и заднее, а также стеклянная стенка между шофером и салоном задернуты черными занавесками, полностью отделявшими пассажиров от внешнего мира. Пожилой детектив и молодой, с грубый лицом парень опять посадили меня между собой, и, как только машина рванула вперед, с ходу набрав бешеную скорость, седой сказал мне:

— А теперь мы завяжем вам глаза.

— Черт возьми, что это еще за игры в индейцев? — возмутился я.

— Лучше порадуйтесь, — ответил детектив, вынимая заранее сложенную столовую салфетку. — Раз мы завязываем вам глаза, у вас остается надежда вернуться...

Это был первый, хотя и не слишком внятный намек на угрозу: до сих пор они старались, обращаясь ко мне, держаться со скромной любезностью и неуклюже изображаемой приветливостью, как если бы им было важно, чтобы позднее я не выразил недовольства их поведением. Даже в эту минуту слова детектива показались мне наивно романтическим ворчаньем, а не скрытым предупреждением о действительной опасности. Короче говоря, я ничего не ответил, просто закурил. Тем временем машина, как я определил по звуку, проехала по какому-то из дунайских мостов и помчалась по горам Буды, причем на такой скорости, что шины визжали чуть ли не на каждом повороте, а меня так и швыряло то на моего правого, то на левого соседа.

Мы летели так добрых полчаса, но за все время не обменялись ни словом. Наконец машина свернула, вероятно, в какой-то переулок, потому что вдруг сбросила скорость и вскоре остановилась. Открылась и захлопнулась передняя дверца машины, заскрипели металлические ворота, и мы покатили дальше по песчаной дорожке, пока, мягко подпрыгнув, не въехали, судя по эху от громко заурчавшего мотора, в гараж. Хотя водитель тотчас заглушил мотор, мои сопровождающие еще довольно долго сидели не шевельнувшись. Все это время царили полная

тишина и молчание. Только органу обоняния удалось получить некоторую информацию. В нос волнами ударяли запахи машинного масла и бензина. Я, правда, ничего не видел с завязанными глазами, но, вероятно, по сигналу какого-нибудь фонаря задвигались сразу не только мои соседи, но и третий сопровождающий.

Мне помогли выбраться из машины, справа и слева подхватили под руки и повели вниз по лестнице. Втроем мы на ней не умещались, да и шагали вразнобой, то кто-то один выбивался вперед, то вся троица двигалась наискосок, мешая друг другу, толкаясь и спотыкаясь; мы спускались все ниже и ниже. Потом ступеньки кончились, и провожатые отпустили мои руки. Захлопнулась железная дверь, и кто-то внезапно резким движением сорвал с моих глаз повязку.

Меня окружало пять-шесть мрачного вида мужчин.

— Предатель, — прошипел круглолицый коротышка.

— Гадина, — добавил другой, оскалившись, но едва слышно.

Еще более, чем это противоречивое сочетание шепота и угрожающего вида, поражало и вызывало недоумение то, что лица этих мужчин выглядели скорее мрачно запуганными, чем агрессивными, как если бы меня окружали внешне состарившиеся, но в душе так и не ставшие взрослыми дети, которые со страху готовятся сейчас совершить убийство.

— Вы его обыскали? — спросил один. — Оружия нет? Точно? — И приказал мне: — Раздеться, живо! До нижнего белья.

Они прощупали даже швы на моем нижнем белье, отобрали все — кошелек, часы, вечную ручку, сигареты, зажигалку, пояс, шнурки от ботинок, оставили только носовой платок. Все это время я стоял, прислонившись к железной двери, через которую мы вошли в подвальное помещение. Слева были еще три железные двери поменьше, дальше помещение расширялось или то был уже коридор. Когда я снова оделся, они открыли первую железную дверь и втолкнули меня через порог.

Выпрямиться в камере было невозможно, так как потолок представлял собой низкий свод. Ее размеры — приблизительно шесть шагов в длину и два с половиной в ширину; вдоль одной стены — доска, пяди в полторы шириной, прочно укрепленная на железных консолях, на ней лежала сложенная в несколько раз попона. Человек среднего роста, которому эти нары были по пояс, мог сидеть на них, только скорчившись в три погибели, а голова его, даже если бы он уперся подбородком в грудь, все равно касалась бы потолка.

На стенах и железной, окрашенной свинцовым суриком двери скапливались, все набухая, капли и время от времени проливались струйками по проторенному их предшественницами самоубийственному пути. Воздух был сырой почти на ощупь, и попона до такой степени пропиталась влагой, что напоминала смоченную в воде губку. Над железной

дверью в квадратном углублении горела голая лампочка, но лишь раздражала глаза, не столько освещая темную камеру, сколько погружая ее в глубокий полумрак.

Пока я осматривал камеру, в глазок то и дело заглядывали, но, не прошло и пяти-шести минут, как в замке заскрипел ключ, и я вновь оказался в коридоре. Меня опять обыскали, один детектив опять спросил своих товарищей, точно ли у меня нет оружия, затем двое пошли впереди, двое других — справа и слева от меня, а еще один, жестко уткнув револьвер мне в позвоночник, приказал сцепить руки на затылке. Так наш отряд проследовал до конца коридора, затем по бетонным ступеням вышел на поверхность, откуда, уже по деревянной лестнице, мы поднялись на второй этаж.

Здесь площадка была пошире. Черные жалюзи на окнах полностью отгораживали ее от внешнего мира и солнечного света. Над двустворчатой дверью напротив лестницы горели разноцветные сигнальные лампы. Очевидно, они обозначали «войдите», так как молодой детектив вошел не постучавшись. Он сразу же вернулся и кивнул мне. Дверь отворилась и передо мной.

Я оказался в огромной комнате, скорее зале. Многочисленные окна здесь были также закрыты черными жалюзи. Напротив двери два длинных, но узких стола — словно из монастырской трапезной — были составлены буквой «Т». За дальней горизонтальной стороной «Т» находилась полукруглая задернутая шторами оконная ниша, выглядевшая театральной декорацией, и такое расположение оптически еще удлиняло вертикальную сторону, протянувшуюся через весь зал к входной двери.

Мои сопровождающие поставили меня у подножья буквы «Т», сами же отступили назад. Вдалеке, за верхней, горизонтальной частью буквы «Т», перед занавешенной декорацией оконного полукружья, восседало пятеро мужчин, одни в штатском, другие в мундирах. В самом центре — Габор Петер, глава политической полиции. Из остальных я знал только одного, полковника Эрнё Сюча[4], заместителя Петера. Мрачно посмотрев на меня, Петер спросил:

— На какую разведку работаете?

— Брось! — сказал я и рассмеялся, отчасти потому, что сам по себе этот восседающий за Т-образным столом трибунал выглядел комично, отчасти же потому, что вопрос Габора Петера никоим образом не мог принять всерьез, и единственное, что пришло мне в голову — я стал жертвой какой-то идиотской шутки, меня разыгрывают, дурачат. Потому я и не заметил, что Габор Петер обратился ко мне на «вы». Наверное, и это входило в условия их забавы. Так что я ответил на «ты»: — Брось, что ты дурака из себя строишь, людей смешишь. Ну и вопрос…

— Это мы еще поглядим, кто будет смеяться последним! — заорал Петер и вскочил на ноги. — Ваши южно-американские свинства тоже выйдут на свет, — добавил он угрожающе, потом сел и жестко уставился на меня. — Кто такой Вагнер? — спросил наконец с иронической усмешкой, словно одним ударом поверг наземь противника.

— Вагнер? — Я задумался. Мне вспомнился мой давний учитель музыки в школе; потом один знакомый, мы встречались с ним в молодости, он был историк, сгинул в гитлеровском концлагере; еще сестра моего приятеля... Никто из них не мог быть тем Вагнером, который заинтересовал бы Габора Петера. Но вдруг меня осенило.

— Вы имеете в виду венгерского консула в Братиславе? — спросил я, тоже перейдя на «вы». — Это шапочное знакомство…

Петер взмахнул рукой, и, словно по этому знаку, хор сидевших за столом разразился полицейским деланным гоготом.

— Нет, я имею в виду не того Вагнера, — проговорил Петер, нарочито растягивая слова, — я имею в виду того Вагнера, от которого вы привезли Сёни[5] нелегальное послание с паролем.

— Тибору Сёни? — Я был ошеломлен: Сёни, насколько я знал, все еще заведовал отделом кадров коммунистической партии, что приблизительно соответствовало рангу министра, ведь именно отдел кадров рекомендовал и даже назначал, часто собственной властью, тех или иных членов компартии на различные должности в государственном аппарате, в партии, в армии или в именуемых общественными организациях. Когда меня из министерства иностранных дел перевели в министерство сельского хозяйства, сообщил мне об этом решении Сёни и, вместе со своим заместителем Андрашем Салаи[6], пытался объяснить его. С примитивной партийной логикой, что, вообще-то говоря, весьма трудно согласовалось с его образованием и интеллектом, Сёни втолковывал мне тогда, почему я должен, вместо отдела печати МИДа, возглавить отдел печати министерства сельского хозяйства, хотя в аграрных проблемах я разбираюсь, можно сказать, как свинья в апельсинах. И этому твердокаменному, холодному партийному чиновнику кто-то привез нелегальное послание? Ну, а, допустим, это был именно я, — чего ради мы воспользовались бы паролем, как в годы подполья, когда устанавливалась связь между двумя не знающими друг друга членами партии или сочувствующими. Я повторил вслух эти свои соображения, но Петер нетерпеливо прервал меня:

— Хватит! Назовите пароль!

— Не было никакого пароля.

— Тогда скажу я. «Вагнер сообщает Петеру». Так что же он сообщал?

— Мне ничего не известно ни о пароле, ни о сообщении.

— Введите Сёни! — распорядился Габор Петер.

Я мог предположить любой поворот этого фарса, кроме того, что сейчас действительно появится Сёни. Но именно это и произошло. Через несколько секунд, также у подножья буквы «Т», справа от меня, стоял заведующий отделом кадров компартии в слегка помятом сером костюме, синем трико, без галстука.

— Этот человек привез вам письмо?

— Да, он, — кивнул Сёни, не глядя на меня.

— И пароль?

— Да, пароль.

— Какой пароль? Скажите ему в глаза!

Сёни повернулся ко мне, но в глаза не смотрел.

— Вагнер сообщает Петеру… — запинаясь выговорил он.

— И когда же я передал это письмо? — внезапно вмешался я.

На этот раз Сёни, как будто удивленный, посмотрел на меня, его взгляд скользнул от моих туфель вверх, к лицу, потом выше. Заведующий отделом кадров смотрел куда-то в воздух, словно раздумывал, потом тихо, замедленно произнес:

— Четвертого мая прошлого года.

— И где же я передал его?

— В моем кабинете, — на сей раз без колебаний ответил Сёни.

— Ну, — воскликнул я с облегчением, — тогда все просто. Я действительно несколько раз был у Сёни, поэтому знаю, что у него в секретариате существует журнал, куда заносят все телефонные звонки, независимо от того, берет Сёни трубку или нет, а также всех посетителей, не только тех, кого принимает сам Сёни, но и тех, кого отсылают к его подчиненным. По журналу можно установить, был ли я в кабинете Сёни четвертого мая прошлого года. Есть и еще одна возможность это проверить. Поскольку у меня не было постоянного пропуска в ЦК, мне, чтобы войти, нужно было получить пропуск на вахте. Так что и там можно проверить, появлялся ли я в указанное время в ЦК партии. Я бывал там очень редко, и вам не составит труда убедиться, что Сёни лжет.

— Вы не отказываетесь от своих слов? — повернулся Габор Петер к Сёни.

— Не отказываюсь.

— А вы? — повернулся он ко мне.

— Разумеется, нет.

— Ну, раз так, — и Габор Петер нетерпеливо махнул рукой конвойным, — раз так, то подкуйте-ка их обоих.

Лицо Сёни исказила жалобная умоляющая гримаса, голова ушла в плечи, он отстраняюще вывернул ладони, однако конвоир шагнул к нему,

схватил за локоть и вывел из зала. Больше я никогда не видел бывшего заведующего отделом кадров. Лишь позднее я наткнулся на его след в камере тюрьмы на улице Марко. На многослойной, за долгие десятилетия, побелке он выцарапал свое имя и, умелой рукой вставив его в рамку из завитушек, объединил со словом «Цветочек»; а рядом нацарапал календарь, из которого следовало, что его арестовали на неделю раньше меня. Позднее, когда я таким образом встретился с Сёни, «Цветочек» и весь букет приобретенного за это время опыта примирили меня с ним, но тогда я был зол на него — на него, а вовсе не на тайную полицию: ведь я считал тогда, что Сёни обманул Габора Петера и его людей и, вероятно, дал ложные показания против меня затем, чтобы прикрыть кого-то другого.

Я пытался доказывать это и в соседней комнате, куда меня привели. Здесь меня поджидал здоровяк весьма внушительного вида. Позднее я видел его неоднократно и по обрывкам фраз, выхваченным из разговоров, понял, что зовут его Дюла Принц[1], он начальник следственной группы, некогда был следователем хортистской уголовной полиции, но оказал помощь венгерскому, бесконечно слабому, движению Сопротивления, чем и заслужил после 1945 года вышеупомянутую должность в следственных органах политической полиции. Помахивая резиновой дубинкой, Принц крайне вежливо, чуть ли не извиняясь, чуть ли не ласково указал на пол:

— Снимите, пожалуйста, туфли и ложитесь на живот!

Кроме нас двоих в помещении никого больше не было. Принц проворчал что-то и неловко пожал плечами. Может быть, это его замешательство обезоружило меня. Он только выполняет приказ, подумал я и с готовностью повиновался. Принц нанес резиновой дубинкой по десять ударов на обе мои ступни. Я весь собрался, чтобы не застонать, но, думаю, не только поэтому выдержал эту первую «подковку» легче, чем последующие, так как резиновая дубинка лупила по еще не лопнувшей коже, по еще не распухшим тканям, но и потому, что Принц взмахивал дубинкой не выше плеча, а не так как позднее заплечных дел мастера, в руках которых дубинка описывала по меньшей мере три четверти круга.

Меня опять проводили в огромный зал. Опять поставили у изножья буквы «Т». Петер спросил:

— Ну, теперь признаетесь?

— Сёни лжет, — сказал я, — и вы можете в этом убедиться в течение получаса, если посмотрите записи на вахте и в журнале регистрации посетителей, который ведет секретарша Сёни…

— Вы мне здесь не давайте советов. Примите к сведению: на чью-либо защиту не рассчитывайте. Партия передала вас нам. Итак признаетесь, что привезли Сёни нелегальное послание?

— Как я могу в этом признаться…

— Подкуйте-ка его еще раз! — крикнул Габор Петер и указал на дверь.

На этот раз, уже в другом помещении, меня ожидали пять-шесть человек. По-моему, во время долгого моего заключения я никому не рассказывал о том, что там произошло, — в ту минуту этот поступок был в моих глазах чем-то вполне естественным, хотя через год-другой мне и самому представлялось уже невероятным, чуть ли не вымышленным, что, когда один из них ни с того ни с его ударил меня по лицу, я не задумываясь ответил ему тем же.

Я действовал, повинуясь некоему древнему инстинкту, велению моего воспитания, пожалуй, кодексу чести городской окраины, хотя умом находил все эти понятия комически несвоевременными и раздражающе непригодными для жизни. Первая «подковка» выглядела в свете этого кодекса почти добровольно принятым испытанием, однако первая зуботычина была столь оскорблением столь очевидным, что я ответил на него инстинктивно, не думая о последствиях.

Разумеется, пять-шесть следователей ударами сапог, кулаков, резиновых дубинок и рукоятями револьверов в считанные секунды сбили меня с ног, стали пинать, потом кто-то сел на меня, заставив, таким образом, держать ступни кверху; тут-то и заработал дубинкой профессионал, описывая ею в воздухе три четверти круга. Когда меня снова ввели в зал, мой правый глаз заплыл, по лицу и одежде было, разумеется, видно, что произошло в соседней комнате.

— Что это вы с ним сделали? — спросил Петер.

— Он упал, — отозвался из-за моей спины хамский голос, нарочито растягивая гласные; эта типично люмпенская манера речи лишь подчеркивала идиотизм ответа.

Расположившийся за Т-образным столом синклит громовым хохотом вознаградил остроумие следователя, затем Петер обратил взор на меня.

— Ну, теперь-то признаетесь?

— Даже если вы сто раз проделаете со мной то же, не признаю. Сёни лжет, и вы можете легко в этом убедиться.

— Увести! — распорядился Петер, и мои сопровождающие, подталкивая, опять повели меня по затемненной лестнице в подвал и впихнули в камеру.

Пока, сгорбившись в крохотной конуре, я переступал с ноги на ногу, пока, втянув голову в плечи, пытался пристроиться на доске сидя, а потом, поджав колени, лечь, перед домом № 11 по проспекту Юллеи остановились два автомобиля УГБ. По команде из них выскочили солдаты с карабинами и автоматами в руках. Часть их — как рассказывали годы спустя жители нашего многоквартирного дома, — сперва стала наизго-

товку, потом, прижимаясь к стене, крадучись, поднялась на шестой этаж, к моей квартире. Вооруженные люди рассыпались по коридорам, черным лестницам и, по всем правилам военного искусства, блокировали все выходы. Под прикрытием автоматчиков одетые в штатское следователи позвонили в дверь моей квартиры, затем немедленно приступили к обыску.

Ради чего был устроен этот переполох? Ведь военные грузовики выехали через два часа после того, как меня взяли под стражу в министерстве сельского хозяйства. Думаю, главная цель была не в том, чтобы напугать обывателей, а в том, чтобы создать напряженность в самих органах госбезопасности и внушить как офицерам, так и рядовым солдатам ощущение непосредственной опасности для них лично, даже их жизни. Не мог же предположить какой-нибудь лейтенант или сержант УГБ, что их высокопоставленные начальники устраивали бы столь масштабные операции, как эта, на проспекте Юллеи, если бы не рассчитывали поймать в свои сети каких-то оголтелых и готовых на любое преступление заговорщиков.

Кстати, когда военные учения были закончены, квартиру мою опечатали, но потом в течение трех месяцев в ней почти ежедневно появлялось двое-трое одетых мужчин в штатском. О практических и идеологических результатах их деятельности соседи могли судить только по своеобразному их отношению к понятию частной собственности, поскольку следователи каждый раз приходили с тощими портфелями, уходили же с набитыми до отказу. В их отсутствие регулярно проводимая инспекция сквозь замочную скважину показывала, что из комнаты, поочередно исчезали такие предметы, как, например, настольная зажигалка, подсвечник, кружевные и вышитые накидки и прочие важные улики.

Примерно сто дней спустя УГБ, по-видимому, наскучило заниматься мелочами. Подкатили грузовики и увезли все, что не помещалось в портфели: мебель, картины, ковры, книги. Сняли даже жалюзи в комнате моего маленького сына, а у меня в кабинете оставили кучу мусора, в которую попало и несколько детских фотографий.

Обо всем этом я узнал, разумеется, много позднее, через пять с лишним лет, а пока что в своей сырой норе упорно ломал голову над разными вариантами, которые могли бы объяснить, почему Сёни впутал меня во все это, почему навлек столь тяжкое подозрение. Мне и в голову не приходило, что не клеветническое заявление Сёни заставило УГБ действовать, а как раз наоборот: жестокие действия УГБ заставили Сёни оклеветать меня.

Топчась в своем карцере, я все еще надеялся, что Габор Петер действительно распорядится проверить журнал секретариата Сёни, а также выданные на вахте пропуска в здание ЦК компартии; если же одна часть утверждений Сёни окажется не соответствующей действительно-

сти — ведь 4 мая я не посещал отдел кадров и вообще не заходил в ЦК, — то Габору Петеру придется подвергнуть сомнению и вторую часть утверждений Сёни, будто бы я в указанное им и не подтвердившееся проверкой время передал ему секретное сообщение, да еще с паролем. Увы, через несколько долгих часов, когда в камере уже совсем нечем было дышать, зловещие физиономии следователей, открывших дверь, свидетельствовали отнюдь не о том, что у Петера и его компании возникли какие-то сомнения.

Четверо сопровождающих опять повели меня к лестнице. Мы не остановились перед двустворчатыми дверьми второго этажа, третий этаж тоже остался позади, мы продолжали подыматься по заметно сузившейся лестнице мимо закрытых черными жалюзи окон. Справа, за небольшим выступом, оказалась железная дверь; признаюсь, меня, безо всякой на то причины, охватило ужасное предчувствие, подозрение, что дверь эта открывается прямо в бездну. Однако и она осталась позади. Наконец, лестница кончилась, и меня втолкнули в какое-то шестигранное помещение. Все его стены, кроме той, где была дверь, почти целиком занимали прямоугольные окна, такие же мертвяще-черные и слепые, как и те, мимо которых мы проходили. Однако этот ряд окон говорил о том, что мы находимся в башне, откуда, должно быть, открывался захватывающий вид на будайские горы, а, может, и на самый город.

Следователи обступили меня кольцом, и один из них, ничего не сказав, ни о чем не спросив, огрел меня резиновой дубинкой по спине. И тут набросились все сразу, колотили куда придется, сбили с ног, пинали ногами. Это были не профессиональные громилы и палачи, с холодным расчетом наносящие удары в самые уязвимые и чувствительные места, садистски наслаждающиеся собственным мастерством, каких я навидался позднее во время допросов, — нет, эти напомнили мне пьяную, вдруг разъярившуюся застольную компанию, когда все они, будто сорвавшись с катушек, злобно вопили проклятия под свист резиновых дубинок. Их ярость отнюдь не казалась наигранной. Они принимали почти как должное, когда я пытался защищаться и успевал схватить направленную на меня дубинку. Иногда мы сцепившись в клубок, катались по полу, иногда они поднимали меня рывком, пока, наконец, седой не рухнул в единственное в этом помещении кресло и, отдуваясь, спросил:

— Так что передал этот Вагнер?

Я не мог ответить ему ничего другого и повторил то, что говорил его начальнику:

— Сёни лжет.

Следователь, раскачивая дубинку, как маятник, между коленями и будто не услышав меня, повторил с угрозой в голосе:

— Так что передал этот Вагнер?

Вслед ему рявкнул молодой верзила:

— Когда вас завербовали американцы?

И тут все в один голос, хором:

— Кто вас завербовал?

Я возразил, они набросились на меня скопом, потом спрашивали опять, набрасывались опять, наконец, швырнули на пол, чтобы приняться за мои пятки. Каким-то образом я стряхнул их с себя, однако с помощью пятого мужчины, стоявшего все это время у стены наблюдателем, меня закатали в ковер. Один коленом уперся мне в шею, второй уселся на спину, а двое других держали мои ноги, подставляя под удары со свистом обрушивавшихся на них дубинок. Дважды отпустив по двадцать пять ударов, ковер развернули и толчками, пинками, злобными подзатыльниками, заставили бежать вдоль стены вокруг комнаты. И при этом орали во всю глотку, задавая все те же вопросы. Пятый тем временем вышел, а потом, когда они стали звать его, чтобы опять закатать меня в ковер, он вернулся со столовой ложкой соли. Они раздвинули мне зубы ножом и набили рот солью. Затем опять занялись «подковкой». Но теперь уже не с азартом пьянчуг, не знающих, как употребить свою силу; теперь они действовали с оглядкой, по-хозяйски распоряжаясь собственными мускулами и резиновыми дубинками. Они вполне профессионально обработали мои пятки, почки и еще более чувствительные части тела.

Тем временем пятый исчез. Но я еще не раз видел его здесь, на секретной вилле УГБ. Он был кем-то вроде управдома. Да и тогда, когда, доставив меня из гаража в подвал, сорвали платок с моих глаз, я также видел его среди детективов. Он отворял двери, обслуживал своих начальников и стоял на страже, когда кого-нибудь доставляли в сортир. Этот средних лет пузатый мужчина с красным носом и маленькими глазками еще появится в нашей тюремной жизни. Его звали Иштван Лехота. Однако мой первый день с его уходом все еще не кончился. Это была лишь половина программы вечерней гимнастики.

Следователи не расширяли круг вопросов — что передал Вагнер, когда я стал агентом американской разведки, кто меня завербовал, — только варьировали отнюдь не лестные эпитеты в мой и Вагнера адрес, особенно же в адрес моих предков по женской линии, проявляя при этом более чем скудную фантазию. Когда кому-нибудь из них удавалось расширить набор дотоле не прозвучавшей непристойностью, остальные восторженно гоготали.

Средства уголовного расследования также не менялись. Меня еще дважды закатывали в ковер, чтобы, как они говорили, немного пощекотать мне пятки для освежения памяти. Но, в конце концов, пообещав, что в запасе у них имеются куда более изощренные методы восстанов-

ления памяти, меня повели из башни вниз. Уже светало. Через оставленную открытой дверь подсобного помещения на лестницу проникал серый отсвет занимавшегося дня.

Перед дверью моего карцера стоял невысокий длинноносый мужчина с подстриженными усами, в коротком полушубке и лыжной шапке. Он запер за мной железную дверь, потом его печальный черный глаз каждые три-четыре минуты появлялся в глазке. Он наблюдал, как я ощупываю свои опухшие, в кровоподтеках, ступни, как пытаюсь уместиться на лежаке, чтобы узкая, твердая доска хотя бы не усиливала боль. Полчаса спустя он спросил:

— Хотите воды?

Я сказал: хочу. С трудом поднялся. Нёбо, десны горели от втиснутой мне в рот соли. Я сделал два глотка. Вода показалась соленой. Я выплюнул ее.

— Что такое? — спросил он.

— Соленая.

— Уж не думаете вы, что я дал вам подсоленной воды? — оскорбился маленький усач.

Он решил, что я плачу неблагодарностью за его почти преступную мягкость и без каких-либо оснований подозреваю его. Даже в этот момент, еще не придя в себя от экзекуции, даже в этой подземной норе мне показалась забавной параллель между нами двоими — то, что оба мы оскорблены, оба незаслуженно заподозрены, — и я чуть-чуть улыбнулся ему, и тогда длинноносый мой стражник резко, но тихо спросил:

— Еще чего-нибудь хотите?

Я попросил, если можно, оставить открытым глазок; через эту круглую дырку размером с наручные часы все же проникал в мою пропитавшуюся сыростью камеру пусть затхлый, подвальный, но все-таки воздух. Усач покачал головой, словно здравым умом даже и не понять было, как можно предъявлять подобные требования. Однако он все-таки отодвинул железную задвижку на глазке, довольно надолго оставив ее открытой.

Таким образом, первый день моего длительного заключения окончился, в некотором смысле, уравновешенно и, в общем, принес смутное успокоение: ведь неправедно обвинили не только меня, я и сам легкомысленно заподозрил человека и даже оскорбил его, и таким образом сходные чувства породнили меня с неким человеческим существом. Очень долго после того мне не доводилось вступать даже в такое общение, побудившее к подобного рода вольным — и, пожалуй, самообольщающим — размышлениям.

2

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ

Следователи оказались консерваторами. И на второй день они остались верны своим резиновым дубинкам. С особенным рвением обрабатывали почки, однако не забывали и о пятках, для чего часто пользовались приемом закатывания в ковер. Всего их было шестеро или семеро, они сменяли друг друга с таким расчетом, чтобы в комнате со мною одновременно оставались четверо.

Они, несомненно, знали, что мои лилово-багровые ступни, как и другие обработанные резиновыми дубинками части тела, в этом незавидном состоянии теперь намного чувствительнее, чем были вначале. Один из следователей это и имел в виду, посоветовав другим уже не прикладывать особых усилий, потому что с каждым разом боль от ударов и без того все сильнее и я все равно сдамся, это вопрос только времени, причем короткого времени, и признаюсь во всем, даже в многократном отцеубийстве.

Последнее замечание я счел скорее цветком красноречия; похоже, думал я, обвинение, повторенное Сёни при очной ставке, убедило их, что они и на самом деле схватили какого-то шпиона. Но все же казалось странным и непонятным, почему они не пытаются проверить показания Сёни, почему не потрудились установить, приходил ли я в указанное им время в кабинет завотделом кадров и вообще входил ли в тот день в здание ЦК.

Я считал, что стал жертвой фатальной ошибки, и даже на секунду не подумал о том, что признав хотя бы отчасти ложное обвинение, временно, а то и вовсе могу избежать физических мучений.

Должно быть, ночью второго дня я, закатанный в ковер, потерял сознание, когда же пришел в себя, то увидел, что, помимо моих истязателей, в комнате толпится несколько знакомых мне и не знакомых людей, среди них доктор Балинт, главный врач УГБ, и Эрнё Сюч, заместитель Габора Петера. Доктор Балинт, по всей вероятности, сделал мне какую-то инъекцию и, едва я пришел в сознание, быстро удалился, но Сюч, усевшись на подлокотник кресла, наблюдал, как я тщетно пытаюсь встать и опять, в полуобморочном состоянии, падаю на пол. Потом заметил: точно так же, и не раз, до крови «подковывали» его фашисты.

Судя по этим словам, отозвался я тихо, полковник и сам не видит существенной разницы в тогдашних и нынешних методах. Тотчас один из «следователей» подскочил ко мне, замахнувшись дубинкой, но Сюч

остановил его, потом встал передо мной и долго меня рассматривал. Наконец спросил:

— Вы знаете Ференца Ваги[8]?

— Поверхностно. Вы имеете в виду Ваги, заведующего отделом печати президиума Совета министров?

Сюч кивнул, но добавил:

— Именно его, но только он уже не заведующий отделом печати, в президиуме Совета министров не работает и вообще нигде, потому что мы арестовали его. Знаете ли вы Фёлди, Добо, Калмана, Деметера? — Полковник перечислил еще несколько имен, выжидающе посмотрел на меня и добавил: — Их мы тоже арестовали.

Как выяснилось позднее в тюремной камере, все названные им лица во время войны, будучи в эмиграции в Швейцарии, входили в руководимую Сючем антифашистскую группу. С большинством из них я никогда не встречался, те же, с кем случайно сталкивался, как, например, с Ваги и Калманом, вели себя как самые твердолобые коммунисты.

Еще работая в МИДе, я однажды обсуждал с Ваги вопрос о том, какое количество экземпляров западной прессы можно ввозить в страну. Хотя в это время система гордилась тем, что на улицах Будапешта продают «Таймс» точно так же, как «Юманите», а «Фигаро» — как и «Дейли Уоркер», и можно купить не только коммунистическую «Униту», но и «Нью-Йорк Таймс» и «Цюрхер цайтунг», Ваги с величайшим удовольствием сократил бы до нуля количество доступных населению газет.

Не слишком приятные воспоминания остались у меня и о моем споре с Андрашем Калманом. Я схлестнулся с ним на совещании руководителей теоретических семинаров, когда один из выступавших с благородной простотой и непоколебимой убежденностью объявил Соединенные Штаты фашистским государством; я покритиковал его, может быть, несколько насмешливо, потом заговорил о партийном жаргоне, который пользуется все более упрощенными штампами, и о различного рода понятийных мистификациях. Андраш Калман взял выступавшего под защиту, упрекнув меня в «неоправданной иронии», заступился и за терминологию, позволившую назвать США фашистским государством. Через несколько недель партийное руководство МИДа поставило меня в известность о том, что я освобожден от поручения руководить семинаром, поскольку в моих взглядах — по мнению партийного комитета работников госаппарата — просматривается троцкистский уклон. Два-три месяца спустя, без каких-либо действий с моей стороны, запрет был снят.

При упоминании имени Андраша Калмана все это молнией промелькнуло в памяти. И обвинение в троцкистском уклоне, что год назад вызывало у меня лишь усмешку, сейчас наполнило мучительными предчувствиями. Но пока я, сидя на полу, пытался разглядеть на багро-

вом, щекастом лице Эрнё Сюча едва различимые глазки, мне еще более загадочным, чем мой собственный арест, показался арест этих двух догматиков-коммунистов. Сюч неверно понял мой взгляд (или только прикинулся, будто неверно истолковал его) и сказал:

— Как видите, вся банда уже у нас в руках. Удивлены? Так что теперь и вам запираться не стоит, верно? Скажите же, наконец, когда и какое письмо вы привезли для Сёни от Вагнера?

Вероятно, я посмотрел на него с таким идиотским видом, что даже этот угрюмый человек засмеялся.

— Ну, хорошо, — сказал он чуть ли не по-отечески, — пока оставим. Но об этой истории с письмом вы подумайте.

Затем отозвал в сторону одного из следователей и что-то приказал.

Вскоре двое молча подхватили меня под руки, подняли и отволокли в подвал. Когда Лехота какое-то время спустя отпер дверь и протянул тарелку лапши с маком, совершенно затвердевшей, я вспомнил, что с тех пор, как меня задержали, еще ничего не ел. Накануне вечером ужина мне не дали, не было и сегодня ни завтрака, ни обеда, ни ужина. И все же я вернул почти нетронутой тарелку со свернувшимися как замерзшие змейки лапшинками, едва присыпанными маком. Вместо того, чтобы есть, я думал о том, что Сёни, вероятно, за это время внес кое-какие изменения в свои показания, чем-то дополнил, как-то разукрасил свою сказку: ведь Сюч спрашивал меня уже о некоем *письме* Вагнера.

Гнетущее предположение, что следователи верят лживым инсинуациям Сёни, вскоре превратилось в уверенность, когда возобновилась многочасовая и опять затянувшаяся до утра жестокая экзекуция. Следователи и на этот раз напоминали разъяренных пьянчуг, а не квалифицированно исполняющих свое дело инквизиторов. Одновременно, чуть ли не все сразу, они окружили меня кольцом в башенной комнате, словно взяли в осаду, и дружно, вновь и вновь, бросались в атаку, накатываясь, как волны на берег. В редких перерывах между свистом дубинок и ругательствами звучал только один вопрос — о письме Вагнера, и было ясно: они не сомневаются, что между Тибором Сёни и Вагнером связным был я. Не могло быть ни малейших сомнений в том, что вышедшие из себя примитивные люди не ломают комедию — для этого у них не хватило бы изобретательности, — а твердо верят: перед ними действительно опасный, матерый шпион, оголтелый враг их государственного строя, не желающий давать показания, так как не хочет раскрыть свои конспиративные связи.

Клеветнические показания Сёни, таким образом, сами по себе уже объясняли в моих глазах поведение угебистов — как руководителей, так и следователей, — и я пришел к выводу, что все эти методы, призван-

ные физически сломить меня, применяются не с какой-нибудь тайной целью, а исключительно затем, чтобы раскрыть некую — возможно, существующую на самом деле — шпионскую организацию. Но в короткие перерывы между побоями, я мог твердить только одно: Сёни лжет. И я твердил эти два слова до самого рассвета, пока следователи, опять подхватив под руки, поскольку на своих ногах я был не в состоянии покинуть башенную комнату, отволокли меня в подвал, в карцер.

Через несколько часов мне протянули в дверь чуть теплую жижу, отдаленно напоминающую чай, и тоненький ломтик хлеба, а ближе к полудню опять вывели из моей дыры. Вновь меня окружили пятеро или шестеро мрачного вида типов, как и тогда, когда привезли сюда. Лехота, выругавшись, толкнул меня в спину, затем влажным полотенцем завязал мне глаза. Железная дверь подвала открылась, и два детектива, подхватив меня под руки, потащили вверх по бетонной лестнице. В гараже глухо урчал мотор, меня тут же затолкали в машину. Мы приехали в центр УГБ на проспект Андраши, где меня опять заперли в подвальной камере.

По сравнению с норой на будайской вилле эта камера показалась мне поистине залом, хотя в ней было, по-видимому, не более восьми шагов в длину и четырех в ширину. Вся обстановка состояла из дощатого лежака, его металлические ножки были вделаны в бетонный пол. Окон не было, над дверью, как и в будайском подвале, днем и ночью горела забранная проволочной сеткой лампочка, светя вытянувшемуся на лежаке узнику прямо в глаза.

Почти на каждом повороте извилистых коридоров подземной тюрьмы стояло по два угебиста, один в гражданском — некоторые с пистолетом за поясом, — а другой в форме, с карабином за плечом. Когда узника вели на допрос или на оправку, коридорная стража легким свистом давала знать, если путь свободен, чтобы два арестанта случайно не встретились на каком-нибудь повороте. За полтора года, которые я провел в следственной тюрьме, по большей части в подвале, правила и охрана подземной тюрьмы то и дело менялись. Первыми исчезли охранники в форме УГБ, а «гражданские» упрятали свои револьверы в карманы или вообще не носили больше оружия; поверх ботинок надели войлочные бахилы, чтобы подбираться к камерам по-кошачьи неслышно. И под землей, и над землей все эти полтора года помещения УГБ без конца перестраивали, потом опять возвращали в прежнее состояние, увеличивали число кабинетов и камер, меняли расположение ведущих на верхние этажи потайных лестниц. Неизменным до самого конца оставался лишь тихий свист.

В коридоре никогда не слышно было человеческих голосов, но зато всяческого шума — хоть отбавляй. На дощатых дверях деревянная же

задвижка в пядь величиной, на металлических — железная заслонка на шарнирах заменяли обычный в тюрьмах глазок размером с карманные часы. Охранники, делая обход, особенно ночью, каждые восемь-десять минут открывали и закрывали затворки и заслонки с таким грохотом, что в гулких катакомбах это напоминало ружейную перестрелку. Если какой-нибудь заключенный не вскакивал сразу же или притворялся спящим, охранник колотил в дверь ногой, пока заключенный не открывал глаза. Таким образом, как бы ни был измучен узник, ему лишь на несколько минут удавалось забыться сном.

Из подвала тянуло сыростью и холодом, так что угебисты здесь были в пальто и даже в меховых бекешах, что же касается меня, например, то я очень долго вынужден был обходиться даже без одеяла. Кормили при этом нежирно: утром давали по двести граммов мучной баланды, а днем, около четырех, — разваренную и слегка заправленную мукой фасоль, тоже граммов двести с небольшим. К этому утром и днем полагалось по пятидесятиграммовому ломтику хлеба. За все шесть недель моего первого заключения в этом подвале унылое однообразие меню не было нарушено ни разу. Но если заключенный в четыре часа дня, что случалось часто, не сидел, стуча зубами, в своей камере, а как раз подвергался допросу с пристрастием, он лишался и этого мизерного, безжалостно нищенского пропитания.

После утренней похлебки и послеполуденных бобов охранники приказывали узникам выставить пустые котелки перед дверьми камер, затем каждого, по одному, отводили в сортир. Опытный заключенный, проходя мимо камер и увидев перед какой-либо дверью котелок с остатками еды, тотчас понимал, что за окрашенной суриком дверью погружен в свои невеселые думы новичок и — как и он сам в первые дни — не способен проглотить даже эту жалкую порцию.

Но голод, холод и даже сам по себе этот подвал с его гнетущей тишиной и бередящими душу посвистываниями — все это, вместе взятое, было поистине отдыхом по сравнению с атмосферой следовательских кабинетов, где проводились допросы. По крайней мере, так мне представлялось в первую неделю каждый раз, когда меня волокли назад, под землю. Сначала я имел дело с теми тремя угебешниками, которые меня арестовали. Теперь вместо пяток они предпочитали обрабатывать дубинками кисти рук, били с размаху то по ладоням, то по тыльной стороне, или же заставляли делать приседания до полного изнеможения. В это время седой угебист, держа перед собой бумажку в четверть листа, зачитывал вопросы, которые теперь уже направлены были не только на то, чтобы доказать, что я иностранный агент и осуществлял связь между Сёни и Вагнером, но также, что в министерстве иностранных дел я организовал вокруг себя шпионскую сеть. После одной из таких разминок,

продолжавшейся два с половиной часа — я потому так точно запомнил ее продолжительность, что из самозащиты старался пропускать мимо ушей эти вопросы и сосредоточить внимание на часах седого следователя, на их черном циферблате, — когда следователям надоело усердствовать попусту и они передали меня вооруженному охраннику, чтобы он проводил меня в подвальное помещение, я вдруг лишился чувств и рухнул на перила лестницы. Охранник кое-как доволок меня до моей камеры, где вскоре появился седой угебист и с таким жаром призвал меня к ответу, за мою якобы попытку самоубийства, как будто я сделал это ему назло, чтобы поставить его в трудное положение. После того, как он несколькими зуботычинами немного остудил свой законный гнев, я счел уже излишним вдаваться в детали, объясняя, почему я рухнул на перила. Однако с этого времени заслонка на моей двери открывалась еще чаще и теперь забирали меня из подвала два, а то и три угебиста.

На следующий день рано утром меня повели в другое крыло здания. За письменным столом, лицом к двери, сидел молодой человек 26—27 лет, необычайно красивый, с черными усами, характерно задунайского венгерского типа. Он мрачно посмотрел на меня, смерив взглядом с головы до ног, затем — это произошло впервые с тех пор, как меня арестовали, — предложил сесть. Он открыл какую-то папку и, перелистывая бумаги, сказал, что я должен точно и подробно рассказать о своем прошлом. Пока что только до того времени, когда я еще не стал агентом английской или американской — что одно и то же — секретной службы. На это я мог ответить только одно: никогда, ни с какой разведывательной службой не сотрудничал, ни с английской, ни с американской, ни с русской; подобные подозрения не имеют никаких оснований и высосаны из пальца. Молодой человек вынул из ящика стола резиновую дубинку и встал. Это был настоящий гигант, под два метра ростом, прекрасно сложенный атлет. Он прошелся передо мной, затем, словно взяв себя в руки, опять сел. Но дубинку положил на край стола, чтоб была под рукой.

Некоторое время он пристально смотрел мне в глаза, затем с запинкой, с интонациями необразованного человека, заговорил:

— Значит, так… Мы расследуем серьезное дело. Возможно, кому-то достанется и не по заслугам. Выходит, такой уж выпадет жребий. Но преступник, тут вы можете не сомневаться, от наших рук не уйдет. Народная демократия еще слишком молодая, мы не можем позволить себе такую роскошь. Я, знаете ли, человек рабочий…

Он сделал паузу. Я негромко заметил:

— Притом из комитата Ваш.

— Откуда вам это известно? Вернее, с чего вы взяли? — тотчас поправился он, почти виновато спеша взять обратно невольно вырвавшееся подтверждение моих слов.

— Просто слышу. Скорее всего из западной части комитата.

Гигант ошеломленно оглядел меня; ведь угебисты тщательно скрывали свои личные данные и арестованным — если в том возникала необходимость — назывались каким-нибудь вымышленным именем.

— Очень уж вы много знаете, — буркнул он, — слишком много. Но, похоже, кое-чего все-таки не понимаете. Поэтому расскажу вам один поучительный случай. Это было в Советском Союзе...

И молодой великан, словно повторяя затверженный урок, рассказал, что где-то, когда-то в Советском Союзе кто-то организовал акцию саботажа. В преступлении подозревались трое, но ни один не признал себя виновным. Что оставалось делать? Пришлось казнить всех троих. К сожалению. Социалистическое государство, со всех сторон окруженное капиталистическими державами, не может оставить саботажника безнаказанным. Поэтому, — и задунайский молодчик, как последний аргумент, хрястнул резиновой дубинкой по столу, — я ни минуты не должен надеяться, что упорным отрицанием могу избежать виселицы. Единственное, чем я могу помочь себе в моем положении, это чистосердечно во всем признаться.

Я не собирался, подобно следователю, ссылаться также на русский пример — на Достоевского, цитировать обмен мнениями Христа и Великого Инквизитора. Да я и не мог бы это сделать, потому что в кабинет вошел тот самый не в меру упитанный детектив с грубой физиономией, который, вместе с напарником, арестовал меня в министерстве сельского хозяйства. Он сел, но не произнес ни слова, вынул из портфеля большой конверт, на котором несколько неуклюжим женским почерком было написано: «Товарищу Вайде». Действительно ли то была его фамилия или нет, для меня теперь именно она обозначала этого детектива с грубыми чертами лица. Вайда вскрыл конверт, внимательно прочитал находившиеся в нем бумаги и запер все в ящик стола. Между тем красавец из Задунайщины приступил к распутыванию нити моей жизни.

Сначала речь зашла о моей семье. Угебисты многозначительно переглянулись, когда я без обиняков признал, что мой отец был генеральным директором энергетической компании в комитате Ваш, затем стали с издевкой расспрашивать о родне моей матери, особенно о родственниках-офицерах. По их замечаниям можно было понять: уже самый факт, что четыре моих двоюродных брата — двое из них еще во времена Австро-венгерской монархии — избрали военную карьеру, однозначно подтверждает показания Тибора Сёни. Точно так же комментировали они и то, что учился я в католической средней школе, затем — в знаме-

нитом некогда университетском коллегиуме[9] и два семестра в парижской Сорбонне. Вайда, глядя на меня волком, заметил: даже при отсутствии иных доказательств, ему было бы очевидно, что выросший в таком окружении человек не мог искренне присоединиться к тогда еще нелегальному коммунистическому движению. Но, к счастью, у них имеются и доказательства того, что уже в 1932 году, учась в университете, я, по заданию хортистской тайной полиции, проник в среду коммунистов с провокационными намерениями. И лучше бы мне — до того, как они ознакомят меня с этими данными, — добровольно рассказать, каким образом я начал и каким образом продолжал свою провокаторскую деятельность.

Когда я выразил сомнение в том, что УГБ или кто-либо еще мог бы доказать то, чего никогда не было, снова пошли в ход дубинки. После некоторой разминки, меня заставили уткнуться лбом в грубо оштукатуренную, с торчавшим так и сям гравием стену, напоминавшую горный пейзаж в миниатюре. Руки приказали держать по швам и стать таким образом, чтобы образовался прямоугольный треугольник, с углами 45 градусов к полу и стене. Туфли заставили снять, чтобы я не соскользнул на пол. Красавец из комитата Ваш присел рядом со мной на корточки и стал колотить дубинкой по пальцам ног. После таких ударов треугольник быстро ломался. Но через несколько минут мои следователи восстанавливали классическую геометрическую фигуру. Впрочем, помимо этой остроумной выдумки, которой, пожалуй, подивился бы сам Евклид, парочка угебистов не забывала и традиционные методы — били и по почкам, и по ладоням с длинным замахом, не оставляли без внимания и пятки. Ковром при этом не пользовались. Не только потому, что в голой комнате для допросов такого рода предметов роскоши не наблюдалось, но и потому, что я ослабел физически и применение столь хитроумных вспомогательных средств было попросту излишним.

Через несколько дней, на рассвете, после сравнительно менее бурного ночного допроса Вайда сел за машинку, чтобы сотворить первый протокол. Сначала они желали получить от меня обычные сведения и даты: когда родился, где учился, затем как уехал во Францию в 1937 году, а из Франции в Аргентину в 1939 году, откуда в 1946 году вернулся в Будапешт. Однако после первых же фраз мы споткнулись, так как Вайда напечатал: «В 1937 году в поисках приключений поехал в Париж».

Я заявил, что поехал в Париж не в поисках приключений, а затем, чтобы учиться, так что слова «в поисках приключений» надо вычеркнуть, иначе я не смогу подписать протокол. Казалось бы, нелепо было упираться из-за этого, в сущности, лишь слегка окрашенного негативно выражения, но каким-то образом я чувствовал, что если сдамся, если

начну спускаться по лестнице уступок, остановиться будет уже невозможно и вскоре я сознаюсь в том, что был связным Сёни и Вагнера и не только организовал шпионскую сеть в министерстве иностранных дел, но уже с юных лет начал свою политическую и нравственную карьеру полицейским наушником.

Сразу рассвирепев, Вайда вскочил и, как и его коллега из Ваша, уже потянулся к своему испытанному следственному инструменту. Но в эту минуту дверь распахнулась и в комнату вошли двое, оба в штатском, и еще один угебист с карабином. Они о чем-то пошептались с моими следователями, и меня увели. Обернувшись, я успел увидеть, как Вайда выдернул из машинки бумагу и, скомкав, швырнул в корзину.

Мы долго шли по извилистым коридорам, пока не оказались, наконец, в комфортабельно обставленном кабинете. За письменным столом сидел лысеющий рыжеватый человек с поповской физиономией. На нем были очки в золотой оправе, он хитренько, близоруко щурил глаза. Приветливо улыбнувшись, указал на стоявшее возле стола кресло, предлагая сесть. Когда мы остались одни, он сладко зевнул, снял очки в золотой оправе, потер глаза и устало откинулся в кресле. Прошло несколько секунд, наконец, он облокотился о стол и заговорил.

— Ну, — спросил он и приподнял очки, — как самочувствие?

Я пожал плечами.

— Этот черный фингал вокруг левого глаза выглядит, право, забавно. Вы что, занимаетесь боксом?

На вопрос я не ответил, заметил только, что, по-моему, куда целесообразнее, если бы УГБ опиралось на факты, а не на клеветнические измышления, и, прежде чем заподозрить кого-то, проверило поддающиеся проверке данные, например, показания Тибора Сёни. Очкастый как-то двусмысленно засмеялся.

— Да бросьте, забудем про Сёни, — отмахнулся он, — речь совсем о другом. Не о Сёни, не о вас. Курите? Хотите чаю? С лимоном?

Я взял сигарету. Неизвестный с поповской физиономией позвонил, вошла симпатичная секретарша. Молча выслушала своего шефа, моментально вернулась и поставила передо мной чай с лимоном и солидный кусок сдобной булки. Пока она оставалась в кабинете, не было произнесено ни слова. Очкастый вышел из-за стола и рухнул в кресло. Он был среднего роста. Уже с брюшком. Я и позднее часто видел это румяное лицо, короткие пальцы, пухлые руки. Почти задремавшего в кресле мужчину звали Мартоном Каройи. Тогда еще он был только майором, но относился к ближайшему окружению Габора Петера. Этот ближний, или, по принятому среди угебистов выражению, конспиративный, круг руководил самой секретной деятельностью тайной поли-

ции. Его членов Габор Петер выбирал не по званиям, а по особым соображениям, из числа своих наиболее преданных и наиболее, по его мнению, пригодных для этой работы людей. Таким образом случалось, что какой-нибудь старший лейтенант, вошедший в конспиративный круг, в действительности обладал намного большей властью, чем многочисленные — стоявшие по официальной табели о рангах выше его — майоры и полковники. Член ближнего круга мог давать указания офицерам более высокого звания.

Когда секретарша бесшумно закрыла за собой дверь, Каройи поднялся и опять сел за стол.

— Ну-ка, выпейте сперва чаю, — сказал он, пристально вглядываясь в меня прищуренными глазами. И внезапно спросил: — Когда вы впервые встретились с Ласло Райком[10]?

Я не придал этому вопросу особого значения, сочтя его за прелюдию к разговору. Поэтому спокойно ответил:

— Когда учился в университете. Мы были однокурсники. Впервые встретились в 1930 году.

— Вам было известно, что Райк полицейский агент?

Я подозрительно посмотрел на Каройи, полагая, что он с какой-то мне не известной целью, провоцирует меня. Ведь Райк считался первым человеком в партийном руководстве, не считая тех, кто вернулся из Москвы. Его прошлое — в подпольном коммунистическом движении, в интернациональной бригаде в Испании, в движении сопротивления, когда немцы оккупировали Венгрию, — уже в 1945 году создало ему такой авторитет, что очень скоро ему доверили один из важнейших портфелей — руководство министерством внутренних дел, а в 1948-ом — министерством иностранных дел. Когда Райк возглавил МИД, а во главе МВД оказался весьма скромных способностей Янош Кадар[11], в узких партийных кругах Венгрии не считали это для Райка провалом. Склонялись скорее к тому, что внутренний порядок в стране уже окреп, поэтому незачем оставлять этот портфель одному из наиболее значительных членов руководства; полагали, что не Райк стал менее весомой фигурой, когда пересел в министерское кресло МИДа, а, напротив, внешнеполитические задачи вышли, очевидно, на первый план, поэтому партия и делегировала в МИД Райка.

Матяш Ракоши[12] тоже хотел, чтобы и ближний круг поверил в это, а, может быть, тогда он и сам еще не подозревал, какая судьба уготована Ласло Райку. Об этом свидетельствует телефонный разговор генерального секретаря коммунистической партии с одним из ответственных чиновников МИДа. Еще до того, как Райк возглавил МИД, Ракоши позвонил доктору Дёрдю Хелтаи, начальнику политического отдела МИДа, и спросил.

— Ну что, слышали уже великую новость?

Действительно, ходили слухи о том, что вместо Эрика Молнара МИД возглавит Райк, поэтому Хелтаи ответил, что о грядущих перестановках шушукаются по углам. На это Ракоши без церемоний объявил, что новым хозяином МИДа будет Райк и пояснил:

— Нам осточертело, что МИД похож на детский сад. Теперь вы получите, наконец, взрослого человека

Презрительное «детский сад» относилось к деятельности и поведению Эрика Молнара[13], покидавшего министерский пост. Хотя Молнар несколько десятилетий состоял членом коммунистической партии, но в Москве не бывал. Он действительно участвовал в венгерском коммунистическом движении, но не столько работой в нелегальных организациях, сколько тем, что своими трудами на исторические и аграрно-политические темы поддерживал нелегальные издания венгерских коммунистов. Однако брат его, Рене Молнар, который в течение долгого времени был в Будапеште официальным адвокатом венгерских коммунистов, эмигрировав в Москву, стал жертвой антитроцкистских процессов. Эрик Молнар, отчасти по этой причине, отчасти потому, что руководство внешней политикой было практически вне сферы его интересов, уклонялся от всяких самостоятельных начинаний или решений. Даже по самым ничтожным вопросам он просил совета, указания то от ЦК компартии, то от советских властей. Руководители отделов нередко бывали свидетелями — не раз это случалось и при мне, — как Молнар прерывал чей-либо доклад и по секретной линии, так называемой «чайке», звонил Ракоши, Реваи или русскому послу Пушкину[14] — зачастую по совершенно рутинному вопросу, — чтобы согласовать с ними принятое решение. В среднем ящике стола он держал свои книги и почитывал их в служебное время. Если кто-то входил в его кабинет, он лишь в самую последнюю минуту задвигал ящик, и выражение у него было такое, как у застигнутого за списыванием шпаргалки студента.

Поэтому более молодой, по сравнению с ним, Ласло Райк казался «взрослым» не только Ракоши, но и всем, в чьих глазах политик-практик значил больше, чем теоретик-ученый. Хотя для хорошо осведомленных лиц не было тайной, что престиж Райка, именно как политика-практика, претерпел некоторый урон, когда на политбюро была подвергнута резкой критике его позиция в вопросе о роли парторганизаций МВД и сразу же последовал перевод в МИД; однако в 1948 году этому еще не придали особого значения, ведь в «год перелома», как называл его Ракоши, вообще во всем государственном аппарате происходили крупные перестановки.

Направленность этих перестановок становилась все очевиднее. В конце 1948 года — когда меня перевели из МИДа, где я был заместителем заведующего отделом печати, в министерство сельского хозяйства

руководителем отдела печати, — отозвали домой не только старую гвардию мидовцев, но, одного за другим, вернули в страну или просто уволили также тех, кто получил назначение уже после 1945 года, а на их место назначили, как в центральном аппарате, так и в посольствах, партийных функционеров рабочего происхождения, главным же образом тех, кого взяли непосредственно из УГБ. Бывшие сотрудники тайной полиции зачастую пополняли свою зарплату из кассы УГБ. Например, полковник УГБ Тамаш Матраи, которого летом 1948 года назначили в МИД советником. Он получал здесь около 900 форинтов в месяц и одновременно из кассы УГБ — 1500 форинтов; однажды он в моем присутствии по телефону просил ускорить их выдачу.

В ходе реструктуризации МИДа Матраи создал вокруг себя так называемый административный отдел. Собственно говоря, он принял под свою руку участок, который прежде обслуживали два чиновника, но превратил этот отдел в чрезвычайно разросшийся, мощный бюрократический орган. Таким образом, он взял под контроль выдачу дипломатических паспортов, к чему раньше тайная полиция не имела доступа, взял в свои руки курьерскую службу, чтобы иметь возможность непосредственно использовать для нужд УГБ дипломатическую почту и дипломатические паспорта. Помимо этого административный отдел под предлогом наведения порядка стремился поставить под полицейский контроль все структуры МИДа.

Сейчас, по прошествии лет, особенно же благодаря намекам или обмолвкам, услышанным в тюрьме, практически нельзя сомневаться в том, что и сам министр давно уже находился тогда под наблюдением. Однако главный наблюдатель докладывал, скорее всего, не Габору Петеру, как Матраи, а, по всей вероятности, непосредственно русским и выполнял их указания. Ибо этим наблюдателем был вернувшийся из Москвы Андор Береи[15], которого осенью 1948 года назначили к Райку госсекретарем.

Между двумя мировыми войнами Береи работал в Коммунистическом интернационале в качестве так называемого инструктора и, как доверенное лицо Коминтерна, руководил деятельностью коммунистической партии Бельгии. Инструкторы этого Интернационала — как, например, и Эрнё Герё[16] в Каталонии во время гражданской войны в Испании — являлись в одном лице уполномоченными не только Коминтерна, но и НКВД. Береи выгодно отличался от товарищей по службе своими познаниями, кругозором, способностью схватывать все налету. Быть может, именно этими, подозрительными для Москвы свойствами объясняется то, что он, хотя всю свою жизнь был конформистом, неизменно оттеснялся на второй план. Он мог, самое большее, быть Сирано при более невежественных безликих коммунистах, которых ни в коем

случае невозможно было заподозрить в том, что в их головах, хотя бы случайно, могла возникнуть хоть какая-нибудь самостоятельная мысль.

Для Береи — как и для Молнара — МИД не представлял интереса. Он по-прежнему тяготел к Госплану, главою которого был до назначения госсекретарем МИДа. Даже в его мидовской приемной нередко ждали очереди специалисты, референты из Госплана, чтобы — полуофициально — попросить у него совета, рекомендаций, и Береи одно время чаще принимал Дёрдя Колоша, секретаря Госплана, чем ведущих чиновников МИДа. Так что бывший инструктор Коминтерна вряд ли действовал по собственной инициативе, когда отдавал распоряжения без ведома Райка, за его спиной, прибрав к своим рукам даже те дела, решать которые полагалось министру. Из-за этого — как стало мне известно позднее — в марте-апреле 1949 года между ними происходили частые стычки. В то время, когда шли мои допросы, я ничего об этом не знал, поскольку последние месяцы работал уже в министерстве сельского хозяйства. Зато я отлично помнил первомайскую демонстрацию, которую на почетной трибуне приветствовали Ракоши, генеральный секретарь коммунистической партии, и Райк.

Я помнил эту сцену хотя бы уже потому, что рядом с высоким, худощавым, статным Райком приземистый Ракоши, с головой вросшей в плечи, в надвинутой по самые уши шляпе и с багровым от палящего солнца лицом, выглядел комической фигурой. Вообще Ракоши всегда чрезвычайно заботился о том, чтобы контраст с окружавшими его лицами не умножал неприязни, которую и без того вызывал его непрезентабельный вид. И то, что он все же поставил Райка рядом с собой, на эзоповом языке коммунистического протокола означало, что стоявший рядом с Матяшем Ракоши Ласло Райк является одним из высших руководителей коммунистической партии. Но, раз так, с какой же целью, — размышлял я, — этот угебист задал мне столь провокационный вопрос?

Однако Каройи счел мое молчание слишком затянувшимся.

— Отвечайте! Вы знали, что Райк был агентом полиции?

— Я считаю это совершенно невозможным, — ответил я.

Каройи хохотал долго, искусственным полицейским смехом, что он проделывал мастерски.

— Ну, разумеется, — воскликнул он, — приятели друг за друга горой! Надеюсь, вы понимаете, что тем самым и вы становитесь еще более подозрительным? — Я хотел возразить, но он остановил меня. — Знаю, знаю, Сёни лжет. Однако, еще одно-два таких свидетельства, и ваше отрицание теряет всякий смысл. Полагаю, это понятно? Однако же, если вы мне поможете, я тоже смогу помочь вам.

— И чем же я могу вам помочь? — подозрительно спросил я. — Заявить, что Райк был полицейским шпионом, я все равно не могу.

— Мы и не хотим от вас этого. Скажите только правду. Ведь вы были одним из организаторов студенческого коммунистического движения?

Я кивнул головой.

— Когда вы приехали в Будапешт?

— После окончания гимназии, в 1928 году.

— И тогда же записались на филологический факультет?

— Нет. Сперва я записался на факультет международных отношений.

— Одним словом, относились к привилегированным. Сразу попали в теплицу, где выращивали отпрысков дипломатов, служивших режиму Хорти? — насмешливо ухмыльнулся Каройи, который, вероятно, был мой ровесник и не мог не знать тогдашнюю ситуацию. — Каким же образом вы все-таки стали коммунистом, ведь партия тогда была нелегальной?

В самом деле, коммунистическая партия тогда ушла в подполье, в университетах же верховодили правого толка студенческие организации, так называемые объединения «соратников». Их члены носили разного цвета фуражки, соответственно принадлежности в тому или иному факультету или объединению, принимали участие в военных учениях, манифестациях. Правительство полуофициально их поддерживало, оказывало им предпочтение при распределении государственных стипендий. Покровители объединений, так называемые домины*, в большинстве своем именитые общественные деятели правого толка, оказывали поддержку уже окончившим курс «соратникам». С энергией, напоминающей солидарность «свободных каменщиков», они использовали свое влияние, чтобы этих «патриотически настроенных, достойных доверия» молодых людей — как тогда принято было говорить — устроить на государственную службу или на обещающие быстрое продвижение должности в крупных частных компаниях. В принципе ни домины, ни полуофициальные покровители не осуждали — разве что несколько опасались реакции за рубежом — объединения «соратников», которые в начале учебного года, нарушая сонную скуку дворцов науки, регулярно устраивали шумные и жестокие «жидовские порки», дабы отпугнуть от университетов и так малочисленных, принимавшихся по квоте, студентов-евреев.

Таков был отталкивающий отсвет официальной политики в высших учебных заведениях Будапешта. Однако приехавшие из провинции юноши не могли разглядеть принципиальных различий между правительственной партией и победившими в отдельных аграрных районах оппозиционными партиями. А мелкие либеральные партии ограничивали свою деятельность почти исключительно рамками столицы, вовлекая

---

* От лат. *dominus* — господин.

в свои ряды ремесленников, мелких торговцев, нижние слои буржуазии; в своих программах они излагали насущные материальные требования своих избирателей, но ни во внутренней, ни в международной политике сколько-нибудь привлекательных для молодежи концепций не предлагали. Движение «народных писателей» и исследователей деревни, позднее ставшее столь значительным, тогда находилось еще в эмбриональном состоянии, что же до социал-демократической партии, то она заключила соглашение с правительством, обязавшись не вовлекать в свою деятельность основное население страны — крестьянство; за это власти обещали терпимо относиться к профсоюзам промышленных рабочих и частных служащих, к сдержанной агитации социал-демократов, хотя часто применяли против них силу и другие незаконные средства воздействия. В этом угрожающем положении социал-демократы сосредоточили свои силы на профсоюзной деятельности среди промышленных рабочих и мелких служащих, один только Иллеш Монуш, идеолог партии и редактор теоретического журнала, старался завоевать молодую интеллигенцию, заинтересовать ее социальными проблемами, политикой вообще и культурной политикой в частности. С этой целью он организовал кружок Жореса, устраивал дискуссионные вечера в надежде, что, не посягая на расстановку политических сил, каким-то образом удастся возродить свободный дух довоенного кружка Галилея[17].

Однако в глазах политически ангажированных молодых людей, которые испытывали глубокую неприязнь не только к дерущим горло «соратникам» в разномастных фуражках, но и к их патрону, хортистскому режиму, оппозиционность социал-демократической партии — быть может, реалистическая, но осторожная — выглядела мягкотелой, соглашательской. Они искали нечто более радикальное. Особенно те, кто, как и я, отправлялись в одинокие ночные прогулки — исследовательские «экспедиции» — по столице и с чувством вины озирались в трущобах Будапешта, считая ответственными за то, что увидели, свои семьи и даже самих себя. Именно поэтому год спустя я оставил факультет международных отношений, покинул коллегиум, где студентам прислуживали лакеи в белых нитяных перчатках, снял комнату и поступил на филологический факультете, стал завсегдатаем кафе, где собиралась левая молодежь, писал стихи, новеллы, позже — небольшие литературоведческие статейки, вместе с товарищами выпускал, один за другим, литературные журналы-однодневки, был членом кружка Жореса, сотрудничал в выходивших за границей левых изданиях, взахлеб читал марксистскую литературу, какую только можно было раздобыть в Венгрии, затем записался на один семестр в Сорбонну.

Каройи я сказал только, что в 1930 году прослушал один семестр в парижском университете, познакомился там с французскими студента-

ми-коммунистами, а, вернувшись домой, стал искать связи с нелегальной венгерской компартией. В ответ на следующие вопросы сообщил, что поначалу принимал участие в работе так называемого партийного аппарата, доставляя в тайную типографию пишущие машинки, восковку, типографскую краску, был курьером, связным. Тогда же мне поручили приглядеться в университете к сочувствовавшим коммунистам студентам, чтобы создать там ячейку. Первым согласился вступить в организацию Иштван Штольте[18], он в течение десяти лет был моим одноклассником, как в начальной, так и в средней школе, и разделял мой образ мыслей.

— Значит, Штольте, — кивнул Каройи и опять предложил мне сигарету. — А Райк?

Ласло Райк был высокий, мужественного вида молодой человек. Его лицо, необычайно высокий лоб, выдающиеся скулы, твердые черты — как утверждали позднее, в его бытность министром иностранных дел, американские журналисты — имело поразительное сходство со скульптурными портретами Авраама Линкольна; покопавшись в биографии министра, американцы выяснили также, что Райк родился ровно столетием позднее президента, который пал жертвой фанатика-южанина после победы Севера. Конечно, такие забавные параллели и в голову не приходили студентам будапештского университета, но глаза Райка, его сияющая обаятельная улыбка, спокойная уравновешенная речь вызывали дружеское доверие среди коллег самого разного происхождения и уровня.

— Ну а Райк?

— Штольте обратил мое внимание на то, что взгляды Райка недалеки от наших.

— И вы тотчас приняли его в организацию?

— Нет. Прежде я был с Райком просто в приятельских отношениях, весьма поверхностных, поэтому очень осторожно постарался выяснить, каковы его убеждения. Тем более, что мне строго наказали действовать так, чтобы в университете не считали меня коммунистом, ведь если я навлеку на себя подозрение, то поставлю тем самым в опасное положение и того, через кого идет моя связь с центром, и тех, кто нелегально связан со мной.

— О чем были ваши первые беседы?

— Главным образом, о наших учебных делах. Лишь мало-помалу мы стали обмениваться мыслями о разных социальных теориях, о политике.

— И Райк не познакомил вас со своими товарищами?

— Познакомил, конечно. Райк входил в маленький кружок, центральной фигурой в котором был наш коллега Месарош. В этом кружке

читались и обсуждались научные труды по социологии, в особенности марксистские. Месарош считал, что, не разобравшись досконально в теории, неразумно присоединяться к той или иной партии, а тем более подвергать себя опасности, участвуя в нелегальном движении.

— Райк одобрял эту позицию?

— Мне казалось, что в принципе он считал ее правильной, но практически его образ мыслей, темперамент, как и у большинства молодых людей, все же склоняли его к действию. Я решил, что выбор должен сделать он сам, и потому не пытался привлечь его к нашей первой акции.

— Что это была за акция?

— На первый раз коммунистическая ячейка в университете проявила себя относительно скромно: мы разбросали листовки в техническом университете, на филологическом факультете и в нескольких студенческих столовых. Несоразмерное впечатление от этой акции больше всего поразило нас самих, потому что уже вечером того дня бульварная пресса сообщила о ней под кричащими заголовками и расценила событие, как вторжение коммунистов в университеты. Власти ведь полагали, что благодаря «соратникам», а также с помощью отсева при приеме они в полной мере держат студенчество в руках.

— Ну, а потом? Кого-нибудь арестовали?

— Никого, но уже на следующий день за версту узнаваемые полицейские чины сновали взад-вперед по коридорам технического университета. Своим появлением они буквально подталкивали нас на то, чтобы за спинами забавных простаков детективов в котелках двое-трое наших ребят за несколько минут до начала лекций буквально забросали листовками скамьи и подоконники аудиторий.

— Ну, мы-то эти тыквы на головах не носим, — проворчал Каройи, почувствовав, вероятно, что моя насмешка относится не только к тайной полиции прошлого; и еще добавил многозначительно: — И мы вовсе не простаки. Итак, расскажите подробно, что было дальше: когда после этого вы встретились с Райком, каким образом и кто именно вовлек Райка в коммунистическое движение.

Я постарался припомнить события последовавших дней. Да, «соратники» у каждого входившего проверяли удостоверения личности: в здании университета могли находиться исключительно студенты. Поэтому уже после второго случая распространения листовок стало очевидным, что самоутешительные предположения некоторых газет, будто бы листовки проносят в университет посторонние лица, не выдерживают критики. Следовательно, виновных нужно искать среди самих студентов. Тогда «фуражки» провели ряд настоящих военных акций. Они прочесали весь университет и, в доказательство, что за распространение листовок студенты все-таки не могут нести ответственность, поскольку орга-

низации «соратников» ведут их по патриотическому пути, передали в руки полиции нескольких ни в чем не повинных и почтенного возраста любознательных господ, которые толкнулись было в университетские двери, так как желали послушать лекцию профессора Геревича по истории искусства. Возбуждение, охватившее «фуражки», передалось и тем, кто посматривал на них не без злорадства. Из уст в уста передавались ехидные слухи, и часто в коридорах толпилось больше студентов, чем в аудиториях. В этой атмосфере я и встретился опять с Ласло Райком.

Не знаю, догадывался ли он, что я могу иметь некоторое отношение к событиям последних дней, но одно точно: он ни о чем не спросил, и не было сказано ни слова ни о листовках, ни о статьях в газетах, ни о рвении «фуражек». Насколько я помню, мы обсуждали недавно появившееся исследование о французской революции. Мы ходили по коридору вдвоем, когда раздался звонок, объявлявший о начале лекции. Райк остановился и, без всякого перехода, назвав меня не по фамилии, как обычно, а по имени, закончил последнюю свою фразу так: «...выход, Бела, только один: Ленин».

Мы вошли в аудиторию, но не сели рядом. На следующий день я сказал Штольте, чтобы он установил связь с Райком, теперь уже открыто, от имени коммунистической ячейки.

— Значит, вы не сомневаетесь в том, что именно Штольте связал Райка с коммунистической партией?

— Не сомневаюсь, потому что я сам попросил его об этом.

— И вы готовы сказать это Райку в глаза?

— Отчего же нет? Разве он отрицает это?

— Вам здесь задавать вопросы не положено, — холодно оборвал меня майор. — Вы готовы сказать ему это прямо в глаза? Или нет?

— Это правда, поэтому я готов.

— Хорошо, — кивнул Каройи, — пойдем дальше. Как развивалось университетское движение?

Я рассказал, как организация расширялась. Штольте создал еще одну группу в коллегиуме имени Этвеша, что коммунистическая партия сочла серьезным успехом, потому что коллегиум Этвеша, принявший как образец для себя французскую École Normal Supérieure, несомненно отбирал университетскую духовную элиту, тех, к чьему слову прислушиваются остальные. Так что завоевание «этвешевцев» давало студентам-коммунистам более реальную возможность занять определенные позиции в уже существовавших легальных организациях и тем самым расширить свое влияние. Поэтому партия решила: пусть студенческая группа сотрудничает с коммунистическим союзом рабочей молодежи, который, хотя и тесно примыкает к партии, но организационно все-таки остается вне ее. Мне предложили связать Штольте непосредственно с

союзом молодых рабочих, самому же выйти из университетской организации, так как в отделе по связи с провинцией — куда я буду переброшен — меня ожидает такого рода работа, которая, по соображениям безопасности, сделает невозможной мою со Штольте совместную деятельность, что и раньше было неправильно. Так Штольте стал секретарем университетской партячейки, однако через друзей я по-прежнему знал, как идут дела в университетской группе.

— И что было с вами дальше?

— В 1932 году меня арестовали вместе с руководителями территориального отдела.

— Вы и после того получали сведения о работе ячейки?

— Получал. Мои друзья сумели обойти бдительность цензора, они посылали мне в тюрьму книги, в которых на заранее обговоренных страницах едва заметно помечали отдельные буквы. Из этих букв я точно воспроизводил их сообщения.

— Ну, — ухмыльнулся Каройи, — у нас этот фокус не прошел бы. — Потом сурово спросил: — Когда Штольте стал троцкистом и полицейским стукачом?

— Насколько мне известно, членство Штольте в партии было приостановлено в 1933 году, после ареста университетской ячейки. Как я помню, возглавил движение тогда Райк. Позднее Штольте исключили из партии, как троцкиста и полицейского агента.

— А Райк продолжал поддерживать связь с троцкистским шпионом, не так ли?

— Когда членство Штольте в партии было только приостановлено и он продолжал работать над статьей по истории, партия, насколько я знаю, поручила Райку, с одной стороны, как секретарю университетской комячейки, а с другой — как историку, ознакомиться с работой Штольте и дать ей оценку.

— Вы в то время встречались со Штольте?

— Встречался.

— Хороши партийцы! Встречались с подозрительными лицами! Но Райк, конечно, и после исключения Штольте поддерживал с ним связь?

— Этого я не знаю.

— Скоро узнаете, — усмехнулся Каройи, — вы еще много чего об этом расскажете. Ну, а пока запишите точно, когда именно вы встретились с Райком, запишите ваши с ними разговоры, запишите, кто, где, когда, каким образом вовлек Райка в нелегальное движение. Пока хватит и этого. Хотите сигарету?

Каройи вылез из кресла, пересадил меня за стол для пишущей машинки, положил передо мной бумагу, карандаш и несколько сигарет. Затем позвал охранника с карабином.

— Спичек не дам, — сказал, обернувшись, от двери, — захотите курить, обратитесь к товарищу. Когда будете готовы, скажите ему.

С этими словами он вышел. Я прежде всего выкурил сигарету и только потом стал размышлять, что за всем этим может стоять, при этом бесстрастно, объективно записывая все, что помнил.

На следующие сутки в камеру пришли за мной посреди ночи два угебиста и отвели в другой кабинет, обставленный пошикарнее, чем кабинет Каройи. Меня принял Эрнё Сюч, заместитель Габора Петера. Нервный, усталый, нетерпеливый. Он задал несколько вопросов о коммунистическом движении в университете, затем спросил, кто связал Райка с коммунистическим движением рабочей молодежи. Потом сам сел за машинку, напечатал коротенький протокол, содержавший только то, что Райка подключил к движению Штольте. Спросил, подтвержу ли я свои показания на очной ставке с Райком. Я ответил, разумеется, положительно.

Меня снова сопроводили в подвал, но вскоре опять пришли за мной, надели наручники и во дворе здания посадили в машину с задернутыми шторками. Справа и слева от меня сели два следователя и, хотя шторки полностью закрывали внешний мир, все же нацепили мне на глаза темные очки, стекла которых были тщательно заклеены с внутренней стороны черной бумагой. Вероятно, мы проделали тот же путь, что и в первый день, въехали в тот же гараж, и меня поволокли по той же лестнице в подвал; действительно, когда с меня сняли очки, я обнаружил, что нахожусь в том самом помещении, что и в первый день моего ареста. С меня сняли наручники и втолкнули в карцер, правда, на сей раз в другой. Но в этой сырой дыре я оставался лишь несколько минут, а затем дверь отворилась, и меня отвели на второй этаж. Вскоре я оказался в том похожем на зал кабинете, что и в первый свой день. За Т-образным столом и на этот раз председательствовал Габор Петер в окружении своего штаба. У подножья буквы «Т», справа, стоял Ласло Райк. Меня провели на левую сторону, чтобы мы оказались друг против друга.

На столе перед Райком лежали бумаги, в руке он держал остро заточенный карандаш. Пиджака на нем не было, галстука тоже; измятая полурасстегнутая рубашка свисала чуть не до колен, серые брюки, без пояса, спустились ниже бедер. Он повернул ко мне свое обычно румяное, но сейчас пепельно-серое лицо, погасшие глаза неподвижно смотрели на меня. Морщины на лбу превратились в глубокие жесткие складки, измученное лицо пересекали поперек три параллельные борозды, как будто каждую провели по линейке. И поныне никто, кроме исполнителей и их начальников, не знает, через какие муки прошел Райк на первом этапе своего заключения, а для меня так навсегда и остались загадкой эти три горизонтальные борозды, перерезавшие его лицо.

Хотя прошло столько лет, я все же — сопоставив даты, — могу установить, что это был третий день, проведенный Райком в тюрьме УГБ. Еще за три дня до того, поздним вечером, он разговаривал с женой, кормившей маленького Лаци Райка, которому было всего несколько недель отроду, как вдруг в комнату вошла мать Юлии Райк[19] со словами, что к Ласло пришли люди Габора Петера. Офицеры УГБ остались в передней. Райк пригласил нежданных гостей, явившихся, к тому же, в неурочное время, пройти в кабинет, однако их главный заявил, что характер информации, с которой должен ознакомить его Габор Петер, требует, чтобы Райк поехал в УГБ вместе с ними. Это приказ. Министр протестовал (он уже слышал о моем исчезновении), однако люди Петера в конце концов просто схватили его и силой уволокли с собой. Жена Райка выглянула в окно; она еще успела увидеть, как ее сопротивлявшегося мужа, схватив за руки и за ноги, офицеры УГБ заталкивают в черный автомобиль.

Когда, у изножья буквы «Т» я смотрел на бывшего своего университетского товарища, я не думал о той гротескной ситуации, в которой мы оказались, не думал и о том, какое нас ожидает будущее. Все мое внимание приковывали к себе эти три горизонтальные борозды. Меня преследовала навязчивая идея, что лицо Райка вот сейчас распадется на три части по линиям этих борозд. Но тут Габор Петер выкрикнул мое имя. Я взглянул на него. Он проговорил почти по слогам:

— Кто связал Райка с партией, точнее с коммунистическим союзом молодых рабочих?

— Иштван Штольте, — ответил я.

— Скажите это ему в лицо!

Взгляд Райка беспорядочно перебегал по комнате.

— Ласло Райк! Вы это признаете?

Райк уронил карандаш на лежавшие перед ним на столе чистые листы бумаги и тихо сказал:

— Подтверждаю, что это был Месарош.

— А вы утверждаете, что Штольте?

— Утверждаю.

Меня вывели и еще на рассвете того же дня вернули в подвал УГБ на проспекте Андраши.

Хотя на следующий день никто не сказал мне ни единого слова и на допросы меня не водили, я все-таки не находил себе места. Возможно ли, чтобы я ошибся? А что если Месарош просто для отвода глаз держался сам и держал свой кружок вдали от коммунистических организаций и доказывал приоритет теории, упорно отстраняясь от любой практической деятельности? Тогда выходит, что в той же самой комнате, у того же Т-образного стола я оболгал Райка, как десятью днями раньше

оболгал меня Тибор Сёни? Я долго не мог освободиться от этой мысли, хотя многое говорило против нее. Правда, нельзя исключить, что у Месароша все же была какая-то слабая связь с партией, о которой по моей линии ничего не знали, однако Месарош, насколько мне известно, и позже твердо придерживался своих взглядов, отвергал какие бы то ни было нелегальные действия, больше того, когда большую часть его группы втянуло в себя университетское коммунистическое движение, ближайшие друзья Месароша все еще тщетно пытались привлечь и его самого к участию в нем. Словом, и по психологическим, и по организационным причинам выглядело в равной мере невероятным, чтобы именно Месарош связал или, по крайней мере, мог связать Райка с партией. Однако даже минимальная степень вероятности, что я все-таки ошибался, мучила меня долгие годы. Поэтому и в тюрьме, и выйдя из нее, я, при малейшей возможности, проверял свою память, но и другие помнили то же.

И все-таки... даже если Райк через Месароша каким-то образом вошел в соприкосновение с коммунистической партией, почему он оспаривает свою связь со Штольте, которую инициировал я? Тот факт, что он отрицал это, делал в моих глазах бывшего министра внутренних дел подозрительным, так как мотив казался вполне очевидным.

Если в коммунистической партии кого-то объявляли троцкистом, это было клеймом, пострашнее церковной анафемы, и общение с ним честных партийцев считалось столь же кошмарно заразным, как общение с чертями для верующих Средневековья. Исключенные из партии по обвинению в троцкизме зачастую даже понятия не имели о произведениях Льва Давидовича Троцкого, не знали его взглядов, а если и знали, то, вполне возможно, их не разделяли. Зачастую все их преступление состояло в том, что они не безусловно и не всегда одобряли политику Москвы или — как и я сам в партийной организации государственных служащих — критиковали, а иногда и иронически комментировали рекомендуемую «для общего пользования» сталинистскую фразеологию. Однако, в отличие от выдуманных троцкистов, по отношению к которым это определение применяли не столько как объективное понятие, а скорее как некое основание для отсева, Иштван Штольте мог считаться подлинным троцкистом. Одним из самых аутентичных троцкистов в Венгрии. Ведь когда его исключили из партии, он создал небольшую троцкистскую группу и, как глава ее, вступил в контакт с сыном Троцкого Седовым и, соответственно, с тем региональным троцкистским центром, который создал Седов в чехословацкой Братиславе.

Вероятно, бывший министр внутренних дел считал, что признание своей связи со Штольте для него станет катастрофой. Он должен был лучше меня знать методы УГБ и стиль составляемых здесь протоколов,

а также свободу, с какой тайная полиция относится к фактору времени. Он, конечно, понимал, что к его объяснениям будут глухи, если он попытается объяснить, что Штольте еще не был троцкистом, когда возглавлял университетскую ячейку, и создал свою оппозиционную группу лишь несколько лет спустя. Очевидно, Райк уже тогда не сомневался, что составители протокола элегантно отмахнутся от столь незначительной в перспективе диалектического материализма неувязки со временем и, несмотря на превратность и даже абсурдность подобной логики, ««, отметят только, что Ласло Райка привел в коммунистическую партию исключенный из партии полицейский агент и троцкист, из чего, по суждению УГБ, само по себе следует, что и Ласло Райк не может быть никем иным, как полицейским шпионом и троцкистом.

Но я, после десяти дней заключения и этой очной ставки у Т-образного стола, сидя в подвале на проспекте Андраши, еще не допускал мысли, что под предлогом такого или подобных умозаключений, коммунистическая полиция арестует известного коммуниста, действующего министра. В моих глазах бывшего министра компрометировала не связь двадцатилетнего Штольте и на год старшего Райка, а то, что Райк эту связь отрицает. Поскольку забыть столь решающий момент в своей жизни он не мог — ведь именно тогда он вступил на путь, по которому шел с достойной восхищения последовательностью профессионального революционера, — я решил, что отрицает он действительные факты из каких-то тайных побуждений. Вероятно, и Сёни руководствовался некими темными намерениями, думал я, давая свои лживые показания, и, поскольку, таким образом, поведение их обоих дает основания для недоверия и самых разных предположений, подозрительность УГБ, вероятно, небезосновательна, и, значит, расследование было начато не без причины.

Обвинения заведующего отделом кадров объективно были моим приговором, подозрения же, зародившиеся во мне после отказа Райка признать факты, субъективно ставили меня в двусмысленное положение. Ведь, таким образом, я как бы начинал понимать служебное рвение угебистов, больше того, думал, что не вправе на основании собственного опыта делать обобщенные и окончательные выводы до тех пор, пока знаю лишь то, какие методы применялись ко мне, и не могу судить, в какой степени эти жестокости — результат действительного возмущения или истерического состояния взбешенных полицейских, и в какой степени они предписаны свыше.

Эти несколько отвлеченные размышления были прерваны только вечером, когда меня опять повели на допрос. Правда, в последующие дни следователи и следовательские группы часто менялись, но их вопросы и методы оставались почти неизменными. С одним только

методы оставались почти неизменными. С одним только исключением. Однажды ночью меня привели в довольно просторный кабинет. Сидевший за письменным столом молодой человек приказал мне стать прямо напротив него, затем направил мне в лицо рефлектор и чуть ли не светским тоном заговорил. Справа позади него туманно вырисовывалась женщина, сидевшая за машинкой, словно в ожидании диктовки. Лицо ее было обращено в мою сторону, но черты его в ослепительном свете рефлектора я не различал, видел только контуры ее головы, волос, плеч.

Молодой человек начал с того, что не считает меня шпионом в бытовом значении этого слова. Я принадлежу к тем, кого он назвал бы коммунистами западной ориентации. Более культурная лексика молодого человека, его ясные, четкие формулировки и цивилизованные интонации резко отличались от речи и поведения моих предыдущих следователей. Он не спрашивал, это была лекция.

Те, кто вернулся на родину из так называемых стран буржуазной демократии, продолжал он развивать свою мысль, привезли с собой чуждый и опасный деструктивный дух, закоснелые предрассудки. В тех западных странах, где они — как и я — провели более десятилетия, эти люди посещали университеты, заводили друзей и, в сущности, связали себя с Западом.

Возможно, мы искренне считаем себя коммунистами, однако же в странах социализма мы все-таки являемся вредным элементом, чужеродным телом. Быть может, сами того не сознавая. Оглядите хотя бы собственную жизнь, предлагал он, особенно за последние два с половиной года, тот период, когда работали в МИДе, особенно же — в министерстве сельского хозяйства…

Я сказал, что был бы признателен, если бы он довел до моего сведения, в чем проявилась моя некорректность или нелояльность. Молодой человек засмеялся.

— Некорректность или нелояльность? Видите, уже самый вопрос ваш подтверждает мою правоту. Сами подумайте, насколько вы деструктивны с этими вашими буржуазными понятиями, буржуазным педантизмом и предвзятостью. Подумайте, подумайте и — повспоминайте…

Слушая дальнейшие вариации глубокомысленных размышлений молодого человека, я старался заглянуть за рефлектор, разглядеть лицо сидевшей за машинкой женщины, мне показалось, хотя видны были только ее контуры, что я ее знаю. Мне вспомнился один случай, очень меня рассердивший. В середине марта меня вызвал в ЦК некий партийный функционер, по фамилии Барати, которого я едва знал. После нескольких общих фраз он вскоре перешел к делу и с очаровательной непосредственностью сказал:

— Будь добр, дай коммюнике о том, что в северных областях кулаки саботируют посевную.

Я подробно объяснил ему, что о саботаже не может быть речи. Почти тысяча собственных корреспондентов отдела печати минсельхоза работает по всей стране, они регулярно передают в центр достоверную информацию о погоде, о том, какие сельхозработы при данных обстоятельствах возможны, как они продвигаются и о видах на урожай. Все получаемые мною сведения говорят о том, что в северных областях земля еще не прогрелась и даже покрыта снегом. В такую погоду венгерские крестьяне не пашут, ждут оттепели, которую, без сомнения, долго ожидать не придется. Но даже если бы какие-то признаки саботажа где-то обнаружились — а таковых в действительности нет, — я все равно воздержался бы от того, чтобы подобным коммюнике, которое, разумеется, перепечатали бы все газеты страны, понапрасну будоражить население.

— Ты рассуждаешь не как политик, товарищ, — отмахнулся Барати. — Но факты упрямая вещь: согласно посевному плану в середине марта пахоту надлежало закончить, а в северных районах кулаки этот срок игнорировали. Так что коммюнике тебе все же придется дать.

— Такое коммюнике, — ответил я, — обвинило бы в саботаже только погоду.

Пожав плечами, Барати опять стал приводить политические доводы; по его мнению, я неправильно подхожу к борьбе с кулачеством, более того, недооцениваю ее. Я, в свою очередь, приводил все новые доказательства того, что обвинение в саботаже высосано из пальца. Все еще надеясь, что он прислушается к моим аргументам, основанным на реальном положении вещей, я подчеркнул: такое коммюнике может дискредитировать не ложно заподозренных людей, а тех, кто его дал, и при том стать предлогом для сведения личных счетов, насильственных действий и даже охоты на людей. Я лично не склонен дать повод для чего-то подобного и, надеюсь, он тоже.

Когда мы исчерпали, наконец, все наши доводы и уже только повторяли их вновь и вновь, Барати произнес те самые слова, которые сейчас и заставили меня его вспомнить — слова молодого угебиста.

— Ты формалист и предвзятый человек, товарищ, — проговорил Барати и задумчиво смерил меня взглядом с головы до ног.

Я встал и, мне кажется, спокойно, даже негромко ответил:

— Возможно. Но пока я заведую отделом печати министерства, подобного коммюнике не дам.

Я полагал, что не Барати, а я представляю политические интересы партии и защищаю ее моральные ценности. Я полагал, что меня назначили на этот пост не в качестве автомата, действующего по нажатию кнопки, а затем, чтобы я выполнял свою работу убежденно и ответст-

венно. Все же несколько подобных дискуссий и перепалок испортили мне настроение, поэтому я предпринял кое-какие шаги, чтобы оставить кресло заведующего отделом печати и пересесть за письменный стол в каком-либо исследовательском, научно-исследовательском, пусть даже полунаучном институте, но только подальше от повседневной политики. Я считал, что вправе принять такое решение, отойти в сторону. Конечно, кое-кто из старых моих друзей поворчит и недовольно покачает головой, но сито времени, надеялся я, отсеет всех этих закоснелых, недалеких партийных функционеров и без меня.

Однако идентичность лексики партийных функционеров и угебиста указывала на столь тесное родство, что я уже опасался: сейчас этот декламирующий за письменным столом молодой человек призовет меня к ответу за то неопубликованное коммюнике. Но он не стал вдаваться в подробности, а продолжал просвещать меня в общем плане.

— Неосознанно деструктивные, ориентированные на Запад коммунисты, — вещал он, — должны признать, что партия вынуждена защищать себя от них. Возможно, в военном смысле они не являются диверсантами и шпионами, однако со своим буржуазным менталитетом точно так же и даже в еще большей степени льют воду на мельницу врага, как проникший на завод саботажник или там какой-нибудь подрывник, взрывающий мосты. Таким образом, эти набравшиеся тлетворного духа Запада люди, хотя и не взрывают мосты, но в сущности, — многозначительной интонацией он подчеркнул слова «в сущности», — являются саботажниками, диверсантами, шпионами, и у партии нет иного выбора, кроме как удалить их, особенно тех, кто занимает высокие посты, чтобы они не распространяли эту заразу. Лично я жалею всех вас, — заявил молодой угебист, — как подумаю о том, какая вас ждет судьба.

Затем, повысив голос, он стал расписывать яркими красками, как мы будем стареть, выживать из ума и, наконец, медленно угасать в одиночных тюремных камерах, в то время как народная демократия будет цвести и крепнуть. Но тут его ловко закрученную фразу внезапно прервал страшный рыдающий вопль. Сидевшая за машинкой девушка вскочила и опрометью выбежала из кабинета. К сожалению, мне и на этот раз не удалось увидеть ее лицо.

— Нашу судьбу, — после короткой паузы невозмутимо продолжал молодой человек, — мы можем смягчить только тем, что откровенно, искренне расскажем все, что знаем или хотя бы подозреваем о самих себе и наших товарищах, если полностью отдадим себя партии и УГБ, безоговорочно предоставим в их распоряжение даже самые личности наши, дабы они могли еще успешнее бороться против империализма.

— Короче говоря, перестаньте упорствовать, — проговорил в заключение своей длинной речи угебист, — и партия будет к вам милосердна.

Больше того, ваша судьба может измениться уже завтра — например, вам дадут одеяло, переведут в другую камеру, вы получите нормальную еду, мясо. Представьте: мясо! Ну, и сможете избежать кое-чего еще, что вряд ли пришлось бы вам по душе. Если же нет, — он пожал плечами, — пеняйте на себя. Платить придется вам. Так что выбор за вами. Надеюсь, вы меня поняли?

В слепящем свете рефлектора мои глаза слезились, от усталости дрожали ноги. Я кивнул — понял, мол. Эти чуть более откровенно, или, если угодно, без обиняков изложенные вероятные варианты могли означать, по сути дела, одно: преступления, в которых нас обвиняют, вымышленные. Однако, взяв на себя вину за эти вымышленные преступления, мы сможем помочь партии и УГБ. Но все это казалось мне в тот момент неважным и несущественным. Важным, и даже единственно важным, было одно: закрыть глаза и хотя бы на несколько минут вытянуться на деревянном лежаке моей камеры.

Это мне всегда помогало немного прийти в себя, хотя, если на допросы уводили ночью, то днем подремать удавалось разве что изредка, да и то самую чуточку, так как охрана и днем была начеку, то и дело гремя заслонками на глазках и колотя в двери ногами, словом, не давая узникам спать. К тому же меня постоянно донимали пронизывающие боли в спине, особенно в области почек, мучительно болело в груди, так что приходилось собрать все свои силы, чтобы подняться с лежака. На распухших ступнях кожа растрескалась; на тыльной стороне рук после «дознаний» с помощью резиновой дубинки вздулись вены, ладони превратились в темно-лиловые, почти черные подушки, пальцы распухли как сосиски. Хотя вот уже неделю я мочился кровью, мое физическое состояние и возможные последствия почти не волновали, почти не занимали меня. Куда больше беспокоило, удастся ли поспать хоть четверть часа и не потащат ли на допрос именно в то время, когда утром разносят баланду, а днем жиденькую разваренную фасоль.

Как я выяснил впоследствии, не только меня, но и большинство оказавшихся в подобной ситуации моих товарищей по несчастью волновал и подавлял не вопрос быть или не быть, а мучительная неопределенность, будет еда или нет, будут пытать или нет, и, наконец, удастся поспать или нет. Вдохновенная речь молодого угебиста в этих обстоятельствах фактически подсказывала узнику, что, собственно говоря, от него самого зависит изменить свою судьбу или оставить все как есть. В то же время эта речь как бы подсовывала ему хрупкий золотой мостик: заключенный не просто сдается, потому что боится мучений, голода и мечтает об отдыхе, нет, он сам желает предоставить себя в распоряжение партии, ведь он понимает, что в период обострения напряженности между Востоком и Западом коммунисты с подозрением относятся к тем, кто учился и возмужал на Западе, кто в годы войны так

кто учился и возмужал на Западе, кто в годы войны так или иначе сотрудничал с западными союзниками, и психологически такое отношение обоснованно — даже если в его личном случае объективных оснований для этого нет.

Мою догадку в какой-то степени подтверждало признание Сёни, и особенно то, что Райк на очной ставке отрицал очевидные факты. Однако же это не только утяжеляло, но и облегчало мое положение, так как давало некоторую надежду. Если я останусь тверд, то, возможно, поспособствую тому, что рано или поздно среди так называемых коммунистов западной ориентации, попавших под подозрение чохом, исключительно из-за принадлежности к данной категории, все же выявят невиновных и обнаружат тех, кто, может быть, и вправду виноват; если же я соглашусь признать клевету, хотя бы только как предположение или догадку, то сам подброшу материал для клеветнических обвинений и должен буду считать себя соучастником, когда предположения и факты, действительность и вымысел совьются в единый клубок.

Однажды ночью меня повели по лестницам и коридорам, затем по обшитому деревом переходу в еще не знакомую мне часть здания. Позднее я часто совершал этот путь, хотя иной раз меня приводили сюда же и по парадной лестнице и я, таким образом, мог установить, что это был четвертый этаж фасадной части дома № 60 по проспекту Андраши. Повернув от парадной лестницы сразу направо, мы попали в просторную продолговатую приемную, прошли мимо склоненной над пишущей машинкой секретаршей, затем мимо приоткрытой двери туалета и, наконец, оказались в кабинете начальника. За столом сидел светловолосый мужчина лет тридцати пяти-шести, в мундире с полковничьими погонами. Он приказал моему сопровождающему отодвинуть в сторону стул, стоявший возле письменного стола, и лишь после этого отпустил его.

Обычное, можно даже сказать, почти приятное лицо полковника выглядело помятым и, как у Каройи, свидетельствовало о недосыпании. Налитые кровью глаза мрачно уставились на меня. Несколько мгновений я все же надеялся, что, наконец, мое дело попало к более ответственному лицу; УГБ разобралось в фактах, поняло бессмысленность показаний Сёни и теперь расследование пойдет по другому руслу. И тут полковник заговорил:

— Кто вас завербовал?

Услышав мой уже стереотипный ответ, он рявкнул:

— Что Вагнер сообщал Сёни?

Я опять же не сказал ничего нового; после третьего вопроса — какое письмо я привез Сёни — он, даже не подождав ответа, выхватил из ящика стола резиновую дубинку и приказал:

— Руки вперед! Ладонями вниз!

И заработал дубинкой. Затем последовала «подковка». Когда я лежал на ковре, полковник наклонился ко мне:

— Если бы вы знали, как это красиво, когда дубинка приникает к ступням... — прошептал он, после чего несколько раз с размаху ударил по почкам.

Затем он вернулся к столу, сел, застегнул мундир и уставил на меня неподвижные рыбьи глаза.

— Когда вы встретились с Филдом? Ноэлем Филдом[20]?

— Я его не знаю, — ответил я.

— Мы схватили этого Филда, — твердо заявил полковник. — Не ожидали, верно?

Я только пожал плечами: эту фамилию я слышал впервые.

— Но сейчас вы еще больше удивитесь, — продолжал следователь с издевательской ухмылкой, и глаза его утеряли остекленелость. — Мы обнаружили также его архив. Что, потрясены? Мы и сами удивились, что Филд был настолько неосторожен. Так как же был сформулирован текст о вашей вербовке?

— Понятия не имею.

— Вы его даже не прочитали?

— Я вообще не читал ничего подобного

— Даже тогда, когда подписывали?

— Я ничего не подписывал...

— А что вы скажете, если я положу этот документ, с вашей подписью, вот сюда, на стол? Перед вашим носом?

Я молчал, однако полковник настаивал:

— Отвечайте! Что вы на это скажете? Говорите же!

— Удивился бы, — ответил я тихо. Хотя к этому времени навряд ли удивился бы, увидев свою подпись под собственным смертным приговором. Коль скоро непроверенные показания рассматриваются как доказательство, отчего же не принять за подлинный документ любую, самую грубую, подделку?

Полковник, по-видимому, задумался, потом, словно ему пришла в голову новая мысль, спросил:

— Каким образом вы вернулись домой из Южной Америки? Расскажите подробно.

Я рассказал, что задержался в Аргентине до 1946 года исключительно из-за проблемы с паспортом и визой. Чтобы возвратиться на родину, я должен был получить разрешение Союзной контрольной комиссии, которое выдавали в Венгрии. По этому поводу я переписывался с моими будапештскими друзьями. Не умолчал я также о том, что среди них был и Ласло Райк. Но сейчас полковника интересовало другое.

— Каким путем вы возвращались на родину?

— До Франции пароходом, оттуда поездом.

— Вероятно, через Швейцарию?

— Да, через Швейцарию, — ответил я, однако не понял, отчего так обрадовался полковника, почему он буквально засиял.

— Ну, вот, — воскликнул он, — теперь все совершенно просто! Когда вы пересекали Швейцарию, к вам подсел в поезд Филд и завербовал вас.

И сейчас не могу сказать, что поразило меня больше: факт откровенного внушения или его ошеломляющая примитивность. И то и другое было одинаково ужасно. Пугала недвусмысленность, с какой полковник внушал мне, чтобы я, на основании внезапно осенившей его идеи и не принимая в расчет реальность, или хотя бы подобие реальности, сделал признание; но еще страшнее было то, что его вполне удовлетворила бы эта нехитрая детская сказочка. Когда я сказал, что не могу себе представить, чтобы какой-то незнакомец в купе поезда вот так, с ходу, убедил человека сотрудничать с секретной службой, полковник, пожав плечами, объявил:

— Ну так напишите что-нибудь более убедительное. Я дам вам бумагу, карандаш. Напишите, кто, когда, как завербовал вас, что вы передали Сёни на словах и какое это было письмо. Напишите, когда и сколько раз встречались с Сёни после вашего возвращения, что вам о нем известно, о чем вы с ним говорили. Напишите о Филде. О Райке — в другой раз. На сегодня этого будет достаточно.

Он посадил меня за маленький столик в приемной. Положил передо мной бумагу, карандаш. Велел охраннику с карабином стать лицом ко мне. Секретарша быстро заперла свои ящики и сразу ушла. Сколько раз и потом, нередко до самого рассвета, сгибался я над этим чуть не добела протравленным облезлым столиком! Стену приемной украшала старательно отретушированная большущая фотография Яноша Кадара. Тогда Кадар был еще министром внутренних дел. Лишь почти полтора года спустя арестовали и его.

В тот полуночный час в приемной полковника уже никто не показывался. Но вдруг в нее влетел запыхавшийся молодой человек с коричневым конвертом в руке. Он беспомощно огляделся вокруг. Усталое ничего не выражавшее лицо охранника, по-видимому, не вызвало его доверия, меня же, несмотря на мою небритую физиономию, он принял, вероятно, за своего коллегу, так как повернулся не к охраннику, а ко мне, и спросил:

— Товарищ полковник Ласло Фаркаш здесь?

Так я узнал имя и фамилию моего полковника, который, между тем, и в дальнейшем пользовался псевдонимом «Ковач», когда звонил по те-

лефону в моем присутствии. Ласло Фаркаш не состоял в кровном родстве с вернувшимся на родину из Москвы Михаем Фаркашем, генералом армии, и с сыном генерала Владимиром Фаркашем[21], двумя общеизвестными фигурами в организации венгерских показательных процессов, однако между ними явно было некое духовное родство. Чуть ли не на каждом допросе Ласло Фаркаш непременно упоминал о своем пролетарском происхождении, которое, наряду с весьма коротким и малозначительным его участием в движении Сопротивления, считал своей главной заслугой и без конца противопоставлял моему буржуазному семейству, образованности, кругу моих интересов. Собственно говоря, он все время позировал на свой грубый, угловатый манер, но, как только брался за дубинку, в глазах его загорался поистине дикий, фанатический огонь, и, несомненно, он был искренен, когда шипел мне сквозь зубы:

— Вы даже представить себе не можете, как я всех вас ненавижу.

На столе у него стояла фотография жены и дочери, выполненная в самом мещанском вкусе, а на стене висел портрет аскетичного, с узкой бородкой Дзержинского, главы российского Чека, затем ГПУ, чье усердствование по истреблению людей в 1923 году показалась чрезмерным даже Ленину. В самом пике физических измывательств и пыток улыбка Фаркаша — обычно привлекательная, широко открывавшая его здоровые зубы — искажалась, превращаясь в слюнявую застывшую гримасу. В такие минуты полковник сопровождал каждый удар присказками, сотканными из инфантильных и пошлых сексуальных представлений, которые он, перемежая с бессвязными непристойными словечками, иногда шептал мне в ухо или же просто бормотал про себя. После таких сцен Фаркашу требовалось некоторое время, чтобы опять влезть в шкуру доктора Джекилла, вновь превратиться в обыкновенного, не слишком умного, но всегда готового услужить и провинциально наивного гарнизонного офицера, который, глядя своими мечтательно-невинными голубыми глазами, любуется идиллической семейной картиной.

Признаюсь: ни одного из моих следователей я не боялся так, как Фаркаша. После моего освобождения я однажды встретился с ним на пороге больницы Кутвёльди[22]. Меня назначили на обследование, а Фаркаш как раз спускался по лестнице, поддерживая под руку пожилую женщину; он усадил ее в машину с номером какого-то государственного учреждения. Бывший полковник УГБ растолстел, но лицо было уже не розовое, а цвета сыра. Он ничем не напоминал теперь того офицерика мальчишеского вида, скорее похож был на рано состарившегося, раскормленного русского генерала. В это время Ласло Фаркаш был оргсекретарем будапештской парторганизации, членом ЦК коммунистической партии. Еще в 1956 году, незадолго до революции, его имя частенько

мелькало в газетах и даже на афишах, рекламировавших выдающихся ораторов. Когда у входа в больницу наши взгляды на секунду скрестились, его лицо отнюдь не осветилось столь знакомой мне самоуверенной улыбкой.

Точно так же помрачнело лицо полковника в день нашей первой встречи, когда он пробежал глазами мои записи.

— Это пшик, Сас, — сказал он, — просто пшик.

То, что я написал, действительно, не содержало ничего нового. Я изложил несколько разговоров с Тибором Сёни, затем опроверг его утверждения, высказанные у Т-образного стола и повторенные позднее, постарался показать их абсурдность. О Ноэле Филде написал только, что никогда и нигде не встречался с человеком, носящим это имя. Не скрою, в голове промелькнуло: не разумнее было бы немного уступить настояниям полковника. Тем более, что придуманная им сцена — как Ноэль Филд садится в экспресс «Альтберг» и пытается уговорить работать на американскую разведку совершенно ему не знакомого, возвращающегося на родину с другого конца света венгерского коммуниста — может, и позабавила бы зрителей легкого развлекательного сатирического фильма, но никак не способна претендовать на доверие здравомыслящего человека.

Я отогнал искушение скорее инстинктивно, а не потому, что продумал до конца все возможные последствия. Но с тех пор я расширил собственный опыт опытом других товарищей по несчастью и скорее полагаю теперь, что эта глупая выдумка с Филдом была не раз испробованной ловушкой, хитроумность которой и заключалась в ее кажущейся бесхитростности. Ведь, рассчитывая именно на то, что суд народной демократии посовестится даже обсуждать подобную бессмыслицу, некоторые подследственные соглашались, посмеиваясь в кулак, сыграть отведенную им роль в кукольной буффонаде. Да только чаще всего получалось так, что еще до юридической процедуры абсурдная эта сказка становилась уже ненужной, хотя именно она и именно своей глупостью ставила подозреваемого под удар: на этом первом признании профессионалы УГБ возводили опрокинутые пирамиды из порождений фантазии, даже если строилась эта пирамида из мыльных пузырей — простым их количеством она подавляла раба формальной логики. В таких случаях тот или другой референт УГБ, скорее из профессионального самолюбия, а не из обостренной тактичности по отношению к чувствительной совести судьи, в конце концов, сотворял вместо особо выпирающих несуразностей некий не столь невероятный фон, под которым жертва логики — с тех пор уже признавшая и гораздо более тяжелые обвинения — без возражений выводила неверной рукой свою подпись.

Конечно, в тот день, когда я не принял во внимание внушения полковника и не воспользовался его подсказкой изложить что-либо более убедительное в связи с Филдом, мои предположения не заходили так далеко. Я не знаю, чего он ждал от меня, не знаю, с наигранным возмущением или с искренней яростью швырнул на стол исписанные мною листки и заорал:

— Ну, теперь вы увидите, как мы обращаемся со шпионами, предателями и полицейскими ищейками! С нынешнего дня будете стоять и в карцере. Не ляжете ни ночью, ни днем. Никакой еды. Никакой воды. Никакого мытья.

Он схватил телефонную трубку, потом передумал и просто крикнул охраннику:

— Уведите!

И еще крикнул в коридор, нам вслед:

— И не подпускайте его к перилам, пусть идет вдоль стены, этот тип уже пытался однажды покончить с собой.

Поскольку мы были уже на лестнице, солдат испуганно схватил меня за руку и толкнул к стене. Фаркаш громко захохотал, потом перегнулся через перила. Его хохот сопровождал нас да третьего этажа.

3

«НАРОДНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ»

За этой ночью последовал период, который я тщетно пытался бы воссоздать в деталях. Возможно, свою роль играют здесь психологические моменты, особенно, пожалуй, стремление что-то забыть ради экономии душевных сил, которое побуждает человека вытравить из памяти мучительные картины и лишающие мирного сна волнения. Впрочем, я вряд ли ошибусь, если скажу, что размытость некоторых моих воспоминаний может быть отнесена, прежде всего, на счет моего физического состояния. Но даже при этом отдельные сцены и решающие, поворотные мгновения отложились, визуально и акустически, с точностью звукового фильма, и я могу дословно воспроизвести прозвучавшие в такие моменты слова. Поэтому я не опасаюсь, что забвение или гнев повлекут меня по ложному пути.

Распоряжения полковника, во всяком случае, моментально освободили меня от тревожных мыслей о том, удастся ли мне вздремнуть несколько минут или не пропущу ли я утреннюю похлебку и неизменную фасолевую затируху на обед. Меня отвели в самый дальний карцер, мимо которого никто никогда не проходил; глазок оставался все время открытым, и перед моей дверью почти неотлучно дежурил охранник. Позднее открыли и дверь, поставили перед ней скамейку, и четверка охранников, одетых кто в форму, кто в штатское, постоянно находилась там в служебное время, развлекаясь тем — уж не знаю, по чьему-то указанию или потехи ради, — что всячески меня донимала. Мне приказывали стоять не шевелясь, затем вдруг начинали орать или колотить в дверь ногами и тут же, под предлогом, что я шевельнулся, врывались в карцер, набрасывались на меня, избивали, пинали ногами. Другие смены оставляли открытым только глазок, один охранник приказывал мне стоять у глазка и каждый раз, как проходил мимо, плевал мне в лицо.

Через несколько дней по подвальному городку, очевидно, прошел слух о спектакле, так как временами перед моей камерой собиралось немало весьма искушенных зрителей. Иногда им наскучивала пассивная роль, и они включались в игру на правах артистов. Так, ко мне вошел широкоплечий мужчина лет сорока-сорока пяти, которого остальные называли Тарьяном. Его сплюснутый нос, похожие на вывернутый капустный лист уши говорили о том, что свою молодость он скорее всего посвятил волнениям ринга, а не изучению «Буколик» Вергилия. Хотя

Тарьян едва достигал уровня моих глаз, он обладал такой силой, что, схватив меня за волосы, поднял в воздух, под восторженные вопли зрителей, и покачал немного, когда же мои пятки снова коснулись земли, он, держа меня от себя под сорок градусов, несколько раз ударил в лицо кулаком.

Иногда меня ставили перед лампой, иногда — лицом или боком к стене и глазку. На третий день я хотел только воды и уже почти не вспоминал о еде.

На четвертый день перед моими глазами на беленой стене замелькали разноцветные проблески; потом эти бледные и неясные зеленые, желтые и розовые пятна постепенно складывались в картины. Помню, например, переполненную посетителями террасу кафе на Елисейских полях, где за круглым столом в компании средневековых поэтов и современных художников сидел Уолт Уитмен в широкополой, с мельничное колесо, шляпе и потягивал через длинную соломинку лимонад.

Тогда я еще понимал, что мои глаза — помимо воли, но как бы с моего согласия, — вступили в сговор с воображением; из добрых чувств они хитрят со мной, отвлекая сознание от реальности. Но когда дверь изредка открывалась и мне удавалось бросить взгляд на стену коридора, когда я видел там под неоклассическим барельефом подпись моего друга скульптора, мне уже и в голову не приходило, что это скорее всего лишь галлюцинация. Я ломал себе голову, за что могли посадить скульптора, и радовался тому, что он работает, хотя бы и только с гипсом. Я с удовольствием разглядывал стройные женские фигуры с корзинами или кувшинами на голове, хотя и негодовал немного, удивляясь, с чего бы это мой друг вернулся вспять, к своему неоклассическому стилю, — но мне и на ум не пришло, почему я только сейчас обнаружил его работы и почему еще вчера стена казалась мне совершенно гладкой, голой.

Как и барельефы моего друга, я посчитал безусловной реальностью, когда увидел: сырой бетонный пол карцера вдруг стал не только мокрым, но на нем ежеминутно появляются новые и новые лужи, затем вся эта слякоть заливает мне ноги, потом всю камеру и вот уже подымается мне по самую грудь. Здесь она останавливается, начинает опадать, потом снова подымается, снова опадает, и, когда после бесчисленных приливов и отливов, на полу остаются уже лишь небольшие лужицы, на бетоне проступает лист какой-то старинной газеты с портретами аристократов, одетых по моде столетней давности.

На этом мои воспоминания блекнут, я не знаю, сколько раз и когда водили меня на допросы, не знаю, сколько раз в моем карцере подымалась по самую грудь и потом вновь опадала вода, помню только, как седой следователь открывает дверь в мою камеру и я говорю ему что-то

о валяющихся на полу музейного вида газетах и о плюющемся охраннике, а следователь указывает на лежак — ложитесь, мол.

Если не считать этот единственный перерыв, памятный еще тем, что мне принесли полный котелок бобов, я простоял девять дней без еды и питья. Эти девять дней не иначе как были записаны на обложке моего следственного дела рядом с датой моего рождения, потому что в дальнейшем многие мои следователи поминали эту цифру, а один из них, полтора года спустя, обещал лично позаботиться о том, чтобы я снова простоял девять суток — только уже на одной ноге.

Со дня ареста меня ни разу не побрили, ни разу не позволили обрезать ногти и сменить белье. На то, чтобы хоть ополоснуться, и раньше предоставлялось лишь несколько секунд, но охрана зачастую лишала заключенных в подвальных карцерах и этой радости, впрочем, скорее из лени, чем по злому умыслу. Но сейчас приказ Фаркаша запретил мне и это. Я с отвращением прикасался к трехнедельной моей щетине и разглядывал распухшие, искореженные руки, грязные ногти. Мучительное ощущение грязного, немытого тела становилось еще острее оттого, что рот, из-за голода и неутоленной жажды, обнесло каким-то кисловатым липким налетом, затруднявшим даже речь. Мое физическое состояние было для меня с каждым днем несноснее, не меньше, чем постоянные ассоциации и непристойная игра фантазии полковника в самые острые моменты пыток.

Дни и ночи сливались воедино. Однако всякий раз, как до меня доносился шум, сопровождавший утреннюю раздачу похлебки, мой календарь, выцарапанный на сырой стене карцера, пополнялся еще одной черточкой. На рассвете же, когда меня возвращали в карцер после допроса, я, как добросовестный журналист, хронист, которому когда-нибудь придется с профессиональной точностью доказательно отчитаться о том, что довелось пережить, педантично отмечал в моем стенном дневнике количество «подковок» и ударов по рукам. Хотя, сказать по правде, я хотел только одного: никогда больше не видеть стен карцера, охранников, полковника, и наивысшим счастьем представлялась минута, когда сердце остановится навсегда. Некоторая надежда на это у меня была, потому что мои щиколотки превратились в слоновьи, колени распухли как дыни и едва умещались в штанинах. Поэтому всю свою силу воли я сосредоточил на том, чтобы остановить самый процесс моей жизни. И все же за эти девять дней я только один раз грохнулся на пол и потерял сознание. Но каким бы безвыходным ни представлялось мне мое положение, а может быть, именно поэтому, я не раз посмеивался над дикими приступами ярости полковника, его преображениями, примитивностью и цинизмом, больше того, смеялся и над скрупулезной своей, явно бессмысленной статистикой, хотя иной раз чуть ли не самозабвенно отдавался моим играм, чтобы как-то заполнить время.

В непрерывный диалог инстинктивного желания выжить и желания спасительной смерти, несомненно, включалось и осознание того, что следователи, полковник не только без конца твердили, что действуют с одобрения коммунистической партии, но, судя по всему, так оно и было. Все эти пытки совершались именем той партии, к которой я сам, в поисках пути, присоединился в юности из верно или неверно понятого радикального гуманизма. Но я чувствовал, что с этими охранниками, следователями, Вайдой, Тарьяном, полковником, Каройи, Эрнё Сючем или Габором Петером у меня духовной общности не больше, чем с какой-нибудь амебой. Я никогда не соглашался с тем, что цель оправдывает средства, но еще более был убежден, что средства, применяемые угебистами, любую цель компрометируют на вечные времена. А поскольку я всегда и в любых обстоятельствах, со всей страстью и возмущением клеймил бы их методы, которые мне довелось видеть и испытать на себе, то я ощущал себя пойманным в ловушку, одураченным: ведь и мое коммунистическое прошлое — пусть даже в скромных размерах, пусть опосредствованно — служило поддержкой Габору Петеру и его приспешникам. Осознание этого лишь усиливало желание навсегда уйти из жизни.

Таким образом, в принципе победа осталась за желанием умереть, но в то же время инстинкт самосохранения и, прежде всего, конкретно — мучительная жажда все-таки заставили меня совершить поступок, о котором стыдно вспоминать. В определенное время охранники и меня водили в нужник, хотя существование без еды и воды уже на третий день привело к почти полному прекращению обмена веществ. Я ходил туда лишь ради перемены места, но однажды уже не в силах был устоять перед животной жаждой и, дернув цепочку бачка, припал к чаше унитаза, чтобы успеть проглотить хоть несколько капель воды. Напрасно охранник тыкал мне в затылок дулом револьвера, потом бил по голове его рукояткой: пока журчала вода, все его усилия оттащить меня были тщетны.

Физические муки и лишения дополнялись угрозами и посулами. Фаркаш вожделенно и подробнейшим образом расписывал различные способы истязаний, частично почерпнутые из его круга чтения (например, из переведенной и на венгерский язык книги Октава Мирбо «Сад пыток»), частично же рожденные его собственной изобретательностью. Он часто рассказывал мне об аппарате, основную идею которого приписывал себе, исполнение же — блистательному техническому отделу УГБ. Этот аппарат, дополненный смирительной рубашкой, согласно описаниям полковника, выворачивал глаза из орбит, помещал электроды в глазные впадины, причиняя нечеловеческие муки и нарушения мозговой деятельности. Фаркаш угрожал самыми немыслимыми мучениями и не раз подчеркивал — как и его предшественники, особенно седовласый следователь, — что последствия моего упрямства скажутся

не только на мне, но и на моей семье. Мою мать они уже арестовали, трехлетний мой сын попадет в спецлагерь для малолетних; ни я, ни его мать, ни наши знакомые никогда больше его не увидят

— Неужто вы думаете, — то и дело вопрошал он, — будто мы должны перед кем-то отчитываться за вашу семью, ребенка, да хотя бы и за вашу жизнь? Никто и ничто не обязывает нас представить перед судом шпиона и полицейского агента. Если вы не признаетесь, если не будет у нас протокола, вы либо сдохнете здесь, в подвале через пару лет, либо однажды ночью мы вывезем вас в безлюдное место, я заставлю вас вырыть для себя могилу, а затем — выстрел в затылок. И будьте уверены, никто никогда искать вас не будет. Вы исчезнете.

После этого не раз среди ночи дверь моего карцера открывалась. Меня окружали пять-шесть угрюмых охранников, надевали наручники, сажали в машину и везли куда-то за город. В стремительно мчавшемся автомобиле, ослепленный очками с заклеенными стеклами, я сидел зажатый с обеих сторон двумя детективами, и машина лихо поворачивала с одной тихой улицы на другую, затем летела по серпантину горных дорог, и слышен был лишь гул мотора да скрип тормозов — но ни звука человеческой речи или шума другого какого-нибудь транспорта, и мне вспоминалась не только угроза Фаркаша, но и мое религиозное детство, когда я молил Господа послать мне легкую смерть. Выстрел в затылок именно таким мне и представлялся. Но, как правило, я оказывался в подвале какой-нибудь конспиративной виллы: УГБ располагало множеством таких резиденций, главным образом, на будайских горах; внешне они были похожи на обычные дачи, вроде той, с Т-образным столом, где я провел свои первые дни и куда позднее был доставлен на очную ставку с Райком. Постепенно я как-то освоился с безмолвными ночными путешествиями и, хотя поначалу спина покрывалась гусиной кожей, со временем меня уже почти не тревожила мысль, вернусь ли я из такой поездки.

Полковник вскоре догадался, что его угрозы и даже возможное их осуществление навряд ли кажутся мне чем-то более неприятным, нежели нынешнее мое положение. Однажды на рассвете он положил свой плоский пистолет на стол и продекламировал следующее:

— Мне понятно ваше душевное состояние. Все рухнуло, не так ли? Мы знаем, что вы шпион и полицейский агент, вы знаете, что полагается за это. Имеются у нас и доказательства. Кстати, я решил завтра показать вам тот документ о вашей вербовке. Впрочем, если вы мне поможете, если сделаете признание, я сжалюсь над вами. Я оставлю вас на пять минут наедине с этим пистолетом. Заряжу одним патроном, остальные, разумеется, выну.

Некоторое время он повозился с магазином пистолета, потом посмотрел на меня.

— В чем дело? Не верите? Мне не верите? — И громко расхохотался.

Эта сцена повторялась многократно, в различных вариантах. Затем, словно о выстреле в затылок, об оставленном из жалости ко мне пистолете никогда ничего не было сказано, полковник подошел в стоявшему возле кушетки радиоприемнику, включил его и удобно разлегся на кушетке. Было уже поздно, радиостанции передавали, по большей части, танцевальную музыку. Полковник подождал, пока заговорит диктор.

— Ну-с, господин ученый, это испанский? — спросил он.

— Итальянский, — ответил я.

Сощурясь, Фаркаш внимательно всмотрелся в шкалу, потом еще покрутил тумблер. Послышались звуки хоты, объявилось мадридское радио.

— А ведь недурно было бы, — засмеялся полковник, — сидеть сейчас там, в Мадриде, на террасе какого-нибудь кафе или растянуться на берегу моря. На солнце. И выкупаться. Только представьте себе, выкупаться, а? Ведь вы знаете, не так ли, что воняет от вас, как от хорька?

Вдруг он помрачнел, вскочил на ноги, принялся мерить кабинет шагами и вдруг сменил тон:

— Ну, так вот. Если дадите обвинительные показания на себя и других, мы осудим вас на несколько лет. В тюрьме вам будет неплохо. Об этом я позабочусь. Потому что мне понадобится человек, который будет ловко на меня работать, которого я могу послать в Испанию. Вы знаете испанский, вы для этого подходите. Через год-полтора я вас вытяну из тюрьмы, быть может, и гораздо раньше. Семья, конечно, останется дома, так что, если вы вздумаете схитрить, ваш сын…

Полковник вытянул руки перед собой и сделал такое движение, словно выкручивал тяжелую мокрую простыню. Затем взглянул на меня:

— Ну, хотите на меня работать? В Испании?

— Я к этому непригоден, — ответил я.

— Как же непригоден? Очень даже пригоден! Лучшего мне бы и не найти. Но вы мне не доверяете. Вы не хотите на меня работать. Ведь не доверяете, верно? Не верите, что я вас выпущу, так?

Я не ответил.

— Ну, что ж, — пожал плечами Фаркаш и вынул резиновую дубинку. — Вы мне не верите и не хотите на меня работать. Тогда вернемся к нашему старому доброму умнице воспитателю.

Прежде чем замахнуться дубинкой, полковник ласково погладил свой излюбленный инструмент, который окрестил «народным воспитателем» и не жалел для него самых лестных эпитетов. В ту пору коммунисты называли народными воспитателями агитаторов, которые на заводах, прямо на рабочих местах, а иногда — обходя дома, из квартиры в квартиру, стара-

лись убедить сомневающихся в правильности политики коммунистов, в том, что только идея социализма несет в себе светлое будущее.

Полковник явно предпочитал уговорам силовые приемы, полагая, что именно они непосредственно ведут к цели. Однако тот факт, что он откровенно пренебрежительно, цинично иронизирует над учрежденным партией институтом народных воспитателей, уже сам по себе свидетельствовал, казалось бы, что Фаркаш не верит ни в догмы коммунизма, ни в то, что социализм способен изменить мир, и просто служит системе лишь как наемник-кондотьер. Думаю, такой вывод не вполне отражал бы действительность.

Та восторженная и словно бы влюбленная почтительность, с какой он упоминал о минувших событиях и их участниках, силясь создать сколько-нибудь достоверный фон для моей предполагаемой агентурной деятельности, навели меня на мысль, что цинизм Фаркаша переплетается с некой фанатичной и восторженной слепой верой. Возникает вопрос, искусственно ли он поддерживал в душе огонек религиозного восторга или искренне верил, что верит. Мне казалось, что признаки последнего проявлялись не раз то в умиленности, то в бурном возмущении, изображать которые его не могли бы подвигнуть никакие полицейские резоны, а также в том напряженном, испытующем, даже тревожном ожидании, с каким он следил за моей реакцией, за произведенным на меня впечатлением, когда, на минуту отвлекшись от допроса, вдавался в какой-нибудь аспект теории социализма, дабы показать свою начитанность. Однако более непосредственно, чем душевное раздвоение Фаркаша, моей судьбы касалась другая двойственность.

Полковник все более настойчиво принуждал меня выдумать такую сказку, которая с очевидностью показывала бы, что я стукач и шпион. Он измышлял различные версии, повороты, потом их отбрасывал и внушал мне что-то другое. Эти варианты зачастую не только с психологической точки зрения, но и по времени и по месту взаимно исключали друг друга. Было совершенно ясно, что, наплевав на факты, Фаркаш намерен состряпать против меня ложные обвинения. И, тем не менее, он, казалось, нимало не сомневается в том, что я не только подозрительный и вредный, даже опасный для партии человек, а значит, меня следует устранить, но также и в том, что моя совесть, действительно, отягчена такими поступками, за которые политическая полиция вправе меня преследовать. Иногда Фаркаш напоминал ребенка, которому предложили головоломку; все более раздражаясь, он ищет к ней ключик, но, не найдя правильного ответа, предпочитает прибегнуть к обману, лишь бы не опозориться, не признаться в своей тупости.

Он жаждал достичь результата любой ценой, выискать хоть какой-нибудь компромат в моем прошлом, вызвать у меня угрызения совести хотя бы из-за ничтожнейшего пустяка, лишь бы я и сам согласился: да, недоверие ко мне обоснованно, сознавая свою вину, дабы смягчить последствия моего поступка, я должен в наказание взять на себя — вместо проступка, заслуживавшего, быть может, всего лишь укоризненного покачивания головой, — настоящее, весомое преступление.

Когда он расспрашивал об обстоятельствах моих заграничных поездок, я охотно отчитывался во всех деталях, не скрыл и того, что весной 1939 года, когда гражданам Венгрии уже не так-то просто давали визу за океан, военный атташе венгерского посольства в Париже, полковник Карачонь, который был однокашником моего родственника в офицерском училище, помог мне, именно благодаря этому родству, получить от аргентинцев разрешение на въезд. Фаркаш потребовал досконального отчета о нескольких моих беседах с полковником Карачонем. Хотя наши разговоры с венгерским атташе касались почти исключительно единственной нашей общей страсти — кино, Фаркаш каждый раз заставлял меня вновь и вновь повторять, что сказал Карачонь, что ответил я, затем — как я представил венгерского атташе президенту союза деятелей французского любительского кино; когда и каким образом мы с ним оказались на встрече киношников в узком кругу, в киноклубе, где показывали авангардистские любительские фильмы, удостоенные премии года. Так же подробно, много-много раз повторяя, рассказывал я о чисто формальном визите к аргентинскому военному атташе, с которым меня, разумеется, познакомил Карачонь, и многократно излагал письменно встречу — во время которой было произнесено лишь несколько слов — с аргентинским консулом, которому представил меня аргентинский атташе.

Уже самый факт моего личного общения с такого рода людьми, сделал вывод из моих показаний Фаркаш, представляет меня в весьма двусмысленном свете. Сам он, например, никогда не оказался бы в столь подозрительных и компрометирующих кругах. Не в мою пользу говорит и то — в чем я признался сам, — что с 1933 года ни в Венгрии, ни во Франции я не участвовал непосредственно в работе компартии; я лишь писал статьи в левые газеты да прочитал несколько лекций в клубах, где собиралась симпатизирующая коммунистам интеллигенция. Фаркаш добавил: характерно, что и тут я выбирал темы из области искусства, а не политики или социальной теории. Однако и эти мои лекции, по его сведениям, вызывали только столкновения и скандалы. Если бы я увидел, какие возмущенные показания давали против меня вернувшиеся на родину из Франции и Южной Америки коммунисты, каким подлым, паршивым троцкистом они меня считают, у меня волосы на голове встали бы дыбом.

Вы должны согласиться, продолжал Фаркаш, будучи в здравом уме, совершенно невозможно представить, чтобы какой-либо военный атташе оказал кому-то любезность из чисто приятельских побуждений. Военные атташе профессиональные шпионы, следовательно, полковник Карачонь, и это ясно как Божий день, лишь в том случае мог оказать мне помощь, если я стал его тайным сотрудником. С другой стороны, военный атташе бережет свою репутацию. Он никогда не обратится лично за информацией к совершенно незнакомому человеку, чтобы не стать жертвой какой-либо провокации. Следовательно, что вполне естественно, атташе знал о том, что я давнишний и опытный полицейский агент. Он просто получил меня от Петера Хайна[23], начальника сыскной службы венгерской политической полиции. Так как Петер Хайн завербовал меня еще в 1932 году, во время моего ареста, и я служил провокатором в хортистской полиции. После этого Карачонь, отчасти в виде вознаграждения за мои услуги, отчасти же затем, чтобы я шпионил для него и в Южной Америке, помог мне, но ни в коем случае не бескорыстно и не без задней мысли, получить аргентинскую визу.

Как я мог быть агентом Петера Хайна, спросил я, если — что неоднократно с осуждением упоминал Фаркаш — не поддерживал тесных связей с коммунистами? Какие агентурные сведения я мог сообщить ему? Какую информацию для полковника Карачоня мог собрать в аудиториях Сорбонны?

— Пока мы говорим не о том, — прервал меня полковник, — в чем заключалась ваша деятельность как информатора, а о том, каким образом вас завербовали.

Несколько дней подряд он формулировал, переиначивал, перерабатывал историю моей вербовки. К показаниям Сёни он больше не возвращался, не спрашивал ни о Вагнере, ни о Филде, ни о письме, якобы посланном через меня Сёни, ни об устном послании. Он ограничивался тем, что бесконечно доказывал, насколько сомнительно мое прошлое, насколько оправдано любое недоверие ко мне и насколько мне должно быть безразлично, в каких именно формулировках будет выражено в протоколе недоверие партии, ведь если останется хотя бы тень подозрения, мне больше не видать свободы. Я нахожусь во власти УГБ, оно вправе сделать со мной все, что пожелает, что сочтет полезным, я могу сгинуть в сыром подвале от голода и должен еще быть благодарен, если со мною покончат быстро.

Когда уже в седьмой раз я отстоял двадцать четыре часа на ногах, меня больше не водили, а скорее волокли или даже вносили на второй этаж к Фаркашу. Если после ритуальной «подковки» я был не в состоянии встать, полковник ногой подталкивал ко мне стул. Руками он ко мне не прикасался, чтобы еще и таким способом показать, как я ему

мерзок. Уцепившись за ножку стула, я подтягивался до сиденья, потом ухватывался за спинку и опять подтягивался, пока не удавалось боком взобраться на стул. Теперь уже я мог кое-как выпрямиться, полагаясь лишь на силу рук. Ведь искалеченные мышцы живота попросту отказывались мне служить, поскольку два нижних правых ребра ушли внутрь грудной клетки.

— Симулируете? Что это с вами? — спросил Фаркаш, изображая удивление.

— Наверное, перелом ребер, — ответил я.

— Будь это так, вы не могли бы встать, — высокомерно, со знанием дела объявил он.

Фаркаш ошибался. Пять лет спустя, после моего освобождения, рентгеновские снимки, помимо других повреждений, показали безобразно зарубцевавшиеся два перелома ребер на груди и три на спине. Однако вступать с ним в столь мелочный, сугубо земной спор во время допроса мне даже не пришло в голову. Какая разница, кто там прав, — ведь на восьмой и девятый дни Фаркаш уже посулил мне неземное блаженство: как только он закончит протокол, касающийся полковника Карачоня, тотчас прикажет принести мне кружку какао и ломоть сдобной булки.

Ночью девятого дня он и в самом деле вызвал секретаршу: послал за ней свою машину. Устрашающе некрасивая девица в очках села к столу Фаркаша. Она угрюмо уставилась на клавиши машинки, словно боялась разделить судьбу жены Лота, если ее взгляд случайно упадет на меня. Полковник же, напротив, весело посмеивался, отпускал детские шуточки, сосал кубики сахара — и диктовал протокол допроса, в котором — насколько помню — описывались мои семейные узы, университетские годы, университетское коммунистическое движение и, особенно, Ласло Райк и наши с ним разговоры.

Я лежал на полу в какой-то полудреме и пробуждался только когда Фаркаш орал на меня, выкрикивал мое имя или очередной раз напоминал о какао и булке. В такие моменты я, правда, взглядывал на него, хотя ни секунды не надеялся, что мне еще доведется когда-нибудь взять в руки кружку и сдобу. Не только потому, что не верил слову полковника, но и потому, что даже в полузабытьи считал совершенно немыслимым, что подобные радости существуют в реальной действительности, а не исключительно в моем воображении.

Я был уже не в состоянии следить за тем, что диктует Фаркаш, не мог сосредоточить свое внимание более чем на несколько секунд. В голове моей кружились только прежние мои соображения. Я вяло их подытоживал. За прошедшие три с лишним недели применявшиеся ко мне методы были нацелены на то, чтобы я, подозреваемый, душевно и физиче-

ски дошел до такого животного состояния, когда минутная слабость лишит меня всякого достоинства, сделает слепым; они рассчитывали на то, что я уже потерял представление об истинной шкале ценностей, способность отличать рациональное от иррационального и в моем затуманенном сознании один час сна представится сокровищем куда большим, чем самая жизнь; что за минуты покоя или за кружку какао, да еще в надежде избежать кошмара физической боли, я сознаюсь даже в преступлении, за которое полагается виселица. Но все это стало для меня уже совсем безразлично. Я охотно позабыл бы и про какао, лишь бы, лежа здесь, на полу, просто закрыть глаза. Меня разбудил Фаркаш. Он несколько раз подряд выкрикнул мою фамилию.

— Да вы даже и не слушаете, — сказал он, но не свирепо, а лишь презрительно сдвинув брови. — А ведь мы вот-вот закончим. Уже до Петера Хайна дошли. Ну, говорите, как он завербовал вас? Он дал вам конспиративное имя?

Я не ответил. Он продолжил диктовку, затем, словно кондуктор, громко объявляющий остановки, опять обратился ко мне:

— Как он выглядел, этот Карачонь? Опишите его еще раз. Да поднимитесь же!

Я подполз к стулу, уцепился за ножку и, тем же способом, как и все последние дни, умудрился взобраться на него.

— Какой красивый рассвет... впрочем, уже утро, — чуть ли не дружелюбно улыбнулся Фаркаш и потер покрасневшие от бессонной ночи глаза. — Взгляните сами!

Действительно, яркое солнце освещало балкон полковника, заглядывало и на пол кабинета. Фаркаш стал со мной рядом.

— Можете поглядеть с балкона, — как бы подбадривая, сказал он, — прыгнуть вниз вам сейчас все равно не удастся, — добавил он, но все же пошел за мной, когда я, едва передвигая ноги, поплелся к балкону.

Проспект Андраши сверкал под солнечными лучами, на подоконниках кабинета и на балконе пылали цветы герани.

— Еще часок, и вы получите какао и сдобу. Я человек слова, — сказал Фаркаш и опять сел за свой стол, чтобы продолжить диктовку угрюмой девице.

Не знаю, сколько еще страниц они исписали. Но, хотя обещанного какао я так и не увидел, не могу все же утверждать, что полковник не сдержал слова, обманул или просто заманивал меня. В конце концов, я ведь не заплатил за какао назначенную цену. Окончательный вариант сказки о Петере Хайне и полковнике Карачоне я так и не подписал. Впрочем, в это сверкающее утро сражение еще не закончилось; неожиданный телефонный звонок лишь на время прервал его.

Фаркаш поднял трубку, отвечал коротко, по-военному, вытянувшись почти что по стойке «смирно», затем торопливо сложил бумаги и запер в ящик стола. Он шепнул что-то секретарше на ухо, одернул мундир и махнул мне рукой:

— Пошли!

Когда я, ковыляя, спускался по лестнице, он приблизился ко мне, крепко прихватил руку и проговорил:

— Не вздумайте умничать перед генерал-лейтенантом! Не то крепко поплатитесь.

Когда мы свернули из коридора в украшенный зеркалами и витиеватой резьбою зал, из которого дверь вела в приемную Габора Петера, полковник на минуту остановился. Остановился и я. И тут, к моему удивлению, из высокого зеркала справа на меня уставился какой-то не знакомый мне человек, с запавшими глазами и бородатый. На нем нескладно висел мой серый костюм, а когда я коснулся пуговицы пиджака, он сделал то же самое. И все-таки я лишь с трудом убедил себя, что стою перед собственным отражением в зеркале.

За обитой дверью лицом к входу, сидел за столом Габор Петер, рядом с ним несколько руководящих чинов УГБ. Помню лица полковника Сюча, Владимира Фаркаша, доктора Балинта, но, возможно, там были и другие. Ласло Фаркаш занял место довольно далеко от меня, слева у окна, выходившего на проспект Андраши. Направо от меня стоял круглый стол. На нем штук двадцать — двадцать пять телефонных аппаратов, самой разной формы и величины; на мгновение показалось, что собравшиеся здесь суровые господа, собственно говоря, трудятся над организацией некой скромной технической выставки.

Но вот какие вопросы задавал мне Габор Петер, я почти не помню, потому что, как только он предложил мне сесть и я очутился на стуле, мне вдруг показалось, что перед моими глазами одна за другой опускаются тонкие как паутина занавески и с каждым мгновением все труднее сквозь них что-либо разглядеть. Я почувствовал, что вот-вот упаду, и вцепился в сиденье стула. Тем не менее, на вопросы я отвечал, до тех пор, пока Габор Петер не вскочил на ноги.

— Что за чушь! — сердито рявкнул он, когда я ответил на какой-то вопрос, потом, испытующе посмотрев на меня, добавил: — Что с вами?

Я молчал, но он продолжал допытываться, что случилось. Я сказал, что устал, обессилел, потому что девять суток, с единственным перерывом, простоял на ногах без еды и питья.

— По чьему приказу? — в один голос крикнули Эрнё Сюч и Габор Петер.

Все взгляды обратились на Ласло Фаркаша, затем генерал-лейтенант взглянул на меня и указал на дверь:

— Выйдите, — сказал он.

Я молча поплелся из кабинета и в приемной, даже не испросив разрешения, словно у себя дома, плюхнулся в то самое обитое темно-бордовым плюшем кресло а ля бержер, в котором в первый свой день ожидал возвращения следователя, звонившего по телефону из кабинета Габора Петера. Не прошло и секунды, как я погрузился в глубокий сон.

Разбудил меня маленький человечек. В ту пору он, как ординарец и лакей, усердствовал вокруг генерал-лейтенанта. Позднее, в награду за услуги, его назначили начальником пересыльной тюрьмы, где содержались политзаключенные. Тогда-то я и узнал, что фамилия его Банкути, и мой товарищ по камере, социал-демократ, литейщик из Диошдёра, рассказал мне, что в годы войны Банкути также служил на диошдёрском литейном заводе, был, кажется, учетчиком, и что тогда он столь же кичился тем, что не рабочий, а служащий, как позднее — своим пролетарским прошлым. Итак, этот Банкути отвел меня обратно, в кабинет своего начальника. Я сел. Доктор Балинт спросил:

— Какой наркотик принимаете?

Я не понял вопроса и, когда Балинт продолжал допытываться, принимаю ли я наркотики или какое-нибудь лекарство, содержащее наркотические вещества, решил, что все эти расспросы — лишь еще один эпизод игры в волки и овцы.

Однако Габора Петера эта интермедия, вероятно, не слишком занимала, потому что, как только доктор Балинт на секунду умолк, он прервал его и повернулся ко мне:

— Послушайте. Сейчас вы сможете поспать и получите еду.

— Я хотел бы побриться, — сказал я.

— Это исключено, но вас побреют.

— И выкупаться…

— И выкупаетесь, и белье получите.

Банкути опять подхватил меня под мышки. Он отвел меня вниз, в ванную, где я мог помыться под теплым душем, остричь ногти. Банкути принес чистое нижнее белье, затем меня побрили в маленькой комнатушке, потом уложили на железную кровать, на чистую простыню в каком-то конторском или инспекционном помещении и поставили около меня вооруженного охранника.

В определенные промежутки времени меня будили. Мне давали чай, сухую галету, жиденькое кофе с молоком, булочку, а позднее жидкую кашицу. Было ясно, что диета назначена врачом. Они хотели сохранить мне жизнь. Уж не вспомнил ли Габор Петер и во внезапном порыве даже всерьез принял столь часто повторяемые слова Матяша Ракоши, что «человек — основная ценность народной демократии»? Навряд ли. И даже если шеф полиции отчитал полковника Фаркаша, причиной тому,

надо полагать, было не использование им классических методов УГБ, а, скорее всего, то, что метод народного воспитания, примененный полковником, угрожал жизни человека, который представлял собой некую ценность для УГБ. Не в абстрактном смысле, как в лозунге Ракоши, а потому, что этот человек мог оказаться для чего-то пригодным в уже вырисовывавшихся планах.

В это ясное солнечное утро, когда Фаркаш отвел меня в кабинет генерал-лейтенанта, читатели газет уже могли почуять, что что-то готовится, ибо официальная газета коммунистической партии «Сабад неп» — под заголовком: «Постановление Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии Венгерской партии трудящихся» и подзаголовком: «Разоблачение троцкистской шпионской организации» — напечатала следующее краткое, но впечатляющее коммюнике:

Центральный Комитет исключил из рядов Венгерской партии трудящихся Ласло Райка и д-ра Тибора Сёни как шпионов враждебных империалистических государств и троцкистских агентов.

Разумеется, узники УГБ ничего не знали об этой сенсации, поскольку никогда не видели газет. И если бы, по случайности, я не спал в это время на кровати под белой простыней, а все еще стоял бы в подвале, я все равно не мог бы сделать в тот день ничего иного, кроме как нацарапать на моем настенном календаре дату: *16 июня*; а в моей статистике, в разделе «подковок», отметил бы тридцать шестую (по легкомыслию упустив добавить: каждая «подковка» — это в среднем 20—25 ударов резиновой дубинкой, хотя полковник ограничивался всего пятнадцатью — восемнадцатью), что же касается ударов по ладоням, по тыльной и внутренней сторонам, то пятью толстыми линиями я мог бы отметить для памяти, что мы уже счастливо перевали за полтысячи.

Я проспал более двух дней и двух ночей напролет, этот сон скорее похож был на забытье, сопровождаемое беспокойным метанием. Глаза я открывал лишь тогда, когда меня будили, принеся какую-нибудь еду. На третий день один охранник сказал мне несколько слов, я ответил ему и тут же — словно задачу важнее ведения календаря невозможно вообразить и восполнить упущенное было наиважнейшим делом, — поинтересовался, какое нынче число. Охранник выглядел покладистым и посвятил меня в тайну, поведав, что нынче 18 июня. К этому времени, вероятно, было уже готово второе коммюнике, которое 19-го на третьей странице «Сабад неп» могли прочитать как члены партии, так и беспартийные. Оно гласило:

Отдел печати министерства внутренних дел сообщает: за шпионаж в пользу иностранных держав Управлением государственной безопасности арестованы Ласло Райк, д-р Тибор Сёни, Пал Юстус и еще 17

его сообщников. Промышленных рабочих и представителей трудового крестьянства среди арестованных нет.

Правда, исходя из привычно консервативного понимания правил грамматики, по этому коммюнике можно было сделать вывод, что среди арестованных были сообщники одного только Пала Юстуса[24], но члены моей семьи и мои друзья приняли эту формулировку министерства внутренних дел за прогрессивную попытку обновить венгерский язык и потому занесли меня в скорбный список 17 сообщников Ласло Райка. Последняя же фраза — которая, кстати, не соответствовала действительности, а именно: «Промышленных рабочих и представителей трудового крестьянства среди арестованных нет» — сработала и повергла в явный либо тщательно скрываемый ужас тысячи и десятки тысяч людей независимо от того, довелось ли им когда-либо хотя бы приблизиться к любым учебным заведениям, выше начальной школы.

В последовавшие недели «Сабад неп» и все другие подпевавшие ей газеты сообщали о сотнях стихийных демонстраций и митингов, о горах писем и телеграмм, в которых отдельные граждане, различные предприятия, организации страны «с лютой ненавистью выступают против троцкистских предателей» и просят партию, власти «с беспощадной решительностью обрушиться на подлую банду шпионов, агентов империализма». Центральный орган партии открыл постоянный раздел, в котором печатались протесты, а самые, по-видимому, важные их них набирались плакатным шрифтом: «Нет пощады предателю Райку и его банде! Просим Политбюро и товарища Ракоши в зародыше истребить предательство внутри Партии!» (Сабад неп, 24 июня 1949 г.). Партактив Большого Будапешта «с ненавистью осудил предателей и выразил безграничное доверие, беззаветную преданность Центральному Комитету партии и товарищу Ракоши», а затем в своей резолюции приветствовал Ракоши, который «показал пример боевой коммунистической бдительности» (Сабад неп, 25 июня 1949 г.). Но в это же время: «Отребье страны, представители недобитой реакции всех мастей вдруг начали с сочувствием высказываться о Райке и его шпионской банде» (Сабад неп, 24 июня 1949 г.). Совсем по-другому откликнулся Союз венгерских женщин: «Трудящимся женщинам ненавистна разоблаченная шпионская банда, потому что она была врагом могучего социалистического Советского Союза и Партии, залога нашего мирного свободного будущего». Поэтому женщины настоятельно просят партию и правительство: «безжалостно ударить по агентам империализма» (Сабад неп, 26 июня 1949 г.).

В то время как в самом УГБ и на его тайных виллах продолжались допросы, а в подвале на Андраши, 60, куда меня опять препроводили утром 18 июня, истерзанные, измученные одиночеством и голодом заключенные, мужчины и женщины, сидели, устремив неподвижный

ключенные, мужчины и женщины, сидели, устремив неподвижный взгляд на лампочку или на сырые стены, понедельничный выпуск газеты констатировал: «Иуда Тито и палач Ранкович[25] установили в Югославии фашистский террористический режим» (Фюггетлен Мадярорсаг, 20 июня 1949 г.), а «Сабад неп» сообщала о неслыханном беззаконии под сенсационным заголовком: «Охота на ведьм в Америке — 11 коммунистов на скамье подсудимых» (Сабад неп, 26 июня 1949 г.). В то время как УГБ арестовало почти двести человек, венгерская партийная пресса печатала: «УДБ — титовское гестапо — словно дикий хищный зверь, собирает свои жертвы. В Черногории, в районе Андриевицы, за один день исчезло 60 человек». Далее следовал душераздирающий рассказ о югославских тюрьмах, куда близким лишь изредка разрешается «приносить заключенным провизию и чистое белье» (Сабад неп, 29 июля 1949 г.). Тем временем как с членами партии, так и с беспартийными проводились теоретические занятия. Вернувшийся из Москвы Михай Фаркаш, министр обороны, «на воодушевляющем празднестве, посвященном присвоению званий новым офицерам, выходцам из народа», в духе новаторских идеологических установок Йожефа Реваи[26], объяснял суть патриотизма рабоче-крестьянскому пополнению офицерского корпуса: «Лишь тот является добрым венгерским патриотом, кто всем сердцем любит великого защитника всех народов, непобедимый авангард прогресса и мира — Советский Союз. Лишь тот является добрым венгерским патриотом, кто уважает и любит нашего великого учителя, генералиссимуса Сталина, который успешно руководит борьбой народов за прочный мир, за торжество идеалов свободы» (Фюггетлен Мадярорсаг, 18 июля 1949 г.). Читатели могли также узнать, что, в отличие от борющегося за торжество свободы Советского Союза, увы, еще существуют полицейские государства. «Крупнейшим из них являются США, — писал партийный пропагандист и в подтверждение своих слов выдвигал аргументы: — ФБР толкает к самоубийству тысячи невинных людей, держит в страхе всю страну и поистине узаконивает все апробированные гангстерские методы, от угроз до анонимных доносов» (Сабад неп, 24 июля 1949 г.).

В то время как жители Будапешта и провинции имели возможность получать столь точные сведения о событиях за океаном, они и не подозревали, что происходило с их близкими, арестованными УГБ. Они не только не могли хотя бы изредка передать им еду и белье, как арестованным «титовского гестапо», но не знали даже, где — в Венгрии или в Советском Союзе — держат под арестом исчезнувших внезапно людей. Да что там, никто не мог знать наверное, жив ли еще их близкий. На Андраши, 60, отказывались давать какие бы то ни было разъяснения.

4

«АГЕНТ ИМПЕРИАЛИЗМА. РЕАЛИЗОВАТЬ!»

Коммунистический государственный строй — по-моему — представляет собой не статичную пирамиду, а, скорее, концентрические силовые поля. Такие магнитные поля, в которых одновременно действуют центробежные и центростремительные силы. Эта схема идеальна в том случае, если в центре находится единственная фигура — диктатор. Как только ядром этих концентрических силовых линий становится не единовластная личность, а узкий внутренний круг, состоящий из нескольких лиц, то каждая входящая в него единица — также являясь центром — в свою очередь создает вокруг себя магнитные концентрические поля, которые иногда, правда, совпадают с линиями силовых полей других центральных фигур, но зачастую и пересекают их. Такого рода слияниями и пересечениями можно проиллюстрировать фракционные объединения и фракционные битвы, которые во внешних силовых полях зачастую проявляются в форме вполне невинного состязания в профессионализме или компетентности.

В 1949 году эта схема — по крайней мере внешне — казалась идеальной, ибо в ее центре стоял Сталин, который, по уже цитированному выражению Михая Фаркаша, «успешно» вел вперед не только Советский Союз и государства-сателлиты, но и руководил «борьбой народов за прочный мир и торжество идеалов свободы». Иными словами, Сталин исходящими от него концентрическими магнитными полями стремился охватить весь мир. Ибо население Земли это и есть самый внешний круг. Признанным вождем сотен миллионов людей, составляющих самый внешний круг, согласно коммунистической теории, является рабочий класс, точнее, промышленный пролетариат. А передовой отряд рабочего класса, по ставшему литургическим выражению Ленина, — это коммунистическая партия.

В печатных брошюрах для многочисленных семинаров или в фанатичных выступлениях усердствующих ораторов к этому всегда добавлялось имя главы партии — Сталина; в Венгрии же к Сталину присоединяли и Ракоши. Однако нигде не упоминалось о том, что УГБ считает себя передовым отрядом коммунистической партии в той же мере, как компартия догматически почитает себя авангардом рабочего класса. Между тем уже в 1948 году в Венгрии стало ясно, что не миллионная, неоднородная по составу легальная коммунистическая пария является

наследницей прежнего нелегального авангарда — подлинным правопреемником тайной, конспиративной, слепо повинующейся партии является точно такая же тайная, конспиративная, так же слепо повинующаяся политическая полиция — ОГБ[27], позднее, соответственно, УГБ.

Начиная с 1945 и до 1948 года коммунистическая партия, следуя пресловутой «тактике салями»[28] Ракоши, все усилия направляла на то, чтобы раздробить и перемолоть представлявшие большинство населения партии и поставить своих людей на ключевые посты государственного механизма. После 1948 года, не столь шумно, но в сущности то же самое случилось с руководителями компартии, не прошедшими подготовку в Москве. Ибо к этому времени целый ряд важнейших ключевых постов в государственном аппарате, которые были вырваны коммунистами у буржуазных партий, постепенно захватила политическая полиция. Она делала это двумя способами. С одной стороны, в массовом порядке перебрасывала в органы государственной власти так или иначе связанных с УГБ людей, с другой стороны, призвала (или вынудила) перейти в УГБ служивших в различных министерствах коммунистов, еще охотнее — членов других, в 1948 году формально еще существовавших партий, равно как и беспартийных.

Захват власти политической полицией зачастую проводился более чем откровенно. Например, многих из нас, сотрудников министерства иностранных дел, убрали оттуда непосредственно после того, как Тамаш Матраи и его коллеги из политической полиции, волна за волной, заполонили различные отделы и посольства МИДа. Когда я попал в министерство сельского хозяйства, процесс перебазирования сюда сотрудников и агентов УГБ в основном был закончен. Заведующим отделом кадров стал бывший капитан УГБ, прежде приказчик, транспортным отделом руководил также бывший капитан УГБ, контрольным отделом — бывший старший лейтенант УГБ, производственным же отделом — бывший майор УГБ, который, по словам бывших сотрудников министерства, в свое время торговал на недоброй славы будапештском блошином рынке фотоаппаратами подозрительного происхождения. Все эти офицеры УГБ вместе с многочисленными своими соратниками, занявшими менее ответственные должности, появились в министерстве сельского хозяйства одновременно. Хотя ни один из них ничего не смыслил в аграрных проблемах, более того — все были городскими жителями, никогда не нюхавшими деревни, — они доказали свою полезность на высоких министерских постах тем, что приняли участие в подготовке фальсифицированного процесса против старых чиновников министерства.

Бывшие офицеры УГБ, разумеется, так и оставались невеждами в профессиональных вопросах, зато создали шпионскую сеть в различных

отделах министерства, сотрудничали с попавшими в министерство раньше и менее заметным образом агентами УГБ, вербовали новых агентов — например, одну из моих секретарш — и поддерживали, как и полковник Матраи в МИДе, прямую связь с центром УГБ. В сомнительных случаях они просили совета в УГБ и, получив указания, неизменно им следовали к глубокому огорчению профессионалов, коммунистов и некоммунистов министерства.

Такими или подобными методами УГБ захватывало сферы влияния и в других органах государственной власти и учреждениях. Разумеется, все это происходило не без ведома Москвы и вернувшихся из Москвы руководителей партии. Напротив — по прямой советской подсказке, согласно заранее обдуманным планам. Ведь венгерскую тайную полицию создали офицеры советской госбезопасности, прибывшие в 1944 году вместе с советскими войсками, и, конечно, руководство ею они оставили за собой. В то время как на двух фронтах продолжалась борьба против Гитлера, советские органы — именно вследствие тайного, конспиративного характера политической полиции — могли руководить ею относительно незаметно и даже расширять свое влияние несмотря на то, что в Венгрии еще существовали демократические политические партии. Таким образом, уже к 1949 году русское МГБ и вернувшиеся из Москвы на родину венгерские коммунисты, немалая часть которых была связана с МГБ даже организационно, из ядра УГБ создали поистине партию внутри компартии. И вовсе не насчитывавшая миллион членов Венгерская коммунистическая партия и не ее наследница Венгерская партия трудящихся утвердили захват русскими власти в Венгрии, а эта самая партия внутри партии: политическая полиция и ее доверенные лица. Ибо при захвате власти сперва русскими, а позднее руководством народно-демократического строя, для удержания этой власти политическая полиция была не просто дополнительным элементом, как при некоторых другого типа диктатурах, и даже, так или иначе, в самом Советском Союзе, а необходимым его условием, его sine qua non.

Самый важный и заключительный этап захвата власти УГБ осуществило в 1948—1949 годах, когда заняло ключевые позиции в государственном механизме, чтобы обеспечить непосредственную передачу, chain of command, указаний из Москвы от узкого круга до самого дальнего, теперь уже без ненужных формальностей. Надо отдать справедливость Ракоши: в Венгрии это время *действительно* стало «годом перелома».

Однако для бесперебойной работы приводных механизмов требовалось превентивно удалить тех, кого подозревали в оппозиционности или кто способен был стать в оппозицию. К 1949 году Ракоши удалось вытеснить из органов государственного управления представителей демократических партий. Те, кто остался, представляли уже не свои партии,

а только самих себя, и большая часть их капитулировала перед московскими руководителями. Таким образом, способной воспротивиться, благодаря занимаемому в государственной власти положению, представлялась, в первую очередь, старая гвардия венгерских коммунистов, как Райк и его товарищи, которые не были повязаны с МГБ. Они бывали на Западе, многие из них привыкли к демократическим правилам игры и полагали, что их официальные должности не только дают право, но и обязывают их мыслить самостоятельно, более того, проявлять инициативу, когда считают что-то справедливым, правильным.

В прямом противоречии с таким пониманием, начальники молодых угебистов прививали им покорность, слепую исполнительность, но, вместе с тем, и сознание своей призванности и профессиональной значительности. Эти в большинстве своем молодые по возрасту и по стажу в партии коммунисты, ставшие офицерами УГБ, уже в 1949-ом не только считали себя избранными, но своим чванством могли бы дать фору спесивости средневекового венгерского феодала. Их самоуважение и уверенность в себе лишь возрастали от того, что, благодаря самым различным начислениям, пособиям и льготам, их доходы во много раз превосходи жалованье венгерского служащего или квалифицированного рабочего. Полковник Дюла Дечи, принадлежавший к ближнему кругу Габора Петера, заявил крупному чиновнику министерства иностранных дел, что, если смотреть на вещи здраво, то в реальном сопоставлении звание молодого лейтенанта УГБ, по его мнению, соответствует рангу посольского секретаря, старшего лейтенанта — рангу советника, капитана — послу; а уж сравнить чин майора УГБ с какой-либо должностью в МИДе просто немыслимо.

Эта материально избалованная, убежденная в собственной призванности организация, естественно, считала своей привилегией руководство коммунистическим государством и была не только в теории передовым отрядом, как Венгерская партия трудящихся, но на деле являлась авангардом внутри авангарда, так как уже в 1949 году ее руки дотянулись до самых скрытых рычагов государственного механизма. Поэтому слово «Партия» для угебистов было не только отвлеченной идеей, теоретическим и практическим обрамлением определенных принципов, как для истинно веровавших членов партии, но было также собирательным понятием их конкретных представлений — «наша власть», «наше благосостояние», «наша карьера», — которые кое-кто из них возводил на уровень некой мистической религиозной идеи.

После моего освобождения, летом 1956 года, когда Сталина уже более трех лет не было в живых, а Габор Петер, Каройи, Дечи сидели в тюрьме, когда Берию казнили, а Ракоши отправили в отставку, и уже казалось, что незыблемое, неизменное все-таки может измениться, — не

один угебист, оправдываясь, делал непрошено разоблачительные признания. Так, помимо прочего, я напал на след того, что же предшествовало аресту Ласло Райка и его «сообщников».

С точки зрения УГБ дело Райка отличалось от предшествовавших ему венгерских процессов прежде всего тем, что коснулось хотя и не самого близкого круга — «москвичей» и авангарда самого передового отряда, то есть УГБ, — но непосредственно за ними следующего концентрического силового поля, членов Венгерской партии трудящихся, к тому же старых коммунистов-подпольщиков.

До сих пор политическая полиция арестовывала и предавала суду исключительно лиц, относившихся к внешним кругам, тех, кто — как, например, кардинал Миндсенти[29] — зачастую открыто выступал против установленного режима. Но по делу Райка подверглись аресту почти исключительно коммунисты, больше того, ведущие коммунисты, кого, будучи в здравом уме, трудно было счесть врагами новой власти. В их досье, кроме высосанных из пальца доносов сыщиков и весьма прозрачных или явно подозрительного происхождения намеков и предположений, глава УГБ не мог обнаружить ничего иного.

Поэтому вечером накануне арестов (как рассказывал в 1956 году один из присутствовавших на том заседании) Габор Петер собрал свой конспиративный круг, дополненный самыми надежными сотрудниками. Он воззвал к их преданности партии, безграничному доверию к вождям партии — Сталину и его венгерским ученикам. Подчеркнул, какая выпала честь этому созванному для разговора самому узкому кругу — передовому отряду передового отряда УГБ: ведь партия избрала их для решения исключительно важной задачи. Советские и венгерские партийные руководители, рассказывал Габор Петер, напали на след антипартийной группировки внутри Венгерской партии трудящихся, чудовищного заговора, который, в случае успеха угрожал бы самому существованию партии. Но, слава бдительности наших вождей, еще не поздно упредить предателей — нанести удар по ним самим, и коммунисты сделают это, нанесут сокрушительный удар по империалистам и их наймиту Тито. У русских и венгерских товарищей имеется конфиденциальная информация, им известно, кто входит в эту антипартийную группировку, кто является агентом иностранных государств. Но раскрытие деталей заговора — задача, доверенная им, избранным сотрудникам УГБ. Будем надеяться, что результаты их работы оправдают оказанное им доверие.

Помимо убеждения, что партия никогда не ошибается, Габору Петеру нечего было предложить своим подчиненным. Впрочем, трудно представить, чтобы угебист на вопрос «Ты что же, не веришь партии?» отве-

тил «Не верю». Ведь, с одной стороны, на вере в партию было построено само существование УГБ, она оправдывала все ранее совершенные угебистами действия; с другой стороны, каждый из них знал, что рискует жизнью, ответив «Не верю» или хотя бы только выразив сомнение в достаточно полной осведомленности партии. Его могли заподозрить в том, что он защищает группировку, объявленную антипартийной, а то и сам является ее членом.

Петер особо подчеркнул, что разоблачение заговорщиков для партии — вопрос жизни и смерти. Членам передового отряда такая постановка вопроса была ясна. Она давала понять: если они откажутся от почетного поручения или под каким-нибудь благовидным предлогом попытаются увильнуть от задания, необходимого в данный момент с точки зрения интересов партии, они тем самым отказываются от власти и материального благополучия, а значит, в глазах остальных будут дезертирами и с ними поступят так, как с солдатом, который на передовой линии фронта попытался бы перейти на сторону врага.

И все же случалось — хотя мне известны всего один-два отдельных случая, — когда некоторые офицеры УГБ старались уйти от выполнения возложенной на них задачи, больше того, один офицер даже покончил с собой. Однако я упоминаю об этом лишь ради полноты картины и объективности, потому что рассматривать подобные случаи даже как спорадические было бы преувеличением. Между тем угебисты были поражены, когда открыли досье вверенных их заботам подозреваемых. Потому что в досье арестованного, помимо нескольких доносов, касающихся личной жизни подозреваемого, была лишь маленькая бумажка. На ней рукою Михая Фаркаша, вернувшегося из Москвы министра обороны, был начертан короткий приказ: «Имярек — агент империализма. Реализовать! Фаркаш».

Эта бумажонка означала, что стоявший над всеми самый узкий круг, вершивший суд, уже вынес свой вердикт... От УГБ требовалось только задним числом, приукрасив обычными аксессуарами, предназначавшимися исключительно для внешних кругов, сформулировать приговор, вернее такое обвинение, которое в себе самом несет приговор. *Реализовать* содержавшееся на бумажке утверждение требовалось в точности так, как столетия тому назад, когда королевский герольд, развернув перед неграмотными крестьянами свиток с печатями, зачитывал более или менее связный текст. *Реализовать,* то есть привести приговор в исполнение, как мастер-каменщик исполняет проект архитектора, в котором ни автор проекта, ни инженер, разумеется, не оговаривают, как именно мастер должен класть кирпич на кирпич, камень на камень.

Конечно, не каждому офицеру-угебисту доверялось своими глазами увидеть собственноручный приказ Михая Фаркаша. После собрания и

общих слов вдохновляющей речи, когда дело дошло до распределения заданий, Габор Петер или Эрнё Сюч вызывали к себе по одному руководителей групп и, обычно лишь в устной форме, доводили до них «конфиденциальную информацию, имеющуюся у советских и венгерских товарищей» о том, что доверенный их заботам подозреваемый уже при Хорти был полицейским агентом, а позднее агентом той или иной иностранной разведки. Петер и Сюч сообщали, иногда лишь намеком, с кем еще можно связать подозреваемого, в каком отношении — или отношениях — он может быть скомпрометирован и, соответственно, скомпрометировать других. Иногда руководители тайной полиции к этому добавляли, что в московских архивах имеется письменное свидетельство о завербованности подозреваемого, которое в должное время будет передано в распоряжение УГБ.

Самый внутренний круг УГБ — Габор Петер, Сюч, Каройи, Дечи и другие — придавал особое значение тому, чтобы более отдаленные круги УГБ — как, например, те следователи, которые терзали меня сначала на вилле с Т-образным столом, а потом мучили на проспекте Андраши, 60, — в самом деле верили, что перед ними настоящие шпионы. Верили, по крайней мере, на первом этапе *реализации*. Этой цели служили многочисленные интермедии, явно излишние и нацеленные исключительно на постановочный эффект мероприятия, конспиративные предписания, всяческие запреты ради поддержания дисциплины. Этому же служили организованные post festa* маневры перед моим домом на улице Юллеи.

По-видимому, этому внутреннему ядру УГБ удалось возбудить в принадлежавших к более отдаленным кругам следователях ощущение реальной опасности, угрозы, внушить им уверенность, что они расследуют действительно крупное шпионское дело. Этим объясняется и то, что на вышеупомянутой вилле после театрализованной очной ставки — отчасти имевшей целью убедить самих угебистов — мои следователи набросились на меня уже не с притворной, но вполне искренней яростью, как на заклятого врага «нашей партии», то есть «нашей власти», «нашего благополучия», «нашей карьеры», осатанело требуя от меня показаний о Вагнере, о его мнимом послании Сёни.

Однако ядро венгерского УГБ, поставившее этот спектакль, хотя и находилось на расстоянии световых лет от внутренних силовых полей советского МГБ, а тем более от действительного центра — от Сталина, ни на секунду не допускало мысли, что приговор, заранее вынесенный посвященными, и подтверждающие приговор — для непосвященных — обвинения в шпионаже и заговоре связаны между собой хотя бы самыми тончайшими нитями. Они изначально знали, что между обвинения-

---

* Здесь: задним числом *(лат.)*.

ми и приговором, по сравнению с буржуазными представлениями, причинная связь перевернута с ног на голову: обвинение есть следствие приговора, а не приговор — следствие доказанных обвинений.

Концентрические угебистские круги, расположенные вокруг ядра, об этом догадывались, а, может, и не догадывались — отнюдь не всегда в зависимости от их посвященности. Но, по-видимому, совершенно не осведомлен был, по крайней мере, вначале, самый внешний круг, состоявший из одетых в форму и вооруженных охранников. Их часто набирали прямо из армии, направляя сперва в пограничные войска УГБ, а затем и в центр. Здесь их испытывали, обучали, и наиболее способных выдвигали в следователи, открывая перед ними самые широкие возможности для карьеры. Это центростремительное движение, в связи с непрерывным разрастанием контингента УГБ, стало постоянным.

Полковник Фаркаш, разумеется, относился не к самым дальним кругам, но и в самый узкий круг не входил. Он вращался на периферии ядра венгерского УГБ и надеялся, благодаря своим заслугам, непреклонности, заслужить местечко в святая святых, рядом с Сючем, Каройи, Дечи, Владимиром Фаркашем. Взяв непосредственно на себя ведение моих допросов, Фаркаш — если я не заблуждаюсь — выполнял эту задачу не с презрительно-циничным высокомерием внутреннего круга, а был поначалу и в этом отношении периферической фигурой, но за те месяцы, когда я видел его часто, он из полуверующего все определеннее превращался в абсолютного циника.

Такой же путь проходили и угебисты из внешних кругов. Об этом свидетельствует не только мой личный опыт, но и рассказы многих моих товарищей по заключению, которые за свое долгое пребывание в следственной тюрьме становились свидетелями перерождения казавшихся пылко веровавшими в свое дело молодых людей, свидетелями того, как эти романтические новички превращались в разочарованных современных гаруспиков*, равнодушных мастеров фабрикации ложных обвинений. Разумеется, это было неизбежно, ведь чем больше подозреваемых брали под арест, чем больше угебистов занималось их делами, тем яснее становилась для все более широких кругов подтасовка самой сути этих дел за кулисами, так что даже для совсем уж духовно ограниченных рабочих сцены это больше не могло оставаться тайной. Но к тому времени, как восторженно веровавшему в партию угебисту открывалась реальность во всей ее полноте, он и сам уже до такой степени становился соучастником — а значит, и пленником — внутреннего кру-

* Гаруспики — древнеримские жрецы-прорицатели, гадавшие по внутренностям животных.

га, что односторонний разрыв с ним оказывался более чем рискованным. Поэтому ядро УГБ и не возражало против постепенного прозрения внешних кругов, против, я бы сказал, полицейского взросления. Вполне возможно, что ядро заранее имело в виду этот процесс, так как понимало, что сообщничество приковывает прочнее всякой веры.

Эти постепенно свершавшиеся перемены после первого месяца заключения могли почувствовать на себе и арестованные. Уже появилось коммюнике об аресте Райка и его «сообщниках», население страны с внушающей ужас спонтанностью требовало уничтожить агентов империализма, уже существовали признательные протоколы, компрометирующие показания свидетелей. Руководителей УГБ все это успокоило, они перевели дух и были довольны собой, первоначальной полицейской истерии пришел конец.

Правда, протоколы допросов, показания отдельных подозреваемых выглядели путано, противоречили друг другу — так выглядят в глазах профана готовые элементы еще не построенного здания. Но, как только эти элементы оказались в распоряжении УГБ, оно могло считать законченным *первый этап реализации,* ведь цель этого этапа в том и была, чтобы сломить подозреваемых, добыть обличающие их самих и их товарищей показания. Задача *второго этапа реализации* состояла в подгонке заготовленных элементов, их шлифовке, дополнении, заделке швов; на *третий этап* возлагалась окончательная отделка: оштукатурить, покрасить, обставить здание и торжественно презентовать его широкой общественности — то есть подготовить судебное заседание показательного процесса.

Разумеется, не все арестованные одновременно оказывались на одном и том же этапе *реализации.* Этапы эти могли накладываться один на другой. Бывало, что уже на первом этапе, когда целью было сломить подозреваемого, открывалась возможность и для подгонки деталей, то есть для выполнения задач второго этапа, более того, за отдельными элементами иногда просматривались уже некоторые контуры всего здания сфабрикованного процесса.

На первом этапе не к каждому подозреваемому применялись одни и те же физические и психические методы воздействия. Их интенсивность зависела не только от степени сопротивления арестованного, но и от того, насколько пригодным сырьем считало УГБ прошлое и саму личность подозреваемого. Граница физических издевательств в таких случаях определялась тем, что материал, признанный ценным, требовалось — по крайней мере, некоторое время — сохранять в состоянии, годном к использованию, то есть чтобы будущий обвиняемый или вероятный свидетель обвинения ко времени процесса был еще жив.

Когда, проспав более сорока восьми часов, побритый и вымывшийся, я снова оказался в подвале, мне даже не приходило в голову, что Габор Петер, с заботливостью запасливого ремесленника, попросту сберег меня для неопределенного будущего, хотя едва ли имел четкое представление о том, для чего именно может пригодиться это сырье. Знать этого он не мог, с одной стороны, потому, что вовсе не УГБ, а — как очень скоро и выяснилось — соответствующие руководители советского МГБ решали, каким образом следует обработать данное сырье, как приладить друг к другу отдельные детали; с другой стороны, Габор Петер не мог строить относительно меня планы еще и потому, что первый этап *реализации,* долженствующий сломить узника, в моем случае не мог считать завершенным. Я ни против кого не дал обвинительных показаний, не признал себя шпионом, больше того, остался незаконченным и протокол Ласло Фаркаша, которой он диктовал в моем физическом присутствии, но в духовном отсутствии, поскольку в то раннее солнечное июньское утро я попросту уснул на полу его кабинета.

Эти недоделки амбициозный полковник старался восполнить. Едва я оказался в подвале, как он снова приказал препроводить меня к себе. На этот раз почти все его вопросы касались только Ласло Райка.

Много ночей подряд я просидел за обшарпанным столом приемной Фаркаша и под присмотром опиравшегося на свой карабин охранника, снова и снова описывал наши университетские годы, но, главным образом, более поздние встречи с Райком, несколько частных наших бесед после моего возвращения на родину, мои официальные доклады в МИДе. Каждый раз, прочитав мои записи, Фаркаш недовольно, угрожающе хмурился, всем своим видом показывая, что не сомневается: хотя я и сообщаю некоторые мелкие, незначительные сведения, но самую суть скрываю. Поэтому он требовал вновь и вновь дополнять мои показания и сам подсказывал формулировки, ставящие Ласло Райка под подозрение. Не обнаружив ничего подобного в очередном моем свидетельствовании, он заставлял опять переписывать его полностью.

Я ничего не добавлял к тому, что действительно было, но ни о чем и не умалчивал, даже о мелочах. Отнюдь не надеясь, правда, обелить себя — тогда и я уже считал ребячеством свои прежние представления, что если буду твердо держаться истины, то каким-то образом, может быть, смогу воспрепятствовать смешению фактов и голых наветов, — я не скрывал ничего из чисто практических соображений, чтобы не попасть вместе с Райком в трудное положение, если в наших показаниях обнаружатся противоречия. Я полагал, что этим дал бы в руки Фаркаша оружие: ведь если мы умалчиваем даже о мелочах, значит, тем больше оснований подозревать, что скрываем нечто действительно важное.

Поэтому я написал о том, что в 1947 году, когда я был редактором одного еженедельника, а Райк министром внутренних дел, однажды при встрече он попытался уговорить меня оставить свою работу и перейти в политическую полицию. Но так как у меня не было ни малейшей склонности к этому, Райк тут же отказался от своего предложения, и к этому разговору мы больше не возвращались. Позднее в оргкомиссии коммунистической партии он все же предложил перевести меня в министерство иностранных дел. Не только потому, что редакторской работе придавал меньше значения, не только потому, что когда-то я учился в дипломатической школе, но потому, что считал — и подробно изложил свою позицию, — что среди сотрудников министерства мало коммунистов, которые бы владели иностранными языками, имели представление о западном образе жизни, умели войти в контакт с западными людьми.

— Ну конечно, — заметил полковник, — все вы искали контактов с Западом, это для вас характерно.

И он начал дотошно выспрашивать, какие особые задания я получал от Райка, когда выезжал заграницу. Мне пришлось отчитываться буквально о каждой минуте, подробно излагать, о чем именно я беседовал — или, по выражению полковника, «конспирировал» — на приемах, обедах со служащими посольств, послами, зарубежными дипломатами. При этом Фаркаш всячески уговаривал меня признаться, что в 1948 году, когда мне дважды пришлось ездить в Италию — в первый раз через Вену на поезде, во второй раз самолетом через Прагу, — я нарушил запланированный маршрут и по дороге завернул в Югославию.

Разумеется, таким образом подготовленный протокол о поездке в Югославию мог бы вполне подойти к другим, столь же далеким от истины, заготовкам. А на втором и третьем этапах *реализации*, расширенный и расцвеченный, протокол этот мог бы послужить доказательством, что Райк, действительно, вступил в заговор с Тито и даже использовал для этого дипломатические каналы. Однако об этой дальней цели процесса я еще не догадывался, но меня поразило и вызвало подозрения то, какое значение придавал полковник им же выдуманному посещению Югославии и сулил мне всяческие послабления, привилегии, питание, если я признаюсь.

Впрочем, через день-другой мне стал ясен замысел Фаркаша. В своих скрупулезных записях я упомянул тогда о единственном моем расхождении с Ласло Райком. Это случилось в министерстве иностранных дел, когда Коминформ уже исключил из своих рядов Югославию и в венгерской прессе начался крестовый поход против Тито. Амуницию для нападок поставляло Венгерское телеграфное агентство, частично из собственных источников, частично же на основе сообщений, полученных

от ЦК, а также из МИДа. Последние составлялись референтами отдела печати МИДа по донесениям венгерского посольства в Белграде, и я решал, передавать ли их и в какой форме Телеграфному агентству. Однако, поскольку конфиденциальные сообщения из посольства не поддавались проверке и часто представлялись мне ненадежными, а иногда и просто выдуманными, я — отнюдь не желая противостоять линии партии, а просто из журналистской порядочности — задерживал явно вымышленную информацию. Министр дважды упрекнул меня за это, когда же я стал с ним спорить, заявил, что моя позиция и сопротивление подействовали на него как холодный душ.

Прочитав эту часть моих показаний, Фаркаш громко расхохотался. Все было как раз наоборот, сказал он, иначе и быть не может, ведь Райк уже признался, что был агентом Тито. Одним словом, перепишите показания так, будто именно Райк запретил публиковать сообщения против Тито. Когда и на следующий день я не проявил понимания, полковник с торжествующим видом вынул из ящика стола отпечатанный на машинке протокол. Он показал мне подпись Райка под каждой страницей. Затем прочитал вслух отрывок. В нем Райк признавался, что состоял на службе югославской разведки и поставлял конфиденциальные сведения полковнику Цицмилу, главе югославской военной миссии, и югославскому посланнику Мразовичу. Пролистав еще несколько страниц, Фаркаш зачитал другой фрагмент, где Райк признавался, что, в учась университете и будучи полицейским провокатором, пробрался в коммунистическое движение. Я отвел глаза, не веря ни единому слову, тогда Фаркаш, прикрывая часть текста, подержал перед моими глазами прочитанные отрывки. Затем сказал:

— Как видите, вам нет смысла защищать своего приятеля. Что бы вы о нем ни сказали, ему это повредить уже не может. А вот себе навредить вы можете, если будете продолжать упираться. Должен вас успокоить, господин министр своих друзей не щадит. — Фаркаш опять полистал протокол, потом, словно нашел то, что искал, произнес мою фамилию и пробормотал что-то еще. — Н-да, — взглянул он на меня немного погодя. — Весьма любопытные вещи рассказывает он здесь и о вас. Этого, конечно, я вам не покажу. Мы ждем от вас вашего собственного признания. И по этому будем судить, как вы относитесь к партии, к народной демократии, готовы ли нам содействовать. Исходя из этого и будем с вами обращаться.

Это был уже достаточно откровенный разговор. Фаркаш не требовал, чтобы я признал те обвинения, которыми меня терзали неделя за неделей. Он давно уже не упоминал ни Сёни, ни Вагнера, ни Филда, более того, в последние дни словно забыл и о полковнике Карачоне, не говорил и о том, что считает меня стукачом хортистской полиции. В эту ми-

нуту Фаркаш не требовал от меня не только подлинных, но и заведомо ложных фактов, ему нужна была лишь *готовность к сотрудничеству,* иначе говоря, готовность предоставить себя в распоряжение УГБ; то есть давать показания против себя и других. Он много раз подчеркивал, что для Райка уже все безразлично, что бы я против него ни показал. Если уж бывший министр признался, что был полицейским агентом и шпионом, признается и в том, в чем обвиню его я. Одним словом, я ничем не рискую, — понял я из слов Фаркаша, — какие бы сказки ни сочинил.

В то время как я писал свои ночные показания, полковник — возможно, по распоряжению Габора Петера, или врача, или просто затем, чтобы можно было меня шантажировать, угрожая лишить еды, — приказывал приносить мне фасоль, а иногда даже мясо. Правда, во время допросов он выкладывал на стол свою резиновую дубинку и, бывало, даже замахивался, но обычно довольствовался тем, что заставлял делать приседания. Фаркашу было явно нелегко сдерживать себя. Хотя в глазах его время от времени сверкал тот самый застывший стеклянный блеск, а губы растягивались в одеревеневшей ухмылке, которая в минуты особенно жестоких истязаний так жутко искажала лицо провинциального гарнизонного офицера, и хотя рука полковника часто, почти инстинктивно, хваталась за «народного воспитателя», приступы пошлых сексуальных мечтаний все-таки больше не повторялись. Теперь Фаркаш скорее пытался заключить со мной соглашение. Но пока еще не совсем открыто. Он еще не признал, что не может выставить против меня никаких изобличительных данных и хочет просто-напросто добиться сотрудничества между нами на почве фантазии.

— Послушайте, — говорил он, — нам ведь точно известно, что вы за птица. Мы знаем, кто ваши доверители, какой агентурной деятельностью вы занимались. Полицейский доносчик Райк хотел внедрить вас в органы госбезопасности народной демократии, шпион Райк выдвинул вас в министерство иностранных дел. Тут и слепому стало бы ясно, что вы человек Райка, что вы с ним одного поля ягода и, как он, хортистская полицейская ищейка и шпион.

Здесь Фаркаш сделал паузу, потом добавил с издевкой:

— Но даже если бы мы всего этого не знали, все равно, опираясь на одни только признательные показания Сёни, можем вздернуть вас когда угодно. А можем сделать так, что вы просто исчезнете. Я уже говорил: вы сами выроете себе могилу, а там — один револьверный выстрел, и концы в воду. Но мы не станем разбазаривать народное добро. Зачем тратить пули? Два года в здешнем подвале, и вы покойник. Показать вам одного типа, который гниет здесь уже полтора года?

Не дожидаясь ответа, Фаркаш продолжал:

— Ну, хорошо, потом покажу. Но мы ведь не мстительны, мы руководствуемся здравым смыслом, поэтому предоставляем вам еще одну возможность. Вы же знаете, какую?

— Не знаю.

— Знаете, как это не знаете! Я вам уже говорил. Если сделаете признание, мы осудим вас на короткий срок, потом я пошлю вас в Испанию, будете там работать на меня. Но для этого у меня должен быть весомый материал. Такой материал, который компрометирует вас, с помощью которого я могу и в дальнейшем держать вас на крючке. Того, что ваша семья останется здесь, недостаточно. Сами понимаете. — Он немного подумал, затем, словно внезапно приняв решение, сказал: — Сейчас вы составите список всех своих иностранных и венгерских друзей и знакомых, у которых могли быть связи с англичанами, американцами или югославами, напишете также, кто из них, по вашему мнению, может быть шпионом. К Райку мы вернемся позднее.

— У многих моих знакомых были связи с англичанами, американцами и югославами, но мне не известно, чтобы кто-то из них был шпионом.

— Ну, вот что, — с необычной уступчивостью возразил Фаркаш, — пока вы напишите только о том, кто из них, *по вашему мнению*, мог быть шпионом. Ну, а потом… словом, там будет видно.

Сначала я переписал всех моих венгерских знакомых. На это ушло несколько ночей, но Фаркаш лишь презрительно полистал мой список.

— И среди всех них нет ни одного шпиона? — мрачно проворчал он.

— Если и есть, мне о том не известно, — осторожно ответил я.

— Ну, конечно, по-вашему, все это порядочные люди.

Я промолчал, тогда полковник прочитал вслух несколько фамилий.

— Все они, — сказал он, — уже признались в том, что занимались шпионажем. Вы не можете этого не знать. И знали. Только скрываете от нас. Не хотите помочь нам. Предупреждаю: вы играете с огнем.

Затем он велел переписать всех моих зарубежных знакомых. Получался нескончаемо длинный список, ведь я покинул Венгрию еще в 1937 году, два года провел в Париже, посещал Сорбонну, писал статьи, исследования, небольшие рассказы, был ассистентом режиссера на киностудии. За это время у меня появилось множество знакомых и даже друзей. А еще больше — в Южной Америке. Потому что в 1939 году, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, я заключил договор с одной французской киностудией и, с этим выгодным для меня контрактом в кармане, отправился из Парижа в Аргентину. Однако война помешала осуществлению французских планов, поэтому я написал сценарий для аргентинской кинофирмы, потом делал фотографии для рекламы, каталоги. Политикой активно занялся лишь после того, как граф Михай Каройи, с которым я был знаком в Париже, организовал движение венгров, жив-

ших за рубежами своей страны, в поддержку военных усилий антигитлеровской коалиции и в интересах созидания после войны новой, демократической Венгрии. Я присоединился к Михаю Каройи и вскоре стал ответственным секретарем этого движения в Южной Америке.

После падения габсбургской монархии Михай Каройи стал президентом провозглашенной в октябре 1918 года венгерской демократической республики, но в марте 1919 года, когда власть перешла к коммунистам, покинул Венгрию. Он жил в Вене, в Париже, а после того, как разразилась Вторая мировая война, в Лондоне. Для радикально настроенных венгерских эмигрантов личность бывшего президента, глубоко порядочного человека, его политическая несгибаемость были символом демократических традиций, и снискали ему уважение и авторитет в западных кругах. Поэтому вполне естественно, что союзники благожелательно отнеслись и в нашему движению в Южной Америке. Мы были членами Межсоюзнической комиссии, различных координационных органов, которые признали своим высшим форумом Совет послов союзных государств. За годы войны по роду своей деятельности я, как ответственный секретарь венгерского движения и редактор его газеты, вступал в контакты, как официально, так и частным образом, с англичанами, американцами, равно как и с голландцами, с французами, приверженцами де Голля, проживавшими в Южной Америке, югославами, антигитлеровски настроенными австрийцами.

— И вы посмели бы утверждать, — спросил Фаркаш, — что во всех этих комиссиях не было ни одного человека из Интеллидженс сервис?

— Этого я не стал бы утверждать, — ответил я. — Возможно, такие были, но со мной в этой роли никто не общался.

— Конечно, вы так говорите, но, надеюсь, не думаете, что я вам верю? — Потом, презрительно усмехнувшись, глубоко вздохнул и, с видом человека, который, собственно говоря, уже закончил самую хлопотную часть работы и лишь хочет еще уточнить кое-какие мелочи, спросил: — И вы никогда ни с кем из этих союзничков не беседовали о делах венгерского движения?

— Разумеется, беседовал. Мы обсуждали и согласовывали нашу деятельность.

— Следовательно, вы их информировали?

— Да, обо всем, что в упомянутом аспекте их касалось. По поручению руководства венгерского движения…

— Одним словом, вы их информировали. Сознательно информировали шпионов, следовательно, по существу, и сами были шпионом.

Те же слова употреблял и молодой угебист, который целую ночь напролет вещал мне о том, что «коммунисты западной ориентации» все дивер-

санты и шпионы, пусть не в военном понимании слова, но все равно это так, потому что своим западным образом мыслей, они волей-неволей льют воду на мельницу врага, капиталистических держав и, таким образом, *по существу*, все-таки саботажники, диверсанты, шпионы. Это *по существу* стало одним из ключевых выражений УГБ, оно перебрасывало мост через пропасть между беспочвенным подозрением и уголовным преступлением. Бесчисленное количество раз, во время бесчисленных допросов моих товарищей по заключению оно помогало угебешникам безобидные и незначительные поступки квалифицировать как преступления.

Этот оборот полицейской лексики получил гражданство и в судопроизводстве венгерской народной демократии, так что народный суд, лишь на основании так называемого *предположения*, мог осудить обвиняемого. Я не раз встречался в различных тюрьмах с людьми, попавшими в лапы полиции и осужденными на пожизненное заключение, например, не за то, что, желая покинуть страну, они решились тайно перейти границу, а за шпионаж, ибо допускалось *предположение* — такова была формулировка, — что, если бы обвиняемому удалось попасть за рубеж, он передал бы сведения о внутреннем положении Венгрии, то есть *по существу* был бы шпионом.

Находясь на четвертом этаже по Андраши, 60, я еще не подозревал о таком ходе мыслей социалистического законотворчества, и потому вступил в спор с Фаркашем.

— Если человек что-то обсуждает со своими союзниками, это никак нельзя называть шпионажем, — сказал я. — К тому же, я не обмолвился бы ни словом, просто постеснялся бы рассказывать моим иностранным друзьям о расхождении взглядов в венгерском движении и о нередких, увы, во всех эмиграциях интригах и весьма неприятных внутренних конфликтах…

— Определение, что такое шпионаж, уж будьте любезны доверить нам, — прервал меня Фаркаш, однако с непривычной вежливостью, поскольку чувствовал себя уже на коне.

Мои письменные показания и продолжительные допросы в последующие ночи вскоре выявили все же некоторые подробности моей шпионской деятельности. Так как в Буэнос-Айресе венгерское движение и наш еженедельник не располагали станком для печатания адресов, канцелярия Межсоюзнической комиссии любезно предложила нам размножить список наших подписчиков и заодно разослала им документы самой Комиссии на испанском языке. Поскольку канцелярские и административные работы в Комиссии выполнялись преимущественно английскими гражданами, я, выражаясь словами Фаркаша, по существу поставлял английской шпионской организации секретные документы венгерского движения, а, поскольку время от времени общался с на-

чальником канцелярии, англичанином, и с членами комиссии, англичанами, Фаркаш определил, что у меня была установлена связь с английской Интеллидженс сервис.

Связь — это было второе волшебное слово УГБ. Если подозреваемый поддерживал самое поверхностное знакомство с кем-то, это уже была *связь*. Так, я *состоял в связи* не только со шпионом и полицейским агентом Ласло Райком, но также — из-за пресловутого печатного станка — с британской разведкой; одного моего товарища по заключению — кстати, моего приятеля с ранних лет — скомпрометировало признание, что он *поддерживал связь* со мной. На подобные цепочки *связей* УГБ имело возможность нанизывать арестованных дюжинами и — если даже ни один из них не взял на себя никаких уголовно наказуемых действий, — *по существу* сделать из мыши слона, а беспечную болтовню в кафе изобразить как шпионскую деятельность. Так, с помощью этого *по существу* сотворенная из пустякового реального зернышка псевдореальность ставила подозреваемого в еще более угрожаемое положение, чем даже заведомо ложные обвинения. А поскольку его товарищи, оказавшись в таком же положении, один за другим переставали сопротивляться и тупо признавали, что *в сущности* были шпионами, подозреваемый оказывался скомпрометированным все большим числом *связей* и вскоре дело выглядело уже так, что он общался исключительно со шпионами.

Я знаю много случаев, когда арестованного сходу подвергали жесточайшим истязаниям, но внезапно, без всяких причин, прекращали их и на сцену выходил добрый угебист. В первую же минуту первого допроса он, чуть ли не краснея, осуждал жестокие методы следствия, но добавлял, что подозреваемый должен отнестись с пониманием к более примитивно мыслящим сотрудникам, ведь и в самом деле непросто понять здравым умом, как это возможно, что друзья и знакомые подследственного — сплошь шпионы, и только он один, лишь одинединственный решительно ни в чем не замешан. Вероятно, его использовали без его ведома. Это, во всяком случае, смягчающее обстоятельство. Словом, он должен подумать, постараться вспомнить. Непременно вспомнятся какие-то мелочи, свидетельствующие, что его доверчивостью кое-кто злоупотребил.

Пока шли поиски такого рода вероятностей, добрый угебист угощал пленника сигаретами, приказывал принести ему еды, интересовался, не мерзнет ли он в подвале, не хочет ли получить одеяло. Он играл человека непосредственного, гуманного, который всего лишь исполняет весьма мучительную для него работу и который, собственно говоря, сочувствует узнику. Если бы это зависело от него, он, пожалуй, и освободил бы его. Но и узник должен признать, многие обстоятельства говорят

против него. И если он не проявит готовности, если не поможет УГБ разобраться в деталях, то руководители следствия сочтут его человеком недобросовестным, он покажется им еще более подозрительным, и тогда даже добрый следователь не в силах будет оградить его от применения жестких методов.

Вместе с узником следователь перебирал возможности, как могли его использовать, разумеется, без его ведома, каким образом могли воспользоваться его доверчивостью; при этом угебист старался создать между собой и жертвой доброжелательную атмосферу сообщничества. Но, как только они приходили к согласию по поводу той или иной формулировки, которая давала уже возможность произвольного осмысления или подтасовки фактов, добрый угебист в тот же миг исчезал, словно его поглотила земля. Подозреваемый неожиданно для себя оказывался в другом кабинете, перед другим следователем, который мрачно оглядывал его с головы до ног, якобы ведать не ведая о предполагаемой доверчивости подозреваемого и, опираясь на его уступку доброму следователю, выражавшуюся, быть может, лишь в некоторых словесных нюансах, уже запросто пользовался волшебным выражением *по существу* и, на основании этого *по существу,* требовал от арестованного раскрыть его *связи.*

Даже если подозреваемый с самого начала разгадал провокационный замысел, он, как правило, по этой смене караула — от доброго угебиста к злому — приходил к выводу, что его положение трагически безнадежно и жизнь его полностью во власти УГБ. Возможно, руководство политической полиции использовало этот прием даже не потому, что надеялось обмануть заключенного, а просто хотело дать ему понять, в какой густой сети он запутался, насколько бессмысленны любые попытки вырваться на свободу. А значит он должен смириться со своей судьбой, не думать о завтрашнем, о послезавтрашнем дне, все равно его будущее определит УГБ, сам он ни на что повлиять не может. Так что лучше воспользоваться сиюминутными преимуществами, предлагаемыми ему поблажками: сигаретой, едой, одеялом, даже и сообщничеством со следователем. Ведь помогая следствию сочинить протокол, выразив готовность к сотрудничеству, он может, пожалуй, надеяться на некоторое смягчение своей участи. Ну зачем им лишать его жизни, если они знают, что он не настоящий преступник и даже сам предоставил себя в их распоряжение?

Следуя этому или подобному ходу мысли, не один узник добирался до второй стадии *реализации* и помогал УГБ в подгонке заготовленных элементов конструкции. Позднее эта услужливость зачастую приводила его, в конечном счете, на скамью подсудимых, как обвиняемого в столь

тяжких преступлениях, что из зала суда он отправлялся прямиком на виселицу.

Допрашивая меня, Ласло Фаркаш не стал вводить в дело доброго угебиста. Возможно, не потому, что, по его разумению, этот метод не сулил надежды на успех, а скорее потому, что задача доброго угебиста заключалась лишь в том, чтобы выманить признание, которое давало бы возможность исказить действительность, то есть интерпретировать ее *по существу,* в моем же случае необходимости в этом не было. Все и так было ясно: в Южной Америке я, действительно, общался с англичанами, и этот факт нуждался всего лишь в небольшом дополнении, в совсем крошечной вариации, которая бы переквалифицировала мои *связи* в *шпионские связи.* Однако, к безмерной ярости полковника, я не мог решиться на это коротенькое танцевальное па.

Свое положение я считал, в самом деле, безнадежным и признавал, что Фаркаш, судя по всему, прав: на основании показаний Сёни — даже если я буду все отрицать — суд может осудить меня, сочтя мой отказ признать их отягчающим обстоятельством. Однако Фаркаш после длительного топтания на месте желал добиться быстрых результатов, слишком много надежд возложил он на волшебное слово *связи,* и меня это насторожило. Потому что полковник обвинял меня не только в том, что в Буэнос-Айресе я стал агентом английской секретной службы и вернулся в Венгрию по заданию англичан, но также и в том, что в Будапеште я был *резидентом* Интеллидженс сервис.

Будучи крайне неосведомленным во фразеологии УГБ, да и в шпионских делах вообще, я впервые услышал это слово из уст Фаркаша. Когда же, с любопытством, но и не без доли злорадства, спросил, в каком смысле следует понимать слово «резидент», Фаркаш грубо предложил мне заткнуться и в наказание за провокационный вопрос заставил проделать изрядное количество приседаний. При этом из дальнейших его вопросов очень скоро стало ясно и мне: резидент это некий главный шпион, который руководит деятельностью приезжающих, уезжающих и местных шпионов, собирает и переправляет куда надо поступившие сведения. Если я соглашусь назвать себя таким резидентом, мне придется обвинить не только себя, но, несомненно, и других, причем дюжинами. Как видно, Фаркаш был никудышным психологом, если полагал, что человек, оставшийся в живых лишь по непонятной иронии судьбы, способен взять на себя столь тяжкую ответственность и поставить других в то же отчаянное положение, в каком оказался сам.

Одним словом, я не мог принять предложенное мне лестное назначение — должность резидента, как не мог и признать, что вел в Венгрии разведывательную работу, так как и это обрушило бы на меня лавину

тягостных вопросов. Ведь если я занимался шпионажем, значит, опирался на информаторов, а раз так, значит, нужно выудить у меня, кто эти люди. Поэтому мы застряли на моих *связях* с английскими знакомыми и не добрались до выяснения вопроса *по существу*.

После бесплодной канители в течение долгих ночей полковник, то и дело угрожая дубинкой, вновь вытащил на свет свои диктовки о Петере Хайне, полковнике Карачоне и о моей деятельности в качестве стукача. От его внимания не укрылось, что особое отвращение, даже по сравнению с обвинением в шпионаже, у меня вызывает подозрение в сотрудничестве с хортистской полицией; возможно он рассчитывал, что, напирая на это, скорее добьется от меня признания в шпионских связях. Теперь он начинал допросы к концу дня, отдыхая на кушетке, пока я в приемной вновь излагал на бумаге ответы на уже многократно отвеченные вопросы, исписав своими письменами столько бумаги, что этого хватило бы на многотомный роман.

Случилось так, что в это время, из-за авитаминоза и грязи, в носу у меня образовался неприятный и болезненный фурункул; лишь несколько мучительных дней спустя я получил, наконец, какую-то мазь и бинты. С этой повязкой на лице, похожей на маску, однажды днем меня повели к Фаркашу. Я ковылял наверх, на этот раз не по боковой, а по главной лестнице, в сопровождении охранника, как вдруг, повернув на следующий пролет, оказался лицом к лицу с Габором Петером. В руке у него был черный портфель, сзади следовали за ним его охранники. Мой конвоир в панике схватил меня за плечи и повернул лицом к стене.

— Что это опять с вами стряслось? — загремел голос Габора Петера.

Я повернулся к нему и коротко объяснил, по какой причине наложена повязка, потом вдруг в голове у меня мелькнуло: это меньшее из всего, что со мной стряслось, — и, повинуясь какому-то неясному импульсу, сказал:

— Я хотел бы, чтобы вы вызвали меня на допрос.

Он смерил меня взглядом, потом сделал знак моему охраннику и своим телохранителям, и они отступили на несколько шагов назад, но, хотя слышать ничего не могли, не спускали с нас глаз.

— Зачем? — негромко спросил Петер.

Я несколько растерялся, сообразив, что собственно говоря, и сам понятия не имею, зачем попросил меня выслушать, ведь было совершенно бессмысленно именно Габору Петеру объяснять, что выдвинутые против меня обвинения не соответствуют действительности. Но теперь нужно было что-то отвечать. Не успев совершенно ни о чем подумать, я весьма решительно заявил:

— Среди всего прочего, дело в том, что вы знаете не хуже меня: я никогда не был стукачом. И, что бы со мной ни делали, я этого на себя не возьму.

Габор Петер опять посмотрел на меня. Смотрел пристально. Лишь много позже мне пришло в голову, что, возможно, он услышал в моих словах обещание взамен взять на себя остальные обвинения. Он задумчиво кивнул, потом, растягивая слова, сказал:

— Хорошо, я вас выслушаю.

Перед следующим допросом мне пришлось ожидать у дверей кабинета Фаркаша дольше обычного. Полковник, красный как рак, стоял у окна, выходившего на проспект Андраши.

— Что вам понадобилось от генерал-лейтенанта? — заорал он на меня.

— Я сказал ему, что ни под каким видом не признаю себя полицейской ищейкой.

— Думаете, вы здесь решаете, что признавать, а что нет? — взревел Фаркаш, и на шее у него вздулись жилы. — Может, вообразили, что вы на ярмарке, выбираете себе сапоги?

Он подошел к столу, выхватил из ящика резиновую дубинку, но лишь резко взмахнул ею в воздухе, а потом несколько раз ударил по столу и, едва сдерживая ярость, приказал:

— Приседать!

Вероятно, пока я дожидался в приемной, Габор Петер позвонил ему. Возможно, дал указание не настаивать на обвинении в пособничестве полиции, а составить сколько-нибудь пригодный для использования материал о моих западных друзьях-приятелях. Как бы то ни было на самом деле, важно одно: Фаркаш никогда больше не вспоминал свое сочинение о Петере Хайне и полковнике Карачоне, сотворенное с таким пылом и амбициозностью, и предпочел вновь обратиться к моим *связям* с Интеллидженс сервис.

Теперь он уже считал доказанным, что я являюсь агентом британской секретной службы, и спрашивал лишь о том, с кем я имел дело в Венгрии, какую получал от этих людей информацию и каким способом передавал сообщения своим хозяевам. Я протестовал, без конца повторял, что никаких шпионских связей ни с кем не поддерживал, но Фаркаш всякий раз с удивительным терпением пропускал мои возражения мимо ушей и следующий вопрос опять ставил так, как будто самый факт, что я шпион, мною давно признан и теперь я должен всего лишь сообщить некоторые частности. Ночь за ночью, день за днем он продолжал эту психологическую комедию, то в устной форме, то диктуя мне вопросы, на которые желал получить ответы.

Хотя Фаркаш обходился теперь без «подковки», не хлестал больше по ладоням и почкам — только угрожал этим, — хотя, посасывая ку-

сочки сахара с причмокиванием и чавканьем, он исключительно для собственного удовольствия красочно расписывал, но не применял рожденные игрой его фантазии способы пыток, допросы эти были для меня не менее страшными, чем те, во время которых я постоянно мог ожидать, что он вот-вот обрушится на меня со своей дубинкой. Более того, пошлое комедиантство полковника было, собственно говоря, еще страшнее физических мучений. Ибо поначалу, пока то и дело свистела резиновая дубинка, — в период простодушного неведения — я мог еще предполагать, что, если выстою, они, быть может, признают свою ошибку; позднее я надеялся уже лишь на то, что они поймут: я не способен признать возводимые на меня клеветнические обвинения или оклеветать других. Но теперь на весах логики вовсе не имело значения, признаю ли я что бы то ни было или буду упорно возражать против вымышленных обвинений, потому что УГБ глухо к любым протестам, доводам, доказательствам; для него действительность абсолютно волюнтаристская категория, и в конце концов только от собственного решения УГБ будет зависеть, считать ли самые примитивные предположения, комбинации, клевету неопровержимыми фактами.

Поэтому, хотя я, собственно говоря, не признал ничего, мое положение в паутине сфальсифицированных фактов представлялось столь же безнадежным, как если бы я чистосердечно признался в том, что сначала меня завербовал в полицейские шпики Петер Хайн, что позднее я стал агентом полковника Карачоня, чтобы затем, в Аргентине, начать работать на англичан, потом организовать связь между Тибором Сёни и американской спецслужбой, и наконец, вместе с полицейской ищейкой, провокатором и шпионом Ласло Райком организовать заговор с целью свержения государственного строя.

И Фаркаш на каждом допросе не упускал случая напомнить мне, в какую я попал мышеловку, насколько я беззащитен. И коли так — есть ли смысл бороться? Ведь у меня, внушал он, лишь тогда может появиться некоторая надежда спасти свою шкуру, остаться в живых, если я проявлю сговорчивость, гибкость. От меня требуется хоть что-то признать, подписать, — твердил он, — что дало бы возможность предъявить обвинение. После чего мне смогут вынести приговор и вскоре за тем перевести в тюрьму. Иначе я останусь здесь, в подвале, может быть, на годы. И кому как не мне знать, что на здешнем питании я уже долго не протяну.

В самом деле, я находился в подвале уже шестую неделю, на пустой баланде, по половнику в день, и таком же количестве жидкой фасолевой затирухи. Я ужасно ослаб, в моче все еще была кровь, ходить, даже медленно, шаркая ногами, мне удавалось лишь с мучительным напря-

жением всех моих сил, малейшее движение отзывалось в переломанных ребрах острой болью. Так что, по сравнению с подвалами УГБ, тюрьма представлялась мне чуть ли не домом отдыха. Зарешеченное оконце тюрьмы, через которое, быть может, хоть изредка проглядывает голубое небо или проскальзывает солнечный луч, после замурованных окон подвала в моем воображении сравнимо было с панорамою Доломитов, а дневные сумерки тюремной камеры, после красной из-за слабого накала подвальной лампочки, круглосуточно светившей прямо в глаза, представлялись чуть ли не равноценными солнечному сиянию где-нибудь на итальянском побережье.

Теперь я мечтал о тюрьме, как мечтает раб о свободе. Без сомнения, к этому прибавлялось то, что от одного только лица, голоса, комедиантства Фаркаша меня бросало в дрожь и, в то же время, наполняло отвращением. Мне казалось, можно заплатить любую цену, лишь бы не видеть, не слышать больше полковника. И вдруг однажды я поймал себя на том, что уже раздумываю, какое из выдвинутых против меня обвинений можно признать.

От внимания Фаркаша не ускользнуло, какой идиллией представляется мне тюрьма в сравнении с моим теперешним обиталищем; поэтому он не поминал уже о том, что однажды пошлет меня в Испанию. Теперь он говорил так:

— Скоро в Марко[30] отправят партию арестованных. Если до того времени сделаете признание, включу в группу и вас. Если же нет… Что ж, тогда пеняйте на себя. Ведь я предупреждал: вы обрекаете себя на верную гибель. Я говорил вам это тысячу раз, разве не так?

Действительно, предупреждал, говорил. Больше того, эта угроза — «обрекаете себя на гибель», — на которую он не скупился и раньше, в последние дни стала его навязчивой идеей. Однажды он вдруг объявил мне, что вся эта пустая трата времени, бесконечная тягомотина ему просто осточертела, он отправляет меня обратно, в подвал, и до тех пор не будет вызывать даже на допрос, пока я сам не скажу, что хочу дать признательные показания. Ему-то ведь глубоко безразлично, когда я надумаю совершить это, через месяц или годы спустя. Но вот мне вовсе небезразлично. И полковник, не жалея красок, принялся пространно расписывать, что значит «сгнить заживо».

Затем Фаркаш, как художник, любующийся своим шедевром, откинул чуть набок голову, смерил меня взглядом, затем с деланным сочувствием сообщил, что я и сам, должно быть, заметил в себе кое-какие симптомы «гниения заживо», не так ли; он-то, конечно, заметил их много больше (как-никак в этой области опыта у него хватает). Наконец, он поднял указательный палец, вперил в меня взгляд и проорал во весь голос:

— В последний раз говорю: вы обрекаете себя на верную гибель!

После этого меня и в самом деле не водили на допрос к полковнику. Однако пошлая клоунада Фаркаша не подвигла меня на то, чтобы от раздумий, какое бы обвинение все же можно признать, я пришел к решению. Больше того, он внушил мне подозрения и побудил к новым раздумьям.

Иногда мне казалось рациональным пойти хотя бы на частичные уступки. Однако, когда удавалось отвлечься мыслями от своего весьма печального физического состояния, я все же приходил к выводу, что вырваться из этой иррациональной ситуации, вступив на тропинку кажущегося в данный момент рациональным хода мыслей, мне не удастся.

Я не мог знать конечной цели УГБ, поэтому оставалось держаться лишь единственно разумного стремления: сохранить, насколько это от меня зависело, физическое и душевное равновесие. Если я исполню желание Фаркаша, то, возможно, до поры до времени действительно получу некие физические послабления. Но, какое бы из обвинений я ни взял на себя, мне придется назвать информаторов, помощников, сообщников. А значит, я вступлю на дорожку Тибора Сёни и, хотя получу за это больше еды и возможность спать, мое душевное равновесие покачнется, потому что мысль о том, что я набрасываю петлю на чьи-то шеи, в любом случае раздавит меня морально.

Очевидно, на мои размышления в немалой мере повлияли и чувства. Более того, навряд ли я ошибусь, если скажу, что решающее слово осталось за ними. Ибо, с одной стороны, мне было до тошноты отвратительно комедиантство Фаркаша, и я испытывал почти физическую невозможность поступить в соответствии с желаниями этого типа, тем самым оправдав его методы; с другой же стороны, я ведь бунтовал не только против Фаркаша, но, в гораздо большей степени, против тех организаций, которые представлял полковник, то есть против УГБ и коммунистической партии.

Многих моих друзей, знакомых, за чистоту и честность которых я всегда, как и сейчас, ручаюсь головой, тайная полиция объявила стукачами и шпионами. Они подверглись такой же обработке, что и я сам, прежде чем подписать или не подписать протоколы допросов. Поэтому я уже не мог считать мой случай чем-то исключительным, результатом сиюминутной полицейской истерии, это была часть инспирированной партийным решением, обдуманной и даже организованной акции. Когда после раздачи похлебки нас провожали в уборную, перед каждой камерой стоял, по крайней мере, один котелок, а это значило: фабрика по производству шпионов работает на полную мощность.

Этот длинный ряд котелков был комичен и одновременно приводил в неистовство. Мне хотелось смеяться, но руки сжимались в кулаки. И

хотя изредка всплывала еще надежда на какое-то ни с чем не сообразное чудо: вдруг да выяснится, что минувшие полтора месяца были лишь зверской шуткой, жестоким испытанием, — тем не менее всей страстью души я окончательно изгнал искушение попроситься к Ласло Фаркашу на допрос.

Но когда я уже приспособился понемногу к долгому ожиданию, однажды утром меня повели к Фаркашу. В окно его кабинета и на этот раз светило солнце. Однако лицо самого Фаркаша сияло ярче даже летнего солнца.

— Ну, как дела? — спросил он, весело улыбаясь, словно пригласил просто распить пару бутылок пива.

Ни словом, ни единым намеком он не вернулся ни в своим угрозам, ни к заявлению, что я могу гнить в подвале хотя бы и целые годы, он меня ни за что не вызовет на допрос, пока я сам не заявлю, что готов дать признательные показания. Напротив, он был чуть ли не дружелюбен. Расспрашивал почти светским тоном о моих южноамериканских знакомых, затем снова приказал писать, где, с кем, когда я встречался, о чем разговаривал.

Особенно ему понравилось непривычное для венгерского уха имя учительницы датского происхождения.

— Мне это ваше знакомство подозрительно, — заявил он и приказал написать о ней отдельно.

Он желал знать все новые и новые подробности, и тогда я упомянул одного английского джентльмена, с которым, как мне смутно помнилось, случайно встретился на квартире именно Веры — назовем так мою знакомую. Этот англичанин скорее с испанским, но отнюдь не свойственным британцам темпераментом вмешался в разговор о моих личных проблемах и стал бурно убеждать меня, пуская в ход как доводы, так и красноречие, что я совершу самоубийство, если вернусь в Венгрию. Возможно, встреча эта произошла и не у Веры; во всяком случае, это было лишь мимолетное знакомство. Имя англичанина я забыл, но его предсказание за последние недели вспоминалось мне часто. Упомянул я его менее всего ради скрупулезной полноты моего отчета, а скорее из злорадства, потому что мне было любопытно, как мой следователь воспримет это наполовину уже сбывшееся предсказание. Я предполагал, что он либо раздраженно пропустит это мимо ушей, либо рявкнет на меня, зачем я провоцирую его глупостями всяких предсказателей и гадалок. Я ошибся. Случилось нечто противоположное.

Фаркаш потребовал описать личность англичанина, заметив, что для него ясно как божий день — этот мой знакомый работал в разведке, возможно, был начальником Веры, так как датчанка, несомненно, работала на англичан. Вот они-то и завербовали меня на Вериной квартире!

Полковник опять стал требовать все новых и новых деталей, которые хотя бы эмоционально дали возможность использовать волшебное *по существу*.

Он отпустил меня среди ночи и на сей раз не сыпал ругательствами, не твердил раздраженно, что допрос опять не дал результатов.

— Завтра продолжим, — сказал он и весело, дружелюбно мне улыбнулся.

На другой день меня не вызвали на допрос, и Фаркаша я не видел. Это был один из основополагающих принципов УГБ: арестованному никогда не положено знать, что с ним происходит, что его ждет. Для него все должно быть неожиданностью, хотя бы и относительно приятной, как, например, разыгрываемая полковником приветливость в то время, как я готовился к очередным истязаниям, или, в лучшем случае, к многомесячной голодухе в подвальной норе.

Тому, что следующие за допросом сутки я провел в своей камере, я еще не удивлялся, но тем более был поражен, когда утром следующего дня меня отвели в совсем не знакомое помещение, сфотографировали анфас и в профиль, сняли отпечатки пальцев, а затем в коридоре на первом этаже поставили лицом к стене рядом с другими заключенными. Я был потрясен еще и тем, что в одном ряду со мной обнаружил не только Отто Тёкеша, бывшего секретаря Райка, но также Петера Мода, советника парижского посольства, Дюлу Оско, бывшего полковника полиции, и даже Иштвана Штольте, который жил в Западной Германии и навряд ли имел основания по доброй воле вернуться в Будапешт.

Но я оторопел бы куда больше, если б узнал тогда, что так и не признав себя ни полицейским агентом, ни шпионом, с высшей точки зрения УГБ я все-таки преодолел *первый этап реализации;* впрочем, пока что я считался лишь грубой заготовкой, вчерне обработанной деталью; иными словами, полуфабрикатом, неким связующим материалом, с помощью которого *на второй стадии реализации* можно будет скрепить воедино уже сформированные, готовые элементы.

5

НА СЦЕНЕ — ГЛАВНОЕ ЛИЦО

Нашу группу переправили в тюрьму на улице Марко и — насколько мне удалось заметить — распределили по камерам на одном этаже.

По сравнению с конурой в подвале мои новые апартаменты были просторны. В камере стояли две железные кровати, но кроме них — ни стола, ни стула, ни полки. Только ватерклозет в углу свидетельствовал о торжестве современного комфорта и гигиены. Однако зарешеченное оконце меня разочаровало. Не только потому, что оно было маленькое и чуть ли не под потолком — это я предполагал и раньше, — но потому, что его непрозрачное матовое стекло смотрело на меня, словно застывший, незрячий глаз.

Через окошко в железной двери размером с книгу, запиравшееся на ключ и находившееся примерно на полторы пяди ниже глазка, нам просовывали котелок с едой. Когда же давали свежую воду, открывалась и дверь. Причем даже дважды: первый раз когда мы выдавали ведро, второй раз — когда получали его обратно. Только в эти минуты мы видели своих охранников лицом к лицу.

Когда дверь моей камеры неожиданно открылась впервые, я не знал что и думать: в коридоре стояли тесной шеренгой четверо мужчин в штатском и молча на меня смотрели. Двое были только в рубашках, у обоих из-за пояса торчала рукоятка пистолета. Некоторое время мы стояли, молча уставившись друг на друга. Я уже заподозрил было, что вот-вот осуществится какая-нибудь из угроз Фаркаша, но тут парень с револьвером сказал:

— Давайте ведро!

Но едва я шевельнулся, его спутники сделали два шага назад, как бы прикрывая своего командира, а один из них схватился за оружие. Не знаю, была ли эта сцена чистым комедиантством или она объясняется тем, что руководители УГБ старались внушить своим подчиненным из внешних кругов тайной полиции ощущение опасности и заставить непосвященных сотрудников верить, что перед ними действительно готовые на все враги.

Если бы даже, под впечатлением от детского чтения, мне пришло в голову наброситься на четырех охранников, выхватить хотя бы у одного из них револьвер, а потом прорваться через несколько колец вооруженных людей, мое физическое состояние скорее побудило бы меня, по

крайней мере, отложить осуществление романтического замысла. Потому что в то время я как раз заново учился ходить. С великим трудом, опираясь на свое ложе, я заставлял себя подняться и поначалу считал вполне достойным свершением, когда удавалось сделать восемьдесят — сто шагов взад-вперед по моей камере от стены к стене. Рацион не вселял особой надежды укрепить силы. На весь день нам выдавали полбуханки вязкого черного хлебца; на завтрак — напоминающую помои жижу из подгоревшего овса, в полдень — пустую похлебку и такой же жиденький, как похлебка, овощной гарнир, вечером — опять овощное хлебово. И всего этого — ровно столько, чтоб едва червячка заморить.

Но и этим переменам я был бы рад, если бы хоть что-нибудь указывало, что теперь я в ведении прокуратуры и предстану уже не перед Фаркашем и его коллегами, а перед судебными следователями, которые, возможно, придерживаются того же образа мыслей, но обладают более скромным набором средств дознания. Однако прошло несколько дней, но еду мне по-прежнему подавали не тюремщики в форме, а все те же охранники с револьверами за поясом: дело в том, что УГБ — как мы установили позже — заняло два этажа тюрьмы на улице Марко и тщательно изолировало их от всех остальных. Прочие узники Марко с содроганием поглядывали в сторону «секретного отделения» УГБ, откуда, кроме звяканья ведер да грохота заслонок на дверях во время раздачи еды, не доносилось ни звука.

Однообразие моей жизни вскоре было все же нарушено приятной неожиданностью. В открывшуюся в неурочное время дверь детективы втолкнули невысокого, но тучного мужчину. На нем было великолепного кроя пальто из верблюжьей шерсти, он близоруко щурился, озираясь вокруг, потом сел против меня на другую кровать. Некоторое время он тупо смотрел прямо перед собой, потом шагнул ко мне и представился:

— Шандор Эрди, — проговорил он и обстоятельно расспросил о порядках в тюрьме и камере.

Выслушав мой отчет, Эрди помрачнел, потому что, признался он позднее, надеялся попасть просто в следственную тюрьму, как бывало уже не раз после 1945 года; меня же в первую минуту он принял за — как он выразился — какого-нибудь мошенника из господ, а не за политзаключенного. Удрученный, Эрди плюхнулся опять на свою кровать, потом рассказал: до сих пор, всякий раз как он попадал в следственную тюрьму, ему удавалось, подкупив охранников, получать кое-какие поблажки, передавать письма своему адвокату, жене, которая, получив письмо, снабжала его провизией, сигаретами, одеждой. Но в качестве политического заключенного, а на сей раз, увы, он не сомневается, что должен считать себя именно таковым, навряд ли можно тешиться надеждой обеспечить себе временные послабления, сносные условия суще-

ствования и хоть что-то предпринять для своего освобождения. Хотя… и Эрди стал рассказывать, какие крепкие связи имеются у него с некоторыми партийными руководителями, в особенности же с Кароем Кишем, секретарем Центральной Контрольной Комиссии коммунистической партии. Потом он вдруг замолчал, несколько раз нервно оглядел камеру и, встав передо мной, спросил:

— Скажите, вы знаете, кто такой Дуулеш?

Он так произнес это имя — с долгим «у» и с буквой «ш» на конце, что я только покачал головой и спросил:

— А что?

— Меня обвиняют, что я установил с ним связь.

— Какую связь?

— Какую связь? Шпионскую, какую же еще. Когда я был в Швейцарии.

— И кто он такой, этот Дуулеш?

— Какой-то американский главный шпион. Почем я знаю, кто. В первый раз услышал его имя.

Театральным жестом Эрди обеими руками схватился за голову, снова рухнул на кровать и вполголоса застонал. Я стал его расспрашивать. Сперва он отвечал уклончиво, но потом подсел ко мне и шепотом рассказал, что его обвиняют, будто бы он был связным между Дёрдем Палфи[31], заместителем министра обороны, и этим, как его, Дуулешом. Вскоре мне стало ясно, что этот, «как его, Дуулеш», чье имя Эрди впервые услышал от своих следователей и произносил так же искаженно, как и сами следователи, не мог быть никем иным, как Алленом Даллесом.

Мой сокамерник тревожно поглядел на меня и испуганно спросил:

— Как по-вашему? Меня ведь не присудят за это к смерти? Я же маленький человек, вот и в обвинении говорится, что я был всего-навсего связным…

Я попытался его успокоить, но Эрди и потом часто прерывал нашу беседу и, то полными слез глазами, то одними лишь вздохами, вымаливал у меня слова утешения, как бы требуя вновь и вновь подтверждения, что его не повесят. Однако время от времени, не дождавшись даже, пока я закончу утешительные речи, он без всякого перехода начинал сыпать анекдотами или, расчувствовавшись, описывал свою квартиру, семейство либо вспоминал разные случаи из жизни. Я охотно его слушал. Не только потому, что, говоря о прошлом, он забывал о горестном настоящем и даже на какое-то время переставал жаловаться и стонать, но особенно потому, что жизнь Шандора Эрди, главным образом, в период после 1945 года, осветила для меня такие факты и их взаимосвязи, о которых я прежде не имел ни малейшего представления.

У моего сокамерника, как и у других заключенных, отобрали очки, чтобы он, разбив их, не перерезал себе вены или другим каким-то обра-

зом не попытался покончить с собой. Представив его с очками в золотой оправе на лице, забыв о его давно не видевшей утюга одежде, о помятом, искаженном страхом лице, я подумал: если бы я повстречался с ним где-нибудь на Западе в гостинице и шутки ради попробовал бы угадать его род занятий, то навряд ли ошибся бы, приняв этого толстенького, но при этом весьма шустрого весельчака за не слишком разборчивого в средствах коммерсанта. И в самом деле, Эрди был faiseur* в классическом значении слова.

Начинал он не с этого. Эрди родился в бедной семье, и поначалу — как сам рассказывал с меланхолической иронией — считал, что ему здорово повезло, когда он попал в какую-то контору мелким клерком и с утра до вечера крутил ручку арифмометра. Тогда он носил, разумеется, не светлое пальто из верблюжьей шерсти, а черный костюм, черный котелок, и не мог даже представить себе, чтобы в пасмурную погоду можно было выйти из дома без зонта. Но маленького конторщика случай свел с такой же маленькой актрисулькой, которая показалась ему самой распрекрасной, самой восхитительной феей. Ради нее он покинул жену, ребенка, оставил место работы. Актрисулька вывернула его наизнанку, а может быть, разбудила в нем его истинную сущность. И Шандор Эрди пошел по дорожке постоянно балансирующего между законом и беззаконием торговца. Вторая мировая война принесла ему материальное благополучие, он сумел, где ловкостью, где подкупом, не пострадать даже от антиеврейских законов, имевших столь роковые последствия для сотен тысяч людей.

В 1945 году в разоренной, разграбленной Венгрии не было ни продуктов питания, ни промышленных товаров, не было и средств сообщения. В полупарализованном городе вдоволь было лишь бед и нехваток. Поэтому правительство, политические партии не только терпели полулегальную и даже запрещенную законом торговлю, но и сами создавали такие предприятия, торговую деятельность которых в нормальной стране и в нормальные времена полиция и прокуратура пресекли бы незамедлительно. Шандор Эрди, вероятно, чувствовал себя как рыба в воде. Он основал импортно-экспортное предприятие. В ту пору, когда любой, кто только имел возможность, ввозил контрабандой решительно все, от паровозов до какао, от удобрений до чулок, мой сокамерник и в этом соревновании был не из последних. Напротив, он все решительней пробивался вперед, так что вскоре у него уже появились связи с сильными мира сего.

Однажды Дёрдь Палфи, который, судя по всему, следил за деятельностью Эрди, сделал последнему необычное предложение. Палфи, кадро-

---

* Коммерсант-авантюрист *(фр.)*.

вый, то есть служивший еще в хортистской армии офицер, но при этом участвовавший в движении Сопротивления, возглавлял в то время так называемый Военно-политический отдел — армейскую разведку и контрразведку. Он рассказал Эрди, что государственная казна не в состоянии покрывать расходы Военно-политического отдела и потому он вынужден — разумеется, с одобрения коммунистической партии и своих вышестоящих начальников — собственными силами найти недостающие денежные средства. Поэтому он предлагает Эрди вести дела совместно. Эрди будет изыскивать возможности, делать предложения, каким образом их осуществить, а Палфи оказывать ему содействие при ввозе контрабанды и прикрывать Эрди перед властями, если что-то пойдет не так. Доходы же будут делить пополам. Это предложение, естественно, относилось только к делам нелегальным, поскольку законные — продажа электросчетчиков в Дамаске, поставка унитазов в Бейрут — экспортно-импортная фирма Эрди могла осуществлять и без помощи Палфи.

Эрди принял предложение, они пожали руки, и товарищество начальника контрразведки и торговца-авнтюриста довольно долго процветало к удовольствию обоих.

Эрди с сияющими глазами вспоминал самые памятные гусарские выходки, когда, например, при содействии людей Палфи, он беспошлинно переправил через границу товарный состав контрабандного товара или когда сбыл на черном рынке целые вагоны дефицита. Но воспоминания о старом добром времени лишь ненадолго возбуждали его. Словно сцена, постепенно погружающаяся во мрак, лицо Эрди все больше темнело, и наконец он с жалобным стоном, дрожащими губами произносил:

— А теперь вот меня повесят...

После сложился уже определенный ритуал: наслушавшись моих утешений, мой сокамерник впадал в задумчивые мечтания, пытаясь представить себе, где сейчас, в данную минуту, может находиться его супруга, некогда прекрасная блондинка-актриса, чем она занята, о чем думает. Потом вдруг он выпячивал грудь, засовывал руки в карманы и какое-то время шагал взад-вперед по камере, затем высокомерно, уверенно, словно какой-нибудь президент банка, распоряжающийся судьбой целых состояний, учительным тоном объяснял мне, какие действия при тех или иных сделках или трансакциях можно считать оригинальным, даже гениальным решением, которое никому — кроме него самого — ни за что не пришло бы в голову.

— Ну да, — уныло махал он рукой, — я идиот. Тут мне следовало и оставаться. В этом я знаю толк. И зачем только я сунулся в политику?

А попал он в «политику» так: однажды Палфи велел ему подписать обязательство; на языке венгерской полиции это означало — завербовал его уже и формально, как агента Военно-политического отдела. Больше

того, он даже присвоил коммерсанту воинское звание, о чем мой сокамерник упоминал с явной гордостью. Поскольку хорошо известный в Будапеште авантюрист не был членом коммунистической партии, а его предприятия менее всего могли способствовать победе исключающей всякую частную инициативу социалистической экономики, Эрди представлялся исключительно подходящей фигурой для того, чтобы войти в доверие к буржуазным политикам. Поэтому Палфи использовал своего человека, главным образом, в провокационных целях.

Мой сокамерник рассказал о том, как пытался поймать в сети госсекретаря патера Балога[32], члена партии мелких хозяев, которого в Будапеште считали коррупционером. Эрди точно помнил цену посылавшихся Балогу ящиков шампанского, бутылок французского коньяка, как и стоимость ужинов «У дядюшки Штерна», в этом известном, хотя внешне не слишком роскошном еврейском ресторане. Рассказал, как старался, по поручению Палфи, провоцировать генерала Яноша Вёрёша[33], бывшего военного министра. В ту пору Вёрёш уже отказался от своего портфеля, после того как остался один в Совете министров, не поддержанный даже коллегами — членами партии мелких хозяев в своих выступлениях против проекта венгеро-советского торгового соглашения, которое, по его суждению, делало Венгрию экономически полностью зависимой страной. Эрди вкрался в доверие к Вёрёшу и предложил во время своих деловых вояжей за границу передавать от него сообщения и письма. По подсказке Палфи он упомянул и конкретное имя — бывшего венгерского военного атташе, который жил на Западе и в это время, по предположениям Военно-политического отдела, состоял на службе американской разведки. Сейчас уже точно не помню, действительно ли Шандор Эрди помогал осуществлять переписку между генералом и бывшим атташе или все эти козни не удались, но тем более запомнилось, как описывал Эрди осторожную недоверчивость генерала. Как бы то ни было, осторожность не спасла Яноша Вёрёша от тюрьмы. Три года спустя в пуговичной мастерской Центральной тюрьмы мы работали за одним столом, сидя друг против друга, и — если удавалось разжиться табаком — по очереди затягивались сигаретой, скрученной из оберточной или туалетной бумаги.

Однако гораздо более явный успех, чем при исполнении этих провокационных заданиях, сопутствовал Эрди как общественному деятелю. Его политическими маневрами дирижировал тот же Палфи. По указке Военно-политического отдела Эрди обеспечил себе солидную часть акций еженедельника «Народ Кошута»[34]; по той же указке после распада партии мелких хозяев он стал членом партии независимости, организованной Золтаном Пфейфером[35], и на выборах 1947 года выступил как ее представитель. Эрди, по его словам, отвалил сорок тысяч форинтов в

выборную кассу партии независимости, с тем условием, что за это партия выдвинет его своим депутатом. Так на последних свободных выборах в Венгрии агент Военно-политического отдела, руководимого коммунистами, попал в венгерский парламент с программой недвусмысленно антикоммунистической политической партии. Позднее Эрди, чье общее образование, как и осведомленность в политике были намного ниже, чем у самого скромного бухгалтера, следуя указаниям Палфи, оказался причастен к развалу партии Пфейфера, а тем самым и к окончательному искоренению парламентаризма.

Истории Эрди, иногда не слишком увязывавшиеся друг с другом, тем не менее бросали луч света не только за кулисы общественной жизни, но освещали и другие факты, о которых я и не подозревал, как не подозревал о поддерживаемой властными структурами контрабанде или об агентах, внедрявшихся властями в ряды оппозиции. Среди этих фактов более других меня занимали — ибо, как я догадывался, могли влиять и на наше положение, — противоречия и соперничество между руководством Военно-политического отдела, вместе со всей этой структурой в целом, и руководством УГБ и самой его системой, которые вели ко все более кровавым сражениям. Правда, приключения моего сокамерника пробуждали лишь неясные подозрения, но мои выводы позднейподтвердились благодаря информации, почерпнутой в тюрьме.

Спекуляции Палфи и Эрди чуть ли не с самого начала старался пресечь, провалить ГРО[36], тесно взаимодействовавший с госбезопасностью. Эрди и его людей многократно арестовывали, в этих случаях жена Эрди бросалась за помощью к Палфи и коммунистической партии, чтобы авантюриста освободили. Обращалась она непосредственно к Карою Кишу. Киш был в то время председателем ЦКК компартии; в его задачи входило наблюдать за политической и моральной чистотой членов партии. Киш был хорошо осведомлен о деловых связях Палфи и Эрди, мой сокамерник часто даже показывал ему копии расчетов. Таким образом, партийный функционер высокого ранга мог лично контролировать обе стороны и точно знать, что авантюрист действительно не обманывал начальника разведки, а начальник разведки — партию. Обход законов, серьезное нанесение ущерба государственной казне Карой Киш, по-видимому, не считал нарушением коммунистической морали, ведь тогда государственная власть лишь частично была в руках коммунистов, а для полного ее захвата считалось целесообразным всячески укреплять те ее институты, которыми руководили коммунисты. Поэтому Киш не раз предпринимал шаги, чтобы избавить агента Палфи от законных последствий его спекулятивных предприятий, даже приостанавливать начатые против Эрди расследования и выпускать его на свободу.

Однако глава экономической полиции после каждой посадки вызывал Эрди к себе и, прежде чем перейти к сути дела, предлагал сразу же и без каких-либо дальнейших допросов отпустить его из следственной тюрьмы, если авантюрист даст слово, что с этих пор будет работать не на Палфи, а на него самого.

Военно-политический отдел, с одной стороны, и экономическая полиция и УГБ, с другой, вообще нередко арестовывали доверенных лиц друг друга, взаимно старались переманить друг у друга агентов и поставить их себе на службу. Правда, изначально — как я выяснил позднее — работа обеих организаций была разделена таким образом, что важнейшей задачей Военно-политического отдела является внешняя разведка, то есть сбор информации, задачей же УГБ — разведка внутренняя, то есть устранение иностранных шпионов. Несомненно, обе эти задачи во многих отношениях соприкасаются, пересекаются, и, учитывая все сказанное, нетрудно предположить, что даже при нормальных условиях определенные трения были бы неизбежны. Тем более, что УГБ был связан с советским МГБ, а Военно-политический отдел — с советской военной разведкой и контрразведкой, а между этими двумя русскими органами также существовало соперничество и споры о сферах деятельности. Однако в 1948—1949 годах в борьбу двух венгерских секретных служб, помимо этих, скажем, естественных причин, вмешались еще и другие мотивы, которые, в конце концов, и решили дело.

Основной костяк Военно-политического отдела составляли антигермански настроенные офицеры старой венгерской армии, такие как Палфи; это были хорошо подготовленные, сведущие как во внешней, так и во внутренней разведке люди. Вполне понятно, что русские военачальники, особенно на первых порах, охотнее опирались на этих опытных специалистов, чем на Габора Петера, вчерашнего подмастерья-портняжку, ставшего вдруг, словно по щучьему веленью, генералом полиции, и на других — за малым исключением — подобных ему офицеров УГБ. Но, чем дальше отступали на второй план непосредственно военные проблемы на территории Венгрии, а первоочередной задачей Советского Союза становилось обеспечение руководящей политической роли Москвы — также ввиду военных, хотя и более отдаленных целей, — тем больше выдвигалось на авансцену УГБ, оттесняя Военно-политический отдел. Ведь именно УГБ, организация, за это время сформировавшаяся в партию внутри партии, была призвана осуществить передачу власти в руки страны Советов. А поскольку для захвата власти требовалась не столько профессиональная подготовка, сколько надежность и преданность русским, в состязании с офицерами старой школы победил Габор Петер, и верх над Военно-политическим отделом одержало УГБ. И независимо от того, подчинились бы бывшие офицеры бывшему портняжке или нет, они все равно казались

бы если не подозрительными, то, во всяком случае, способными к сопротивлению, точно так же, как и старые, но не в Москве вышколенные коммунисты, — поэтому они тоже были обречены. Вот почему несколько месяцев спустя на скамье подсудимых рядом с Ласло Райком оказался и начальник Шандора Эрди — генерал-лейтенант Дёрдь Палфи.

Все эти взаимосвязи Эрди не интересовали ни в малейшей степени. Общие выводы, вытекавшие из его рассказов, приключений, оставляли его столь же безразличным, как и возможные судьбы его жертв. Когда я допытывался, как бы он рассчитался со своей совестью, узнав, к примеру, что из-за его провокаций Янош Вёрёш попал на виселицу, Эрди только пожал плечами:

— Но что же мне было делать? Ну, скажите, что я мог сделать? — Он развел руками и недоуменно смотрел на меня, как смотрит взрослый на допустившего непростительную бестактность ребенка, которого он до сих пор считал достаточно воспитанным мальчуганом и только теперь понял, из какого он теста.

Эрди считал себя добросердечным, тороватым человеком, он со слезами на глазах, расчувствовавшись, вспоминал своих ближайших родственников или подарки, которыми он щедро их одаривал. Очевидно, он не только удивился, но и возмутился бы, если бы кто-то счел его поступки безнравственными, — он был испорчен, почти не подозревая об этом, и наносил вред людям с самым невинным простодушием. С одинаковым азартом и без каких-либо угрызений совести он продавал в Дамаске списанные электросчетчики, а в Бейруте — бракованные унитазы, как в Будапеште продавал ближних своих. Поэтому, когда его охватывали приступы страха смерти, я мог бы успокаивать его, собственно говоря, с самой искренней убежденностью, так как после всего лишь двухмесячного практического курса обучения уже почти не сомневался, что Шандора Эрди народная демократия не повесит, Шандор Эрди ей нужен, ей нужно как можно больше таких Шандоров Эрди.

И все же, скорей интуитивно, нежели сознательно, я нарушил по отношению к нему венгерский тюремный этикет и не стал называть его на «ты» в знак признания общности наших судеб. Но, как бы ни были мы чужды друг другу, как ни проскальзывала, нет-нет, мысль, что он — «подсадная утка», его истории не только открывали мне глаза, но и служили своего рода отдыхом, ведь я уже сыт был по горло допросами и молчанием, и впервые за много времени со мною говорил человек, который не мог распоряжаться мною, не мог самодурствовать. И когда однажды ночью отомкнули дверные запоры и мрачные охранники приказали мне выйти с вещами, я не только томился близящейся неизвестностью, но и сожалел о покидаемой, уже привычной, камере и даже об уже знакомом Эрди.

Пока я обувался, Эрди смотрел на меня с сочувствием и невыразимым ужасом, потом закрыл глаза и вряд ли открыл их, когда за мной затворилась железная дверь.

Охранники отвели меня на первый этаж и передали двум людям в штатском. Те надели мне наручники и сделали знак тюремщику следственной тюрьмы, который с подобострастной поспешностью отворил перед ними дверь, отдал честь. Угебисты едва заметили его приветствие; они вообще, в лучшем случае, вели себя с тюремщиками со снисходительным высокомерием, обращаясь с ними, как феодальный вельможа со слугами.

Меня обдало приятным ветерком, когда мы вышли в прохладную, звездную ночь. Но даже на этой безлюдной улице мне не дано было оглядеться, потому что детективы торопливо затолкали меня в уже поджидавшую их машину. Два моих спутника сели на заднее сидение по обе стороны от меня, надели мне заклеенные бумагой автомобильные очки. Пока машина мчалась с бешеной скоростью через мост Маргит, затем устремилась вверх по будайским горам, я, конечно, вряд ли мог думать о чем-либо, кроме как об угрозах Фаркаша, о его красочных описаниях, как меня заставят вырыть себе могилу и сразу прикончат за то, что я не согласился содействовать УГБ.

Поэтому я испытал почти облегчение, когда — как и в первый день моего ареста — под колесами машины зашуршал песок, а потом в гараже ударил в нос запах бензина, и наконец, в сопровождении обоих детективов, меня повели по лестнице вниз. В подвале с меня сняли очки, наручники, обыскали и втолкнули в первую камеру. Шли часы за часами, но лишь глаз охранника появлялся в определенные промежутки времени в дверном «глазке». Вероятно, и утро было уже на исходе, когда дверь открыли. Два детектива повели меня в башенную комнату.

На этот раз окна шестиугольного помещения не закрывали черные жалюзи; только три нижних четверти окон были занавешены какой-то плотной тканью, вроде покрывала, но через верхнюю четвертушку в комнату вливался свет и воздух. Когда я вошел, откуда-то, не очень издалека, послышался паровозный свисток. Из этого я сделал вывод, что мы находимся на горе Свободы, прежде Швабской горе, где-то неподалеку от гордости народной демократии — детской железной дороги.

Слева у стены стоял письменный стол, за ним сидел рано облысевший, склонный к полноте мужчина лет сорока. В кресле, стоявшем напротив двери, развалился усатый, с темным цыганским лицом следователь; мне показалось, что я уже видел его в подвале на проспекте Андраши. С кушетки, справа от двери, как раз поднялся долговязый молодой человек с темно-русой жесткой шевелюрой и, даже не взглянув

на меня, поддернул свои вытертые до блеска темно-синие брюки и затянул потуже пояс.

Прямо перед дверью стоял узенький столик, рядом с ним стул. Лысый молча указал мне на них, садитесь, мол. Подождал, пока я усядусь, потом густым баритоном что-то спросил. К сожалению, ответить я не мог, так как не понял ни слова. Он говорил по-русски. Должно быть, у меня был озадаченный вид, потому что он засмеялся. Потом со странным, жестким выговором спросил:

— Sprechen Sie deutsch?

Я кивнул. Молодой человек с копной волос, все еще возясь со своим поясом, повторил вопрос громче, а потом рявкнул по-немецки: вы тут не кивайте, а отвечайте четко и ясно, как положено. Я ответил по-немецки:

— Ja, ich verstehe und spreche deutsch.

После этого лысый, при посредстве переводчика, записал мои анкетные данные, а затем обратился ко мне с пространной речью. Я даже не пытался выхватить из нее какие-либо словечки, а просто слушал приятный, звучный голос. Мне показалось, что он и сам покачивается под музыку своей декламации и не столько следит за ее содержанием, сколько за эпическим ее ритмом, и самоупоенно наслаждается звучанием собственного голоса, особенно протяжными виолончельными гласными. Некоторое время спустя он все же замолчал и посмотрел на переводчика. Теперь заговорил молодой человек с буйной шевелюрой.

— Господин полковник говорит... — начал он по-немецки.

Он называл лысого то полковником, то подполковником, но позднее, увлекшись сотрудничеством, переводил уже дословно, забыв о косвенной речи, и, как диккенсовский школьный служитель с деревянной ногой, не только повторял — по-немецки, конечно, — слова своего начальника, но подражал его интонациям и даже жестам. Однако сейчас, в самом начале, он лишь бесстрастно излагал его речь.

Я узнал, что подполковник будет допрашивать меня от имени Всесоюзной коммунистической партии, от имени советской власти. По важнейшему делу, касающемуся не только венгерской партии, но интересующему также и братскую советскую партию. Я должен отвечать на вопросы искренне, без каких-либо уверток. От венгерских коллег ему известно, что до сих пор я с ослиным упрямством все отрицал. Этому конец. Он предупреждает меня, что в его распоряжении имеются гораздо более действенные средства, чтобы заставить меня говорить, нежели у венгерских товарищей. Если я поведу себя правильно, то использовать их он не будет. Напротив. Он желал бы обращаться со мной дружелюбно. Как он понимает, я, собственно говоря, плыву по течению реки, на одном берегу которой мир социализма, а на другой — империализма. Но он хочет спасти меня, не дать утонуть, он бросает мне спасательный круг, ко-

торый поможет мне выбраться на социалистический берег. Конечно, если я буду сопротивляться, то утону. Но и мне следует проявить готовность, добрую волю. Поэтому он спрашивает меня: намерен ли я наконец говорить правду. Только правду, ибо ничто иное его не интересует.

Река, эта часто повторявшаяся в дальнейшем метафора, и благосклонное намерение мне помочь, не сулили ничего хорошего. Самый факт, что я нахожусь в руках русского МГБ, лицом к лицу с офицером относительно высокого ранга, нанес последний удар прекраснодушным предположениям, с которыми я окончательно еще не расстался, несмотря на все уроки двухмесячных курсов. До сих пор я все еще полагал возможным, что все эти аресты предприняты самим УГБ, намеренным одержать победу в какой-то мне не известной локальной борьбе за власть. Однако появление МГБ делало это предположение невероятным, больше того, оно исключало и другое допущение — что русские, возможно, хотят быть только арбитрами: будь это так, они навряд ли дожидались бы, чтобы УГБ арестовало коммунистического министра, генерала, партийных работников самого высокого ранга, поставив советские органы безопасности перед свершившимся и непоправимым фактом. Итак, становилось очевидным, что УГБ действовало с согласия советских секретных служб, при полном взаимопонимании с русскими, если не по их указаниям. Поэтому, стараясь понять степень и характер русско-венгерского сотрудничества, я, отчасти инстинктивно, отчасти обдуманно, ответил на риторический, в общем-то, вопрос подполковника так: я и прежде говорил только правду, не собираюсь менять эту позицию и впредь. Но, добавил я, до сих пор мои следователи требовали от меня прямо противоположного. Их интересовало все, кроме фактов.

Подполковник смерил меня взглядом, сказал что-то, и переводчик, вдвое усилив звук, прогремел:

— Не провоцируйте меня! Вы крепко поплатитесь, если вздумаете провоцировать!

Лысый махнул рукой, переводчик тоже махнул рукой, затем, после паузы, подполковник все же стал расспрашивать меня о моих следователях. Я не слишком щадящим и не слишком лестным образом стал характеризовать Фаркаша. Однако подполковник не затыкал мне рот, лишь иронически улыбался, делал какие-то замечания, возможно, на мой счет, а может, и на счет Фаркаша, не знаю, переводчик этого не переводил. Потом речь зашла о следователе из комитата Ваш, который в первые дни моего ареста рассказал, мне в поучение, что однажды где-то в Советском Союзе был совершен акт саботажа; под подозрением оказались три человека, но, поскольку ни один из них не признал вину, всех подозреваемых пришлось казнить. Я чувствую себя, добавил я, в положении такого вот невинно подозреваемого.

Подполковник с деланной искренностью возмутился. Быть такого не может, объявил он, чтобы кто-нибудь, а тем более офицер УГБ, рассказывал мне подобные небылицы.. Потому что офицер УГБ знает: такого в СССР не бывало и быть не может. Всю эту историю выдумал я. Но даже если не так, и я ей поверил, значит, я такой же злодей, идиот и дегенерат, как и тот, кто мне это рассказал. Подполковник вытер вспотевший лоб, потом что-то сказал по-русски развалившемуся в кресле детективу с цыганской физиономией. Тот с готовностью вскочил, вышел и вскоре вернулся, неся поднос с горой сэндвичей и чаем.

Мой русский следователь и позже использовал этого цыганистого парня лишь как посыльного и официанта. Но отношения между офицерами МГБ и детективами из УГБ — что я наблюдал впоследствии много раз — были такие же, как и отношения между детективами УГБ и тюремщиками прокурорской тюрьмы. Когда русские обращались к венграм, те услужливо и заискивающе улыбались. Они подобострастно и неумеренно громко хохотали при самых плоских шутках офицеров из МГБ, которые в сознании своего советского превосходства обращались с венгерскими угебистами с тем же презрительным высокомерием, как сами угебисты — с тюремными надзирателями. Таким образом, мне представился случай пополнить ценными сведениями свои представления о протоколе, полученные во время службы в МИДе, а кроме того, я вынужден был признать, что мои отсталые взгляды на равенство людей нуждаются в срочной ревизии, ибо прогрессирующий социализм давно уже переступил через них.

Лысый положил передо мной два сэндвича и пачку венгерских сигарет. Сам он не только писал паркеровской ручкой, но и сигареты курил американские, однако, храня верность международной пролетарской солидарности, прикурил от спички из польского коробка, а из еды особенно охотно выбрал бутерброды с венгерской салями. С жадностью их пожирая, он объявил: хватит заниматься пустой болтовней, приступим-ка лучше к делу. После чего взял вечное перо и придвинул к себе бумагу.

Допросы советского подполковника отличались от допросов венгерского коллеги в двух существенных направлениях. Сам подполковник резиновой дубинкой не размахивал, не прибегал и к другим методам пыток. Этот объем работы его конторы — как я позднее мог убедиться на собственном опыте — он предоставлял своим венгерским подручным и даже не присутствовал при экзекуциях, чтобы проверить профессионализм исполнения. Но уже в первый день еще больше, чем отсутствие дубинок, поразило меня то, что подполковник интересовался не только обстоятельствами, которые могли бы как-то связать воедино ложные обвинения, но и самой действительностью.

До мельчайших деталей я должен был отчитаться о детском моем окружении, о том, в каких школах учился, об университетских годах, не только о моем участии в студенческом движении, но также о моих студенческих курсовых и прочих работах, ну, и естественно, о Ласло Райке. Однако подполковник не представлял себе, сколь мизерны были размеры подпольных организаций, сколь примитивны — их методы, в русском же подполье, уже по возрасту своему, он не мог принимать участия; его вопросы говорили о том, что его сведения почерпнуты исключительно из романтических рассказов, высокопарных пропагандистских творений; поэтому бедную нашу действительность он постоянно сопоставлял со своими идеализированными представлениями и без конца недоверчиво качал головой.

Поначалу он время от времени будил дремавшего в кресле следователя, чтобы спросить у него, соответствует ли действительности та или иная часть моих сообщений, но цыганистого вида парень — хотя по возрасту вполне мог бы участвовать в нелегальном венгерском коммунистическом движении — знал о нем даже меньше того, что мог бы уловить в любой корчме, прислушавшись к пьяным разговорам; а ведь на обязательных семинарских занятиях ему, надо полагать, пытались вбить в голову хотя бы несколько фраз и облагороженных для дальнейшего употребления сведений. Если лысый спрашивал его о чем-то по-русски, детектив сперва по-венгерски спрашивал у меня, как отвечать, и только потом, сопя и запинаясь от натуги, давал запрошенные разъяснения. Некоторое время спустя подполковник перестал консультироваться со своим советчиком, а только время от времени посылал его за чаем. Но теперь он уже резко и все больше повышая голос пытался внушить мне, что и в студенческом движении, и после я был полицейским агентом. Лохматый переводчик еще громче, чем его лысый начальник, переводил вопросы и инсинуации, а я тоже, отвечая, орал во все горло. Часто мы орали все трое одновременно. Башенная комната сотрясалась от нашего крика, напоминая толкучку, где каждый нахваливает свой товар, стараясь перекричать другого.

Когда мы выбились из сил и окончательно зашли в тупик, подполковник неожиданно замолчал, затем процедил сквозь зубы три русских слова, намекающих на инцест, которые, наряду с «хлеба», «часы» и «давай», знали все жители Венгрии, независимо от возраста и пола. Он взглянул на свои часы и встал. Вероятно, было время обеда. Меня отвели в подвал. Еды я, правда, не получил и часа через полтора с урчащим животом опять сидел за маленьким столиком; и все же я был доволен, что лысый продолжил допрос спокойным тоном и беспристрастно расспрашивал о Ласло Райке, старательно записывая мои ответы. Я уже готов был вообразить, что дальнейшее дознание пойдет таким же вполне законным образом, действительно устанавливая лишь факты, как вдруг подполковник

без всякого перехода так рявкнул на меня, что даже венгерский следователь подскочил в своем кресле. Переводчик заорал по-немецки:

— Вы должны были знать, что Райк полицейский доносчик! Вы мне тут комедию не ломайте!

Опять мы орали все трое, кто кого перекричит, и опять подполковник прекратил перепалку, предложив в самом народном стиле отправиться к такой-то матери, а затем снова обратился ко мне с длинной речью. Райк уже признался, что был провокатором. Естественно, я не мог об этом не знать, по крайней мере, должен был подозревать его. Однако я не сообщаю им никаких данных, ни даже своих догадок, которые непременно должны были у меня возникнуть, значит, я не хочу помочь следствию. А это свидетельствует о моей недобросовестности. Подполковник опять вернулся к сравнению с рекой: он бы вытащил меня на социалистический берег, но что делать, если я не желаю ухватиться за спасательный круг.

А ведь вот Радек. Да, он совершил тяжкие преступления — но после московских троцкистских процессов все же остался в живых, просто потому, что во время допросов и в ходе судебных заседаний чистосердечно раскаялся и, не жалея ни своих товарищей, ни себя, признался во всем. За это в тюрьме получил возможность читать, писать книгу, а после освобождения — достаточно значительную должность, мог жить и работать как честный советский гражданин[37]. Подполковник поминал и другие имена, политиков, ученых, назвал и авиаконструктора, который также попался в сети врага, но поскольку не стал упрямиться, то быстро вышел на свободу, снова приступил к работе, теперь он — герой Советского Союза[38].

Конечно, такие как я, непосвященные, и представления не имеют, как точно осведомлены даже о самых незначительных вещах советские «органы». Поэтому цель расследования, помимо уточнения деталей, в немалой степени состоит в том, чтобы установить, отношусь ли я к неисправимым или все-таки, возможно позднее, смогу влиться в общество, как, например, упоминавшийся уже авиаконструктор. На все это я ничего не сказал, хотя лысый, по-видимому, ждал ответа, потому что некоторое время молчал и вдруг злобно рявкнул:

— Вы уже сидели в клетке?

Я сказал, что нынешнюю мою камеру иначе и не назовешь. Подполковник только рукой махнул, махнул рукой и переводчик.

— Я говорю о такой клетке, — перевел он, — в которой сидеть можно только на корточках, ноги вытянуть нельзя, и голову поднять нельзя, иначе стукнешься о потолок. Провести в такой клетке пять-шесть деньков, да без еды, без воды, не такое уж удовольствие. Вы это уже испытали?

— Нет, — ответил я, — в такой клетке я еще не сидел.

— Ну так будете! — захохотал подполковник; переводчик вторил ему и вовсе оглушительно.

Меня увели. В клетку я, правда, не попал, но четверо следователей, доставив меня на первый этаж, с громкими воплями и угрозами набросились с дубинками; атака продолжалась относительно недолго. Больше было дыма, чем огня; очевидно, они получили приказ попугать меня, но особых травм не причинять. Меня берегли. Должно быть, считали уже деталью, готовой к употреблению. Это было щадящее и почти символическое в сравнении с прежними избиение, но тем мучительнее оказалось мое следующее посещение следственной комнаты первого этажа.

Не помню, когда именно это произошло, утром ли, днем ли, но зато так и вижу перед глазами, даже сегодня, это огромное жестяное корыто, на три четверти заполненное водой, которое втащили следователи. Мне приказали раздеться догола. Затем электропровод от какого-то аппарата опустили в воду, а меня усадили в корыто. После чего стали прикладывать в моему телу второй электрод, сначала к спине, потом ко все более чувствительным, нежным местам, особенно — к тем, что покрыты слизистой оболочкой. Напротив с резиновой дубинкой в руке стоял немолодой, крепко сложенный следователь; его короткие рыжие волосы, колючие рыжие усы почти светились в полумраке. Рядом с ним, также вооруженный дубинкой, стоял, широко раздвинув ноги, атлетического сложения смуглолицый молодой человек с бычьей шеей. Остальные ласково называли его Чопи — Малыш. Всякий раз как я невольно подскакивал от электрического разряда, Чопи и с напарником били меня дубинками по плечам и втискивали обратно в воду.

Не знаю, чего ожидал подполковник от этого интермеццо с корытом; как до, так и после опытов с электричеством он вел себя одинаково — тогда он спокойно отнесся к тому, что я отказался признать себя полицейским агентом, теперь же смирился с тем фактом, что я не сообщил им ни доказательств, ни хотя бы своих подозрений относительно провокаторской деятельности Райка.

Не думаю, чтобы этот русский с поповским лицом по характеру своему был садистом, в нем скорее ощущалась склонность к мягкости, чувствительности. На следующий день, вернувшись в кабинет после обеда, он положил передо мной три завернутых в белую бумагу абрикоса. Мне казалось, я обнаружил в нем некий след гуманности, желание чем-то одарить человека, которое проявлялось не столько в фактах, подобных только что упомянутому, сколько в том, каким образом он это делал. Допускаю даже, что он подверг меня пытке электрошоком не со зла, может быть и не по своей воле — просто выполнял некий обязательный ритуал. Думаю, будь подполковник сам себе хозяин, он удовлетворился бы тем, что отбирал бы у меня сигареты, что часто и делал, если мой ответ не удовлетворял его, а, тем более, раздражал. Подполковник и сам был пленником, хотя по-иному, чем я. Только он об этом не знал или не хотел знать.

Дни шли за днями, мы спотыкаясь брели по дорогам моей жизни из Будапешта в Париж, из Парижа в Буэнос-Айрес, из Буэнос-Айреса опять в Будапешт. В башенной комнате нередко появлялись другие русские офицеры, чаще всего двое — высокий лысый мужчина с интеллигентным лицом и низенький, с военной выправкой человечек, похожий на сержанта, которого переводчик, однако же, называл полковником. Они тоже задавали мне вопросы с помощью переводчика и явно подстегивали, торопили моего подполковника. В ответ последний лишь разводил руками и кивал в мою сторону. Однако, когда мы добрались до последнего этапа моего пребывания в Аргентине, он заметно оживился. Очевидно, он был знаком с писаниной Фаркаша и с особым вниманием изучил то, что относилось к датчанке, у которой я беседовал с англичанином о моем возвращении на родину.

— Ну, это же ясно, как дважды два! — воскликнул подполковник. — Этот англичанин и переправил вас домой, он вас и завербовал!

— Англичанин, — напомнил я подполковнику мой только что прозвучавший ответ, — старался убедить меня как раз в обратном, говорил, что я совершу форменную глупость, если вернусь в Венгрию. Но русский офицер долго хохотал и жестами дал мне понять, что эта деталь его не интересует и он, наконец-то, чувствует себя победителем.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал он терпеливо, — формально не завербовал. Это дела не меняет. Ну-ка, поглядим, о чем вы толковали с вашим джентльменом?

Я никак не мог воспроизвести дословно нашу беседу с англичанином, помня о ней лишь в самых общих чертах. Одно помнил точно: в ответ на его резоны я старался объяснить ему, что нас, воспитанных на Западе венгров, быть может, ждет особенная задача, даже миссия, и увильнуть от нее с моральной точки зрения, можно сказать, немыслимо. Потому что, как ни мала наша страна, как ни мало значит она в мировой политике, все-таки она могла бы оказаться полезной и — опираясь на амбивалентные традиции — построить мост между Востоком и Западом, найти синтез двух образов мыслей, двух форм жизни и, таким образом, уже самим своим существованием смягчить, быть может, почти неминуемую после войны напряженность.

— Построить мост! Найти синтез! — вскричал подполковник. — Да вы скажите без маскировки и лицемерия, скажите ясно: Венгрия должна была стать буферной зоной, плацдармом для нападения на СССР!

— Как раз наоборот…

— Бросьте, — оборвал меня подполковник, — неважно, как назвать ребенка, важно, что такая мысль могла родиться только в уме агента империализма.

— Не могу обнаружить между тем и другим никакой причинно-следственной связи, — ответил я, — и, сказать по правде, я и сейчас не стыжусь этой идеи.

— Весьма характерно, — задумчиво, но удовлетворенно кивнул подполковник. — И вы все еще полагаете это возможным?

Мне пришлось признать, что я в этом все больше сомневаюсь. Я не упомянул, что за минувшую неделю из-за второстепенной, собственно говоря, сцены, мои сомнения, по сути, превратились в уверенность. И сцена эта, продолжил я про себя, пожалуй, несколько патетически обобщая, пролила свет — а, вернее, набросила тень — не только на минувшие месяцы, но и на судьбы, ожидавшие арестованных, и даже на будущее страны.

Случилось же вот что: примерно за четыре дня до этого допроса в башенную комнату вошел небольшого роста мужчина. На нем был простого кроя сталинский френч, но отливавшая серебром ярко-синяя ткань была, несомненно, западного происхождения, свидетельствовавшая также о том, что ее изготовители предназначали материал для дамских костюмов. Вошедший пригладил вызывающе курчавые седые волосы, на лице забавно торчал красный нос, издали выдававший хронического алкоголика. Подполковник по-военному вскочил и глухо, по-немецки, выдохнул в мою сторону.

— Встаньте! Вы тоже встаньте!

Красноносый о чем-то пошептался с моим следователем, проглядел лежавшие на столе запись, покачал головой, смерил меня взглядом и вскоре покинул башенную комнату. Подполковник предупредительно отворил перед ним дверь. Венгерский следователь, с момента появления плотного мужчины превратился в соляной столб и неподвижно застыл у своего кресла, а переводчик скромно отступил к стене. Подполковник, снова сев за стол, некоторое время молчал, потом почтительно, без помощи переводчика, сказал по-немецки:

— Этот господин поважнее вашего Хорти. Он и есть настоящий правитель. — Немного подумал, продолжать ли, потом добавил: — Потому что ваш Хорти был правителем только Венгрии, верно? А он! Он — правитель Венгрии, Австрии, Германии, Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии и Албании. Одним словом, если не знаете, так знайте: товарищ генерал-лейтенант — руководитель госбезопасности всей Юго-Восточной Европе.

В тюрьме, где одним из наших развлечений было из отдельных сцен, частностей, данных и подслушанных слов реконструировать детали сфабрикованного процесса, я узнал, что тогдашнего правителя Венгрии звали Федор Белкин[39] и трон его находился в Бадене, что под Веной, где располагалась резиденция МГБ.

6

ЗАГОТОВКИ

После восьми дней, проведенных с русскими, я часто путешествовал в автомобиле, иногда даже без заклеенных очков, иногда в наручниках, а то и без них, между тюрьмой на улице Марко и Управлением госбезопасности. По несколько дней проводил то в подвале на проспекте Андраши, то в следственной тюрьме, то в подземной камере какой-нибудь конспиративной виллы.

В то время я побывал в самых разных отделах УГБ. Следователи, хотя иной раз и с угрозами, но в общем подчеркнуто беспристрастно, даже цивилизованно расспрашивали о моих венгерских и зарубежных знакомых, о венгерских и особенно зарубежных впечатлениях; казалось, они просто хотят пополнить свои архивы надежными и соответствующими действительности сведениями. Ни о Ласло Райке, ни о позднее обвиненных по делу Райка, ни о выдвинутых против меня обвинениях не было речи. Самое большее, делались намеки или задавались вопросы, свидетельствовавшие либо о неосведомленности, либо о чисто личном любопытстве.

Было очевидно, что после такого рода отклонений мы вскоре вернемся на главное направление и быстренько выйдем прямо к цели. В напряженном ожидании я почти не мог должным образом оценить этот зачастую спокойный, не слишком грубый тон и даже не особенно радовался тому, что в подвалах на проспекте Андраши стали кормить несколько иначе. Ежедневное меню уже не ограничивалось утренней баландой и дневной порцией фасолевой затирухи, достаточной разве что для кошки; теперь за завтраком следовал обед, состоявший, как правило, из отварной, с уксусной приправой, картошки с вываренной говядиной, а под вечер охранники просовывали узникам в дверное окошко какую-нибудь похлебку или гарнир, в конце же недели — иной раз даже шкварки или сыр.

Арестантов подкармливали, чтобы — как выразился позднее майор Каройи, — мы были похожи на людей, когда предстанем перед публикой. Потому что на этом втором этапе *реализации*, когда специалисты занялись кропотливой работой по подгонке заготовок, они заботились и о том, чтобы заготовки эти, по крайней мере с виду, были в целости и не слишком разительно отличались от тех фотографий, которые так часто публиковались прежде в рекламных целях.

Советские организаторы этой работы теперь уже полностью взяли руководство на себя. Мы, заготовленные детали, передавались в распоряжение периферийных отделов УГБ лишь временно, пока, из сопоставления результатов допросов венгерских следователей и офицеров МГБ, не сложились контуры политического процесса и не были отработаны важнейшие элементы. Постепенно, но достаточно быстро, все мы пришли к несомненному выводу: распоряжается нами не венгерское УГБ, а советское МГБ.

После короткого перерыва, когда УГБ проявляло ко мне лишь хладнокровное любопытство, меня снова усадили в машину и доставили на секретную виллу, где до этого я не был ни разу. Из подвала пахнуло не застоявшимся плесенным духом, а запахом свежей побелки. Стены, разделившие подвал на камеры, казалось, были возведены всего несколько дней назад. Справа и слева — по восемь железных, выкрашенных серой краской дверей. По сравнению с моим прежним закутом новая камера показалась просторной. Больше того, к величайшему моему изумлению, там стояла кровать с панцирной сеткой и новехонькими матрацами. Мое удивление еще более возросло, когда охранник протянул мне в окошко сигарету и дал прикурить.

— Вообще-то вы этого не заслуживаете, — сказал он, — потому что вы отъявленный упрямый субъект.

Навряд ли ему сообщили, упрямый ли я субъект или готовый сотрудничать, поэтому я отнесся к его словам просто как к добродушному приветствию и, глубоко затянувшись, улыбнулся ему:

— Не только упрямый, но еще и голодный.

— Хотите немного чечевицы? — тоже ухмыльнувшись, спросил он.

— Не отказался бы, — ответил я, — но не продам за нее свое первородство.

— Ну хватит болтать! — оборвал он меня и захлопнул оконце, но вскоре вернулся с полным котелком чечевицы.

Только на следующий день меня повели наверх. Хотя стекла очков были заклеены, мне все же удавалось искоса кое-что видеть. По крутой деревянной лестнице мы вскарабкались из подвала в холодный чулан. Полки были битком набиты фруктами, в нос ударил запах яблок. Мы прошли холодное помещение насквозь и через какую-то прихожую попали в зал, где я сумел разглядеть сидевших за столами в креслах женщин в пестрых летних платьях и мужчин в рубашках. Вероятно, был обеденный перерыв, и они отдыхали, помешивая в чашечках кофе. Я чувствовал, что они все смотрят, как меня, ухватив с обеих сторон за локти, ведут охранники, но подобное зрелище явно было для них не в диковинку, потому что разговор не умолкал, и я расслышал даже обрывки русской речи.

Из зала несколько ступенек вели в сад. Мы вышли, и тут, впервые со дня ареста, лица моего коснулось жаркое летнее солнце. Спотыкаясь по выложенной булыжниками дорожке между придерживавшими меня за локти охранниками, я едва не расчувствовался от солнечного тепла. Впрочем, по-настоящему расчувствоваться времени не было: сделав лишь несколько шагов, мы вошли в другую виллу, по-видимому, примыкавшей к первой. Мои сопровождающие остановили меня в передней. Один остался со мной, другой куда-то вошел. Пока мы ожидали, из-за закрытой двери вырывались громкие сердитые русские фразы, а затем голос переводчика, который, спотыкаясь и запинаясь, монотонно переводил на немецкий. Я понял лишь несколько слов, но их связи не уловил.

После всего этого я был уверен, что снова увижу русского подполковника. Поэтому удивился, когда в маленькой комнате, где с меня сняли очки, мне весело улыбнулся майор Каройи.

— Ну, как дела? — спросил он. — Что, Сёни все еще лжет?

— Если не отказался от своих показаний, — ответил я, — значит, лжет.

— Нет, не отказался, но это теперь и неважно, — пожал плечами Каройи и указал мне на стул напротив стола. — Садитесь.

Некоторое время он помолчал, потом, вероятно, затем, чтобы усилить напряжение, а не из желания узнать мое мнение, стал расспрашивать, как мне понравилась просторная камера, кровать с матрацем, накормили ли меня, получил ли я сигареты.

— Теперь-то вы живете как барин, верно? — добавил он, словно ожидая благодарности за все, чем меня одарили, хотя я ничего подобного не заслуживаю. — Видите, мы можем быть вполне приятными и дружелюбными! Хотя… хотя русские товарищи вами весьма недовольны…

— А разве они были бы довольны, — спросил я, — если бы я согласился признать себя полицейским агентом и шпионом? Господин майор знает не хуже меня, — продолжал я, — что все это чистая ложь.

Каройи никогда и не притворялся, что верит фальсифицированным обвинениям. Он не настолько меня недооценивал. Собственно говоря, я должен быть ему признателен за то, что он рассеял все мои сомнения относительно природы нашего дела и, тем самым, в немалой степени способствовал моему политическому прозрению. И сейчас не комедиантства ради, а скорей, чтобы подшутить, поддразнить, заметил:

— Ну-ну, все-таки эта датчаночка и английский джентльмен подозрительны. Тут что-то есть…

Я помню каждое его слово, жест, мимику. Помню и то, как он вдруг посуровел и откинулся в кресле.

— А теперь послушайте, — обратился он к сути дела. — Готовится очень серьезный процесс. В Венгрии такого еще не было. Этот процесс будет иметь значение не только для Венгрии, но и для всего мира. Из допросов, проведенных советскими товарищами, уже из самого факта, что эти допросы провели они, вы можете видеть, насколько дело серьезно. А поскольку это политический процесс, то и сама судебная процедура не может проходить так, словно речь идет о краже кур. Вы должны понять это. Вот Себени, например, куда умнее вас.

И тут Каройи поведал мне, что госсекретарем министерства внутренних дел Эндре Себени[40] также занимается он. Себени давно понял, что всякое сопротивление бесполезно, согласился сотрудничать со следователями и даже сам подсказывает им, какое обвинение против него выдвинуть. Поэтому теперь он живет припеваючи, и такое его поведение послужит ему на пользу во время судебного процесса. У меня не было возможности проверить утверждения Каройи, я не имею никаких данных о том, правда ли это, и если все-таки правда, то насколько все же Себени проявил готовность сотрудничать. Несомненно лишь то, что в одном из побочных процессов, связанных с делом Райка, его приговорили к смерти через повешение и приговор привели в исполнение. Но в то время еще ни Каройи, ни, быть может, сам правитель, генерал-лейтенант Белкин, не знали, какая судьба ждет Себени и других обвиняемых. Эти мелкие детали личного характера их не интересовали, поскольку все внимание они сосредоточили на прилаживании заготовок друг к другу. Однако конструкция, по-видимому, еще нуждалась в многочисленных дополнениях и подпорках.

— Будет один главный процесс, — продолжал посвящать меня в детали Каройи, — с восемью — двенадцатью обвиняемыми. Затем последуют дополнительные процессы. Главный процесс будет открытым, остальные пройдут при закрытых дверях. Возможно, вы будете одним из обвиняемых на главном процессе…

Он сделал паузу, наблюдая за произведенным впечатлением. Я старался смотреть ему в глаза по возможности бесстрастно, с равнодушным выражением лица. Внезапно он засмеялся, потом продолжил:

— А может случиться и так, что вас не посадят на скамью подсудимых. Тогда на главном процессе вы только дадите свидетельские показания. Конечно, для вас это было бы выгоднее. Впрочем, я не собираюсь внушать вам ложные надежды, говорю прямо сейчас: после этого, на одном из закрытых процессов, а их будет немало, мы вынесем вам приговор.

Я приметил последнюю фразу майора. Эти слова «мы вынесем вам приговор» означали, что «советские товарищи» и их доверенные лица распо-

ряжаются судьями по своему усмотрению, сами выносят решение, а орган, именуемый народным трибуналом, нужен лишь для того, чтобы огласить приговор или, в случае закрытого процесса, вписать его в секретные документы. Это не было случайной оговоркой. Интонация, с какой майор произнес «мы вынесем приговор», говорила о том, что он продолжает мое воспитание, давая почувствовать, до какой степени я беззащитен.

— И о чем же я должен был бы свидетельствовать? — полюбопытствовал я.

— Да о разном. — Каройи задумался, потом добавил: — Вы ведь помните, в ваши университетские годы вы с несколькими товарищами выпускали журнал?

— Даже три.

— Я имею в виду «Виррадат». Прокуратура его конфисковала. Помните?

Я помнил. Тем более, что на первой странице журнала напечатано было мое символистское стихотворение в прозе, которым позднее я отнюдь не гордился и даже не без благодарности думал о прокуроре, вместе с «Виррадатом» изъявшим из обращения и мои стихи, тем пощадив грядущее и меня от кое-каких досадных минут. Но я и поныне не могу взять в толк, почему все-таки журнал конфисковали; он был, конечно, немного путаный, но с политической точки зрения даже в Венгрии, даже во времена Хорти никак не мог считаться опасным.

— Итак, — продолжал Каройи, — Райк тоже распространял «Виррадат», полиция его схватила и завербовала. Но Райк купил себе свободу, подписав обязательство доверительно сообщать все, что ему станет известно о действиях венгерских коммунистов, политическому отделу полиции. Вы об этом знали?

— Не знал.

— Но вы должны помнить, что после задержания Райк явился в университет явно возбужденным?.. Вспомните, вспомните.

— Возможно, он вернулся взволнованный. Возможно. Все, кто имел отношение к журналу, были обеспокоены. О том, что Райка вызывали, я не знал. Но если вызывали, а на следующий день он выглядел взволнованным, разве это доказывает, что его завербовали?

— Здесь я задаю вопросы, а не вы! — одернул меня майор. — Райк уже признал, что был провокатором. Ведь вам это тоже известно?

Я не стал отрицать, что полковник Фаркаш уже показывал мне документ такого содержания, подписанный Ласло Райком.

— Ну, так и я покажу вам кое-что.

Каройи положил передо мной стопку бумаги и стал медленно листать ее, чтобы внизу каждого листа я мог узнать подпись Райка. Потом вытащил один лист.

— Да хотя бы это... убедитесь сами, стоит ли щадить вашего приятеля. Прочитайте вот это.

Он постучал указательным пальцем по короткому абзацу. В нем Райк изложил то, что позднее, слово в слово, повторил на процессе. В изданной в Будапеште так называемой «Синей книге» приводятся его слова:

К моей шпионской деятельности относилась также и расстановка агентов. Я имею в виду лиц, мною уже называвшихся: Шандор Череснеш[41]*, агент югославской разведки, Бела Сас, агент Интеллидженс сервис, Фридеш Майор*[42]*, сотрудник американской контрразведки, Маршалл*[43]*, сотрудник французской разведки. (Ласло Райк и его сообщники перед народным судом. Будапешт, Сикра, 1949, с. 51.)*

— Ну, что на это скажете? — спросил Каройи и, ехидно на меня глядя, засмеялся. — Но Райк где-то здесь еще подробнее рассказывает, почему он всех вас поддерживал.

Майор опять полистал протокол, потом выложил передо мной еще одну страницу. Правда, на процессе председателю сперва пришлось напомнить Райку ее содержание, но после наводящего вопроса обвиняемый без запинки и с поразительной точностью изложил текст протокола. Поэтому признание Райка я опять цитирую по «Синей книге»:

Председатель: Ваши американские связи как-то повлияли на внедрение Череснеша, Маршалла, Майора, Саса и др.?

Райк: Да. Я забыл сказать, что Мартон Химлер[44] *в конце 1946 года, среди прочего, сообщил мне во время нашей беседы, что я, используя свое положение в министерстве внутренних дел — тогда я уже был министром внутренних дел, — должен постараться, с одной стороны, внедрять на руководящие посты пользующихся их доверием лиц, то есть людей, проводящих американскую политику или завербованных американской разведкой, не только в министерство внутренних дел, но, используя также мое положение в Коммунистической партии, а также место, занимаемое мною в правительстве, постараться разместить таких людей и в других отделах правительственного аппарата. В дальнейшем я, отчасти по этому указанию Химлера, отчасти по другим указаниям — устроил в министерство внутренних дел Шандора Череснеша, который являлся агентом югославской разведки, Ласло Маршалла, завербованного 2-м бюро*[45] *французской разведки, Фридеша Майора, агента американской Си-Ай-Си*[46]*, Белу Саса, агента английской Интеллидженс сервис. (Там же, с. 41—42.)*

— Ну, что скажете?

— Удивительно разношерстная компания, — проговорил я, чтобы скрыть волнение. И добавил: — Что же до распределения ролей, то ведь, кроме меня, во время испанской гражданской войны все трое вместе с Райком до конца сражались на стороне республиканцев; а Мар-

шалл после того еще, за заслуги во французском Сопротивлении и, особенно, в парижском сражении был даже награжден высоким французским орденом…

— А, бросьте, когда они были, эти парижские сражения, — отмахнулся Каройи. — Но все трое — даже четверо, вы ведь тоже заодно с ними, — были друзьями Райка; были, как видите, доверенными лицами полицейского шпика, заговорщика и шпиона. Подумайте же! — Майор повысил голос. — Если вы не круглый идиот, можете сами понять, что против этого признания ваши отрицания ломаного гроша не стоят. Тем более, что мы всегда можем выставить свидетелем Сёни. Вы, почтеннейший министерский советник, должны уже чувствовать веревку на своей шее…

Я подложил под себя обе руки, почувствовав, что они дрожат.

— Послушайте, — после короткой паузы продолжал Каройи, — речь ведь идет не об украденной курице, это политический процесс. Мы хотим нанести удар по империалистам. Вы должны это понять. И обдумать. Времени у вас уже немного…

Он взглянул на меня поверх очков в золотой оправе, собрал листы протокола Райка и приказал меня увести.

После допроса у Каройи я лишь совсем ненадолго вернулся в тюрьму на улице Марко и даже не успел там освоиться, как меня перевезли в штаб-квартиру УГБ.

Внешне дом 60 на проспекте Андраши, правда, не изменился, но внутри его продолжали перестраивать вновь и вновь, потом, словно дети, которым надоела игра, опять все разрушали и восстанавливали прежнее устройство. Машины подъезжали теперь не к главному подъезду и не к боковому входу на улице Ченгери, а с улицы Ченгери въезжали во двор, один угол которого строители УГБ обнесли высокой, чуть ли не трехметровой стеной. Напротив ворот выстроили деревянную башню вроде донжона, и с высоты башни автоматчик мрачным взглядом провожал высаживаемых из машины арестованных. Теперь на главной лестнице я вряд ли мог повстречаться с Габором Петером, так как арестованных вели наверх по выглядевшим временными, но умело проложенным потайным переходам. Однако гораздо более значительные и даже поразительные перемены я обнаружил на первом этаже, где теперь размещались люди из МГБ.

Коридор, ведущий направо от парадного входа, замуровали, оставив лишь узкую железную дверь. Советскую часть заново покрасили, потертую мебель заменили совершенно новой, по коридору проложили ковровую дорожку. В святилище МГБ даже венгерские следователи

могли проникнуть теперь только через эту железную дверь. В нее-то и постучался мой сопровождающий.

На условный стук кто-то глянул в глазок узкой двери. Сопровождающий что-то шепнул, по-видимому, пароль, потому что дверь открылась. Сделав несколько шагов по коридору, мы оказались в небольшом холле. Здесь я должен был ждать. Мимо меня прошествовали русский полковник с физиономией сержанта и интеллектуального вида лысый сотрудник МГБ, потом одна из дверей отворилась, и вышел Вайда, тот молодой угебешник с грубым лицом, который арестовал меня в министерстве сельского хозяйства, допрашивал в башенной комнате, а потом еще и на проспекте Андраши в первые дни моего заключения.

— С этим у меня было много хлопот, — сказал он топтавшемуся в коридоре следователю, указав на меня. Потом повернулся ко мне: — Что, все упорствуете?

В этот момент появился Эрнё Сюч, заместитель Габора Петера, и знаком предложил следовать за собой.

Сюч провел меня в небольшую комнату. Коротко, быстро рассказал о готовящемся процессе. Он употребил выражение Каройи, которое затем, словно лейтмотив аккомпанемента, я слышал все чаще: «Мы хотим нанести удар по империалистам». Мне же, добавил Сюч, если я не на стороне врага, следует отдать себя в распоряжение коммунистической партии, советских товарищей и УГБ. Райк уже все осознал, теперь он ясно видит ситуацию. В чем я сейчас убежусь, и не на основании протоколов, а лично. Потому что сейчас у меня будет очная ставка с Райком.

Мы перешли в кабинет побольше. Райк сидел у дальней стены, скрестив ноги. На нем был не серый летний костюм, в каком я видел его на первой нашей очной ставке, а коричневый, на ногах сандалии, толстые шерстяные носки. Это уже была поблажка, потому что все мы, остальные, ходили в башмаках без шнурков, на босу ногу, в той одежде, в какой были арестованы. Райк был худее, бледнее, чем на воле, но с лица его исчезли те ужасные поперечные борозды. Он улыбнулся мне — приветливо, хотя как-то неловко и горько. Полковник Сюч сел напротив Райка за продолговатый стол, у длинной его стороны, меня же посадил сбоку, затем, к моему удивлению, зачитал из лежавших перед ним документов формальные правила проведения очной ставки. Согласно тексту при очной ставке оба ее участника делают, прежде всего, заявление о том, что в родстве не состоят и враждебности друг к другу не испытывают. Прочитав абзац, полковник поднял глаза.

— Итак, Ласло Райк? — спросил он.

Райк не смотрел на Сюча, он устремил взгляд на меня, его рука приподнялась и горестно опустилась. Оп попытался улыбнуться, потом громко сказал:

— У *меня* враждебных чувств нет. — Это *«у меня»* он произнес с таким нажимом, как будто хотел интонацией подчеркнуть: у него нет причины быть чем-то недовольным, но он понял бы, если бы недоволен был я.

Мои мышцы еще хранили память об ударах током, так что, думаю, входя в кабинет, я представлял собой весьма жалкое зрелище. Мой помятый вид, должное быть, еще усиливал тягостное впечатление, тем более, что на улице Марко я выстирал свою рубашку, но надеть ее не успел, так как она была еще влажной, когда меня увозили, и теперь изпод вытянутого, дырявого пуловера просвечивало голое тело.

Я посмотрел на Райка, и вдруг мне вспомнилась сцена, когда он в университетском коридоре тихо сказал, возможно, патетически по смыслу, но совсем без патетической интонации: «Все напрасно, единственный выход: Ленин». С этими словами молодой историк и встал на путь профессионального революционера. Я смотрел на его впалые, но теперь уже чуть порозовевшие щеки, видел усталые, ищущие моего взгляда глаза и был уверен, что Райк не тешит себя иллюзиями, он знает: его путь завершен.

Карандаш Сюча нетерпеливо постучал по столу.

— А вы? — спросил он. — Вы? — Он торопил меня взглядом, его нога отбивала по полу такт. — Да отвечайте же! Вы враждебно настроены по отношению к Райку?

— Нет, — ответил я, глядя не на полковника, а на Райка.

Мой ответ, таким образом, — как и ответ, только что данный Райком, — собственно говоря, не имел отношения к формальному вопросу положения об очной ставке, и для Сюча не являлось тайной, что оба мы думаем о показаниях моего однокурсника против меня. Но наш диалог полковник пропустил мимо ушей, ведь ни конфликт между нами, ни примирение уже ничего не могли изменить.

Не сделав никаких замечаний, Сюч приступил к чтению заранее заготовленного и перепечатанного набело протокола показаний Райка. Райк в своих показаниях лишь бегло касался наших университетских лет и более поздних встреч, но тем подробнее говорил о том, когда, где и сколько раз мы встречались после моего возвращения на родину. В оргбюро партии Райк, по его словам, предложил направить меня в министерство иностранных дел потому что, с одной стороны, во время наших бесед понял. что я придерживаюсь троцкистских взглядов, с другой же стороны, поскольку ему было точно известно, что в Южной Америке меня завербовала Интеллидженс сервис, таким образом, я вернулся в Венгрию как агент империалистов, и он хотел мне — как собрату — помочь, чтобы моя шпионская деятельность была как можно более плодотворной.

Во время процесса прокурор также черпал аргументы из этого протокола. Райк, — говорил в своей обвинительной речи Дюла Алпари, — организовал широко разветвленную шпионскую службу. «Он засылал на высокие посты, куда только мог, агентов империализма, главным образом, бывших троцкистов, провокаторов и шпионов. Так попал на руководящую должность в министерстве иностранных дел Бела Сас, шпион английской Интеллидженс сервис, направленный ею в Венгрию из Южной Америки» (Ласло Райк и его сообщники перед народным судом. Будапешт, Сикра, с. 10).

В протоколе за показаниями Райка следовали мои. Помимо обычных данных и соответствовавших действительности событий, этот текст, насколько я помню, просто обобщил, причем на основании записей, сделанных советским подполковником, каким образом на квартире моей знакомой датчанки я встретился и беседовал с английским джентльменом о моем возвращении на родину. Поскольку, кроме высказываний третьих лиц, зафиксированных в косвенной форме, протокол не содержал даже намеков, которые подтверждали бы, что я «заслан» на родину, документ, собственно говоря, уже этим отсутствием доказательств противоречил высказываниям Райка. Тем более, что в моем протоколе так и не нашлось места для обвинений меня в шпионаже или хотя бы в попытке шпионажа.

Я искоса посмотрел на Сюча. Он растолстел с тех пор, как я его видел в последний раз. Его мундир, туго обтягивавший живот, вибрировал, а по линиям пуговиц жир вздувался под тканью кольцами, напоминавшими камеру мотоцикла.

Пока полковник с явным удовольствием отчетливо зачитывал протокол, я, видя его ничем, на мой взгляд, не оправданное самодовольство, вдруг осознал, что опровергающие друг друга утверждения смонтированы в протоколе с той целью, чтобы позднее я не посмел ссылаться на противоречивость этих двух показаний и был бы вынужден вести себя, как те придворные короля из Андерсеновой сказки, которые, холодея от ужаса, расхваливали плащ шествовавшего голым короля. Но ведь даже по волюнтаристской логике русских следователей, продолжал я размышлять, эти два взаимоопровергающих документа не могут быть в полной мере использованы в качестве подтверждения обвинений. Если и я предназначен для открытого процесса, они этим не удовлетворятся. Если с помощью моих показаний МГБ хочет «нанести удар по империалистам», то я должен рассказать не только то, что в Южной Америке беседовал о своем возвращении на родину с англичанином, чьей фамилии даже не помню, но «чистосердечно» признаться, кому, когда и какого рода шпионские сведения поставлял.

Но в таком случае эта очная ставка — не окончание, а начало. Не что иное, как только подход к констатации фактов *по существу.* Здесь люди

правителя сделают разве что передышку, но на этом не остановятся. Возможно, опять извлекут показания Сёни о загадочном Вагнере, вернутся к Петеру Хайну, полковнику Карачоню. Снова ввергнут меня в состояние, в котором я пребывал в первые дни и ночи после ареста, чтобы выдрессировать из меня настоящего, добросовестного и усердного шпиона. Хотя я с ужасом подозревал, что во второй раз всего этого не выдержу ни физически, ни духовно, мною, тем не менее, овладело странное равнодушие, бездумное спокойствие, я даже со злорадством стал пересчитывать содрогавшиеся при каждом слове жировые складки Сюча.

Закончив чтение протокола, полковник посмотрел на нас и бросил небрежно:

— Ну, подписывайте.

Райк подошел к столу и сходу расписался на всех страницах протокола, в том числе и на тех, которые следовало подписать только мне, поскольку они содержали якобы мной сообщенные сведения. Сюч обратил на это внимание только тогда, когда передвинул стопку ко мне. Он укоризненно глянул на Райка.

— Что ж это вы, — сказал он, — уж вам-то следовало бы знать…

А он, наверно, и знал. Возможно, небрежной своей подписью как бы давал понять: ему уже безразлично, что подписывать; и он не станет возражать, какую бы напраслину я на него не возвел, если это поможет мне в моем положении. Возможно, он сделал это непроизвольно. Он даже не глядел на листы, ему было уже все равно, что происходит вокруг.

Наступил август. Подготовка к процессу шла с лихорадочной быстротой. Правда, газеты еще молчали, но в узком кругу, на партийных собраниях кичившиеся своей осведомленностью функционеры нет-нет да роняли туманные слова о подрывной работе уже арестованных агентов империализма; да и сам генеральный секретарь Матяш Ракоши время от времени доверительно информировал членов Центрального Комитета партии об отдельных поразительных поворотах следствия. Так, один позднее арестованный и тоже осужденный бывший член ЦК рассказал в тюрьме: Ракоши с удовлетворением сообщил о том, как совершенно спонтанно по всей стране являются свидетели, готовые дать показания против лиц, задержанных по делу Райка. Например, бывший начальник тюрьмы в Шаторальяуйхее, услышав, правда, с опозданием, что арестован заместитель заведующего отделом кадров компартии Андраш Салаи, тотчас ощутил потребность довести до сведения УГБ, каким образом он опутал в свое время Салаи, который в последние годы войны был заключенным в Шаторальяуйхее; он рассказал, как Салаи стал доносчиком и как выдал, среди прочего, план югославских парти-

зан и других политзаключенных организовать бунт и побег из тюрьмы. Фашистские власти, таким образом, успели подготовиться и перебили сразу 65 бунтовщиков. Поэтому Салаи не только югославский шпион, но и один из виновников массового уничтожения людей. Все это, может быть, навсегда осталось бы нераскрытым, если бы население страны не поддержало партию и Лайош Линденбергер — именно так звали бывшего начальника тюрьмы — не явился неожиданно для дачи показаний.

Когда глава партии рассказывал об этом членам ЦК — насколько мне удалось определить, задним числом сопоставляя даты, — я ворочался без сна на жестких дощатых нарах 29-й камеры на проспекте Андраши, 60, и не мог заснуть, хотя было уже давно заполночь. Поэтому я обрадовался, когда дверь моей камеры отворилась и охранники втолкнули низенького, сильно облысевшего пожилого мужчину. На моем новом соседе была холщовая куртка, двигался он по-стариковски опасливо. При свете лампочки весь он выглядел серым — одежда, остатки волос, маленькие глазки, цвет лица. Ему было лет шестьдесят пять. Он робко, тревожно огляделся вокруг, затем опустился на свободный лежак напротив меня.

— Ты кто? — спросил я тихо, начиная разговор согласно тюремному этикету.

Однако старик не ответил. Он уставился на оконце в крашеной коричневой краской двери. Когда я повторил вопрос немного громче, полагая, что он, может быть, туговат на ухо, мой сосед содрогнулся, затем быстро перевел глаза с двери на мое лицо, с меня на стену, со стены опять на дверь и лишь много спустя прошептал едва слышно:

— Так здесь говорить разрешается?

— Я не спрашивал, — сказал я, — но если нас поместили сюда обоих, значит, скорей всего понимали, что мы не будем держать рот на замке.

— Кто его знает… — покачал он головой и опять устремил взгляд на дверное оконце...

Поэтому я не стал задавать ему следующий ритуальный вопрос: «За что посадили?», считая, что следует с пониманием отнестись к опасливости испуганного человека. А он, даже не посмотрев на меня, языком ловко вытолкнул изо рта искусственную челюсть и предусмотрительно спрятал ее в нагрудный карман. Затем молча растянулся на досках.

Его скованность, хотя и не сразу, но к концу следующего дня всетаки начала проходить. А после утренней похлебки мы даже представились друг другу. Моего соседа звали Лайош Линденбергер, жил он в Шаторальяуйхее, где он когда-то был начальником тюрьмы. Три недели назад ярким солнечным днем перед его домом остановилась черная машина. Из нее вышли трое. Они назвались следователями государствен-

ной безопасности и вежливо попросили господина Линденбергера поехать с ними. Они отнимут у него не более получаса, нужно просто уточнить некоторые свидетельские показания. Бывший начальник тюрьмы, без шляпы, с которой, между прочим, по своей консервативности, никогда не расставался, и без плаща, который и в жаркие дни он всегда брал с собой, перекинув его через руку, словом, одетый как был, по-летнему, сел в машину, надеясь к ужину возвратиться.

Первой неожиданностью для него было то, что машина взяла курс на Будапешт, вторая же постигла его в центральном здании УГБ на Андраши, 60, когда у него стали допытываться о каком-то Андраше Салаи, якобы бывшем заключенным шаторальяуйхейской тюрьмы. Хотя до того момента отличная память никогда ему не изменяла, он все же не мог припомнить, чтобы в указанное время его попечению вверили заключенного с такой фамилией. Тогда следователи положили перед ним фотографии. Они снова и снова тыкали в фотопортрет мужчины с пышными усами и сердились, уверяя, что он не может не узнать его. Линденбергера по полдня заставляли стоять у стены, угощали зуботычинами, но все было тщетно: он не знал этого усатого человека и тем менее способен был опознать в нем также не известного ему Андраша Салаи.

Наконец, совместными усилиями изобретательных следователей и запуганного свидетеля загадка была решена. Андраша Салаи прежде звали Эрвином Лендлером, а Лендлер действительно отбывал тюремное заключение в 1943-44 годах в шаторальяуйхейской тюрьме. У Линденбергера камень упал с души, потому что следователи, по-видимому, удостоверились, что их свидетель действительно не мог угадать в здоровяке со сталинскими усами, каким выглядел в это время Салаи, тогдашнего молокососа Лендлера.

Однако чувство облегчения длилось минуты. Когда выяснилось, что Андраш Салаи, заместитель заведующего отделом кадров компартии, и Эрвин Лендлер, некогда отбывавший тюремное заключение в Шатораьяуйхее, одно и то же лицо, следователи пожелали любой ценой добиться от Линденбергера показаний, что ему удалось сделать Салаи стукачом.

Салаи-Лендлер проявил себя узником тихим, примерного поведения, — рассказывал бывший начальник тюрьмы, — поэтому он и определил его конторщиком в прачечную, а вовсе не потому, что ожидал от него доносов. Ни Салаи, ни кто другой не доносили ему о каком-либо готовящемся побеге. Да если бы он узнал нечто подобное, уже из одного только профессионального самолюбия постарался бы сорвать этот замысел. Он тут же выловил бы зачинщиков, которых якобы назвал ему Салаи, устроил бы разбирательство, предпринял все меры предосторожности, наконец, попросил бы усилить охрану, но ни в коем случае

не допустил бы, чтобы неизвестные воинские соединения из автоматов расстреливали за воротами тюрьмы беглецов.

Напрасно он толковал это следователям УГБ, продолжал Линденбергер, и даже русским. Потому что с некоторых пор допрашивает его офицер советского МГБ — в другой части здания, за железной дверью. Этот тоже ставит его к стене, бьет по лицу, выкручивает ухо и орет, все время орет на него. А переводчица, плотная, креольского типа женщина — не сказать, чтобы некрасивая — еще и подначивает русского. Да как же можно так обращаться со свидетелем?

— И что мне теперь делать? — спрашивал серый человечек. — Ведь если я скажу, что Лендлер был моим соглядатаем и предупредил о готовящемся побеге, это будет ведь лжесвидетельство, значит, я совершу тяжелое, уголовно наказуемое преступление, что может повлечь за собой катастрофические последствия. А если откажусь засвидетельствовать...

Линденбергер содрогнулся и устало махнул рукой. Эта дилемма, по-видимому, все еще мучила его даже во время процесса. На вопрос, какова была его должность в 1943—1944 годах он ответил робко, чуть слышно. Допрос его — согласно изданной в Будапеште «Синей книге» — продолжался так:

Председатель: Вы умеете говорить и громче, в тюрьме вы говорили, наверное, не так тихо! Какими последствиями обернулось для политических заключенных то, что Андраш Салаи донес вам о готовящемся побеге? Вы это помните?

Линденбергер: Да.

Председатель: Говорите!

Линденбергер: В январе 1944 года Андраш Салаи впервые доложил о том, что сербские политзаключенные постоянно шушукаются друг с другом и обсуждают какой-то план побега. Это донесение Андраш Салаи повторил в феврале 1944 года более конкретно, когда речь уже шла о прорыве и побеге, а также назвал имена организаторов. Прорыв произошел 21 марта 1944 года и было это так: сербы, политические заключенные, напали на охранников, обезоружили их и взломали ворота. Через взломанные ворота, однако, вырваться сумела только четвертая часть бунтовщиков, потому что тем временем подоспели заранее предупрежденные саперные роты под командой военного прокурора, подполковника Йожефа Бабоша; неожиданно оказавшись у стен тюрьмы, они задержали большую часть готовых прорваться заключенных и оттеснили их назад, в камеры. После этого бросились на поимку уже вырвавшихся за ворота семидесяти пяти осужденных и, преследуя их, 54-х убили. Двадцать одного человека поймали. Их доставили обратно в тюрьму, а 26 марта состоялось заседание военного трибу-

нала, и 11 из этих двадцати одного человека были казнены. (Там же, с. 209.)

Салаи с готовностью признался в стукачестве и даже дополнил показания начальника тюрьмы, рассказав о других своих, менее значительных, но постоянных доносах. Народный суд на специальном совещании приговорил обвиняемого Андраша Салаи к высшей мере наказания — смертной казни. Суд позаботился также о том, чтобы и после исполнения приговора защитить общество от шаторальяуйхейского доносчика и потому на десять лет лишил Салаи, вскоре и в самом деле казненного, всех политических прав, подчеркнув, что до истечения этого срока он не вправе занимать какие-либо официальные посты. (Там же, с. 257.)

После окончания открытого процесса судили и Линденбергера. На закрытом заседании ему был вынесен суровый приговор. Серый человечек в сером костюме, с серыми волосами, серым лицом, «стихийно объявившийся» свидетель Матяша Ракоши, больше никогда не увидел шаторальяуйхейских холмов. Смерть настигла его в тюрьме[47].

Полной противоположностью бывшего начальника тюрьмы был Бела Коронди[48]; седьмой обвиняемый будущего открытого процесса чуть ли не с озорной радостью ожидал последующих событий. Во всяком случае именно так он держался, пока в течение нескольких дней гостил в моей 29-й камере.

Тридцатипятилетний Коронди, с безупречными манерами, с гладким лицом и прекрасной выправкой, выглядел молодым несмотря на седые волосы. Его четкие движения, особенности речи тотчас выдавали в нем кадрового офицера. Он вышел из семьи военных, окончил военную академию, жену взял также из семьи военных. В 1939 году получил назначение в жандармерию. Коронди этому не радовался, с куда большим удовольствием он надел бы форму офицера военно-воздушных сил, но приказ выполнил беспрекословно. Однако в 1945 году он был уже среди партизан, сражался с немцами, в одной из тех частей, которые во время осады Будапешта были отправлены русскими атаковать Цитадель на горе Геллерт. Отряд, как рассказал мне товарищ по камере, в этой безумной фронтальной атаке на крутом склоне горы потерял шестьдесят процентов численного состава.

Однако эта часть биографии Коронди на процессе была опущена. Прокурор Дюла Алпари не упомянул и о том, что заслуги Коронди были оценены — его утвердили офицером новой армии. Напротив, в обвинительном заключении о нем сказано так:

Дёрдь Палфи помог ему пройти проверку и в чине майора внедрил в демократическую армию. Затем Палфи, для усиления шпионской организации Ласло Райка, передал Коронди в министерство внутренних дел, где Райк сделал его полковником полиции. Райк поручил Коронди

где Райк сделал его полковником полиции. Райк поручил Коронди организовать из бывших жандармов, хортистских офицеров, унтерофицеров и прочего фашистского сброда преданный лично Райку батальон, на который он мог полностью положиться в своей деятельности, направленной против Республики». (Там же, с. 21.)

На открытом процессе Коронди говорил об этом:

После того, как я проработал в министерстве внутренних дел полтора года, Ласло Райк в марте 1948 года вызвал меня для доклада. Он поинтересовался численностью внутренних войск, их размещением, уровнем подготовки, пригодности к обучению. По окончании моего доклада он, подчеркивая каждое слово так, чтобы я почувствовал их значительность, спросил, согласен ли я выполнять его личные распоряжения и приказы. Я ответил положительно, и тогда он сказал, что готовит вооруженный путч против демократического правительства и намерен поручить мне формирование отряда, с помощью которого я мог бы арестовать членов правительства, в первую очередь министров Ракоши, Фаркаша и Герё. (Там же, с. 155.)

Согласно показаниям Коронди, после этого он видел Райка только однажды, а именно в октябре 1948 года, в министерстве иностранных дел. Райк подчеркнул, что его планы не изменились и потому настаивал, чтобы Коронди продолжал и впредь сохранять свои позиции в полиции. «Позднее, в апреле 1949 года, — признавался на главном процессе Коронди, — Дёрдь Палфи дополнил это указание, сказав, что, помимо полученных от Райка распоряжений, моей задачей будет взять на себя командование внутренними войсками полиции и этими силами захватить все важнейшие объекты Будапешта, ЦК ВПТ, почту, телеграф, радио, железнодорожные вокзалы, министерства». (Там же, с. 156—157.)

Это бесстрастно прозвучавшее признание Коронди произнес в моей 29-й камере чуть ли не слово в слово и в довершение немного высокомерно, немного иронично улыбнулся.

— Да кто же в это поверит? — недоуменно спросил я. — Разве возможно плести заговор так, чтобы его руководители, словно бы между прочим объявляли почти незнакомому человеку: создайте батальон для ареста членов правительства, а потом, спустя более года, за которые ничего, решительно ничего не произошло, добавить: возьмите на себя также командование внутренними войсками и захватите важнейшие объекты столицы? Как будто вопрос только в том, чтобы принять решение, между тем как в стране, помимо вооруженных сил УГБ и армии, находятся еще и советские дивизии....

— Вот видишь, — засмеялся Коронди, — в этом вся суть. В действительности такое признание — полнейшая чушь, ни одна собака не пове-

рит, чтобы профессиональный военный взялся предпринять такую — даже по младенческой логике идиотскую — попытку путча.

Мой товарищ по камере подробно стал объяснять, что взял на себя эту роль не в последнюю очередь потому, что ни один здравомыслящий человек в такую сказку о путче ни за что не поверит; а если все-таки, чем черт не шутит, если все-таки и поверит, ни в коем случае не сочтет опасной. Ведь на процессе ни слова не будет сказано о том, чтобы кто-то хотя бы назначил дату путча или действительно приступил к подготовке государственного переворота. И вообще в такой дурацкой попытке — потому что эта легенда о заговоре даже юридически, в самом крайнем случае, может быть расценена только как попытка — он, Бела Коронди не руководитель, не зачинщик, а фактически просто подчиненный, выполняющий приказ.

Я спросил, какое же он рассчитывает получить наказание.

— Габор Петер говорит, — ответил он, — что дадут мне не больше пяти-шести лет. Но, поскольку это процесс политический и посвященные так и так знают, что я ни в какие заговоры не вступал, то я не отсижу и половины срока. Когда утихнут страсти, меня потихоньку выпустят через черный ход. Но и до этого, как говорит Петер, мне не на что будет жаловаться. В горах Матра, по образцу советских, уже строится новый трудовой лагерь; я попаду туда. Мы будем там валить лес, целый день на воздухе, питание будем получать обильное, по солдатской норме. Ежемесячно меня сможет навещать супруга. Конечно, когда меня выпустят, снова полковником уже не буду, да, пожалуй, и сержантом тоже, но я об этом и не жалю... С меня довольно. Стану шофером или буду ухаживать за лошадьми. А может быть — ведь меня считают человеком полезным, — пошлют куда-нибудь, разумеется, за пару тысяч километров отсюда, обучать солдат или... или почем я знаю кем...

Все это подозрительно напоминало посулы Ласло Фаркаша, и я не удержался, прервал его.

— Ты думаешь, все это можно принять за чистую монету?

— Видишь ли, — пожал плечами Коронди, — Габор Петер со мной на «ты», держится по-приятельски, шутит. Знаю, переоценивать это глупо. Но скажи, какая им польза нарушить слово и вздернуть меня? Ведь я повиновался им как овечка.

В самом деле, думал я, какой смысл отправлять на тот свет этого славного, поверхностного простака? Чтобы драконовским приговором заткнуть рты сомневающимся? Хотя я не произнес ни слова, Коронди пристально наблюдал за мной, потом, словно решив поставить заслон моим мыслям, а, может быть, и потоку собственных сомнений, внезапно легким движением вскочил на ноги и стал между нашими лежаками.

— Ну-ка, займемся гимнастикой, — сказал он бодро, — займемся гимнастикой, а там будь что будет.

Мы так и поступили. Не раз в течение дня, особенно перед завтраком и ближе к вечеру, мы с ним убивали время легким, расслабляющим мышцы боксированием, а также делали дыхательную гимнастику в затхлом могильном воздухе подвала. То под мой счет: раз, два, три; то под его команду: бег на месте! Кажется, оба мы считали скорее забавным, чем кошмарным то, что, хотя бы на несколько кратких минут, представляли перед собой не ведущую во тьму тропу, а залитую солнцем спортивную площадку, и делали вид, что у нас нет сегодня иных забот кроме одной: сберегать для еще далеких от нас обоих лет старости физическую подвижность. Но, поскольку в затхлом воздухе камеры даже после легких упражнений мы начинали задыхаться, то и на этот раз вскоре пришлось сесть на свои лежаки. Некоторое время Коронди смотрел прямо перед собой, потом улыбнулся мне:

— А мог ли я поступить иначе? Возможно, да. А возможно, и нет. Не стоит над этим ломать голову. Теперь-то уж все равно. Я подписал протокол. И, хочешь верь, хочешь нет, с тех пор почувствовал облегчение. От меня уже ничего не зависит. Ну, я поупражняюсь еще. Давай?

Я покачал головой. Голова кружилась, ребра ныли, ноги дрожали. Я еще не отдышался. Сидел и просто смотрел на моего товарища. В самом деле: зачем ему ломать себе голову? Ведь он — уже готовая, отшлифованная, обработанная деталь, свободной воли у него нет, и он просто ждет, когда его приладят к другим таким же деталям. Он опять стоял между лежаками, положив руки на бедра, вытянувшись как струна и, между двумя медленными, невыносимо правильными приседаниями, небрежно бросил:

— Если обманут и все-таки вздернут? Ну, что ж, значит, не повезло…

Особое совещание Народного суда объявило приговор по уголовному делу Ласло Райка и его пособников 24 сентября 1949 года утром, без четверти десять. Председатель совещания доктор Петер Янко, опустив фамилии двух офицеров, прочитал список остальных обвиняемых, а затем объявил: «Особое совещание констатирует, что обвинение, выдвинутое против Дёрдя Палфи и Белы Коронди, выходит за рамки его компетенции и потому, выделив дело вышеназванных лиц, передает его рассмотрение военному суду». (Там же, с. 257.)

Военный суд вынес Палфи и Коронди, а также ряду других офицеров смертный приговор. После отказа в просьбе о помиловании приговор был приведен в исполнение.

7

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ

На втором, этапе *реализации,* обретавшем все более осязаемые контуры и пропорции, в распоряжении главного архитектора, генерал-лейтенанта Белкина, уже имелись два предварительно обработанных элемента — Ласло Райк и Бела Коронди. Лайош Линденбергер, бывший начальник тюрьмы, когда робким серым человечком проковылял в мою 29-ю камеру, уже начал догадываться, к чему его готовили, и несколько недель спустя, как ни противилась его душа, терзаемая угрызениями совести, он все же произнес, хотя и чуть слышно, заготовленный для него текст. Что же до меня, то я все еще булькал в общей плавильне МГБ и УГБ, как некое находящееся в неопределенном агрегатном состоянии химическое соединение.

Коронди провел в 29-й камере всего несколько дней. Вскоре после того как я остался один, меня отвели в крыло здания, отгороженное стеной с железной дверью. В кабинете находился полковник Сюч. Он предложил мне сесть возле его стола, сам же взгромоздился на стол, покачивая в воздухе ногой. Я мог смотреть в его пышущее здоровым румянцем лицо, только круто запрокинув назад голову. После нескольких вступительных слов, Сюч продолжил чуть ли не с грустной улыбкой:

— Собственно говоря, нам следует подвергнуть себя самокритике, — вздохнул он и покачал головой, — конечно же, с вами нам следовало вести себя иначе. Я искренне сожалею обо всем, что произошло, ведь если бы мы с самого начала говорили откровенно, объяснили, о чем в действительности идет речь, думаю, мы избавили бы вас от многих неприятностей. Но, что поделаешь, поначалу мы наломали дров, действовали опрометчиво. Вы должны нас понять… Видите ли…

И полковник — словно забыв, что уже говорил нечто подобное, — доверительным тоном, как бы посвящая меня в тайну за семью печатями, повторил, отчасти дословно, а отчасти с дополнительными деталями, в общем-то уже известный мне текст. В связи со все возрастающей напряженностью между социализмом и капитализмом, вещал он, особенно же в связи с предательством Тито и его клики венгерские коммунисты обязаны нанести ощутимый удар по империалистическим державам и их югославским агентам. Венгерские коммунисты должны разоблачить, заклеймить их, полностью дискредитировать в глазах всех людей доброй воли. Это в интересах не только социалистической Венгрии, но и в интересах Советского Союза, всех народных демократий,

западных коммунистических партий, да и самих югославов. Ибо готовящийся в настоящее время процесс даже пораженным заразой партиям даст возможность избавиться от империалистических агентов, выполоть из своих рядов сорную траву. Таким образом этот всемирного значения процесс — слово «всемирного» Сюч произнес с пылким энтузиазмом — послужит на пользу священной идее социализма, всему коммунистическому движению, делу мирового пролетариата.

Восторженность полковника, казавшаяся то искренней, то наигранной, но особенно его насквозь фальшивая самокритика внушили мне подозрение и страх, ведь я не мог сомневаться в том, что за этим вступлением очень скоро последует призыв к самопожертвованию. Но тут же все мои опасения и страхи заглушил некий эстетический протест, вызванный откровенной пошлостью пропагандистской демагогии Сюча, и я почувствовал абсолютную невозможность своего соучастия в измышлении протокола собственного допроса и вообще какого бы то ни было соавторства с этим краснобаем.

За время его пространной тирады у меня задеревенели мышцы шеи, я устал смотреть в лицо заместителю Габора Петера, в его заплывшие жиром непрерывно моргающие щелки-глаза. Я уставился на торчавший у меня перед носом огромный живот полковника. Жировые складки, расходящиеся от стягивавших мундир пуговиц и сейчас мирно колыхались в такт его речи.

— В данный момент, — продолжал, понизив голос, полковник, — я говорю с вами не как офицер госбезопасности. Меня направила к вам партия. И я могу вас заверить, что никто из нас, ни один ответственный человек шпионом вас не считает…

— Но в таком случае, — изумился я, не готовый к такому повороту, — почему меня не освободили?

— Видите ли, — протянул Сюч, как человек, который вправе был бы взорваться и возмутиться тем, что его умышленно отвлекают не относящимися к делу и вообще недостойными вопросами, прерывая нить его речи; но он, несмотря на это, не вышел из себя и даже мягко, с завидным самообладанием ответил невоспитанному нарушителю. — Видите ли, — повторил он и, после краткой заминки, вдруг выпалил: — Ваша собственная партийная карьера была отнюдь не безукоризненна.

— Почему? — спросил я, хотя уже понимал, что этот небольшой зигзаг ничего не изменит ни в том, что еще не досказал Сюч, ни в назначенной мне роли.

— Почему? Ваш вопрос меня удивляет. Разве вас можно назвать настоящим партийцем? Разве вы не протестовали, не спорили, не боролись все время с партией? А ваша личная жизнь? С женой развелись, жили с другой женщиной…

— И это дает вам право арестовать и держать меня в заключении?

— Нет, разумеется, нет. Но вы должны признать, что совершали ошибки, которые вам следует исправить. Или будете утверждать, что никогда не совершали ошибок?

Нет, утверждать это я не решился бы, особенно сейчас, когда все яснее видел, в какие нравственные дебри, к каким людям привело меня это движение, в стремнину которого я бросился в дни моей молодости. Но Сюч, как будто мы всего лишь насмешничали, ехидно поддразнивали друг друга, почти обрадовался моему молчанию.

— Вот видите, — воскликнул он торжествующе, — хоть что-то вы признаете! Да, вы совершали ошибки, серьезные ошибки. И все же партия дает вам возможность одним махом все исправить и послужить делу международного рабочего класса. Больше того, партия просит вас об этом. Вы понимаете, что это значит: партия просит! Разве партия когда-нибудь *просит?*

В самом деле, подумал я, просит она редко, если не считать того, что, например, аргентинская коммунистическая партия во время войны постоянно просила денег — и получала их — как у людей состоятельных, так и у бедняков. Я едва не засмеялся, вспомнив все эти разнообразные, виртуозные кампании по сбору денег в Буэнос-Айресе. Сюч испытующе посмотрел на меня, потом повторил с нажимом:

— Иными словами, партия просит вас понять сложившуюся ситуацию, как ее поняли многие другие старые коммунисты. Вы ведь тоже не вчера включились в коммунистическое движение. Понимаете, наконец?

Я кивнул. Понимаю. Полковник говорит от имени метафизического лица, от имени Партии, которое произносится и пишется с прописной буквы. Однако, хотя я действительно не вчера включился в коммунистическое движение, никогда не подымался до такой ступени религиозного экстаза, чтобы, абстрагируясь от конкретных его составляющих, быть способным персонифицировать партию. Что есть партия? Кто есть партия? Одна из опор ее — тот бюрократ, который вызвал меня в ЦК на улице Надора, чтобы заставить выпустить коммюнике, разоблачающее не существовавший в действительности саботаж; один из кирпичиков ее — тот венгерский или французский рабочий, который сгибается над своим станком и не даже подозревает, что творится, в частности и от его имени, в Будапеште, в некоем здании на проспекте Андраши; а залог ее будущего — быть может, тот самый студент в Болонье или в Южной Америке, который как раз сейчас читает остроумным анализ Маркса о государственном перевороте Наполеона III. Но действует от имени партии не студент, не рабочий, а чиновник — Ласло Фаркаш, Эрнё Сюч, русский подполковник и, прежде всего, генерал-лейтенант — верховный правитель — Белкин. Если допустить — почему бы и нет? — что я

совершал ошибки, могу ли я испытывать чувство вины перед партийным функционером с улицы Надор, Ласло Фаркашем, Эрнё Сючем или этим правителем? А уж перед несуществующей метафизической абстракцией — тем более.

Думаю, этой религиозной мистификацией понятия «партия» полковник заставил бы меня все понять и в том случае, если бы я, по каким-то смутным, осознанным или неосознанным, причинам искал пути к покаянию. Но Сюч, в довершение всего, не принял в расчет мое чувство юмора, усадив между нами на стол, как некую невообразимо смешную напыщенную куклу, символическую персонификацию партии; и как только от имени этого идола, требующего человеческих жертвоприношений, он сформулировал практические задачи, то вмиг сорвал с этого идола пышные одеяния, и суровое божество предстало в комическом неглиже, просто в кальсонах. Ибо полковник продолжил так:

— Нам придется расширить протокол очной ставки. Его нужно политизировать. Иными словами, сделать его политически более ясным, более компрометирующим. Могу вас заверить, Райк все подпишет.

Разнообразные методы пробуждения чувства вины во многих случаях способствовали тому, что арестованные, в особенности арестованные коммунисты, принимали на себя обвинения в заговоре и шпионаже. Были среди них и такие, кто даже годы спустя не отказывался от своих фиктивных преступлений, несмотря на то, что в тюрьме эти люди смешались с другими узниками и по их рассказам могли понять, что не только они, не только отдельные члены партии, но, по самым осторожным оценкам, более девяноста пяти процентов политических заключенных были осуждены на основании фальсифицированных обвинений. В 1953 году, когда Имре Надь[49] впервые стал председателем Совета министров, положение в тюрьмах улучшилось, и Имре Надь уже воевал с Ракоши за то, чтобы открыть двери мест заключения и концлагерей. Именно тогда, после четырех с половиной лет вынужденного молчания, мы впервые могли послать своим семьям почтовую открытку на шестнадцать строк — первый признак жизни со времени нашего исчезновения. Но и в то время еще находились такие, кто в этих шестнадцати строчках просил жену воспитывать детей так, чтобы они знали: их отец совершил тяжкое преступление.

Иногда следователи, прощупывая год за годом всю жизнь вверенного их заботам арестованного, старались делать главный упор не на отвлеченную вину перед партией, а выносили на первый план какое-то личное дело. Один из моих соседей по камере, например, — сын реформатского теолога, ставший сперва свободомыслящим, и потом и коммунистом, — то и дело повторяя «mea culpa», всячески мне доказывал, что он

сам повинен в своей судьбе, правда, не в шпионаже, в котором его обвинили, а в том, что, задолго до ареста, дважды изменил жене.

Сам я никогда не был склонен к такого рода мистике и думаю, что это было написано на моем лице. Однако, в нескольких словах ясно выразившись относительно протокола очной ставки, полковник все же не перешел сразу к делу, то есть к проекту нового, исправленного протокола. Вероятно, он полагал, что следует сперва объяснить мне, полной убедительности ради, какая это для меня великая честь, что он говорит со мной так откровенно, ведь полная откровенность есть знак доверия со стороны партии. Но именно потому, что партия доверяет мне, не сомневается в моей преданности, она просит — имеет право просить меня — принести жертву во имя социализма, международного пролетариата и предоставить себя в распоряжение советских и вен[illegible]ое затянувшееся молчание в конце концов навело полковника на мысль, что никак доселе не проявлявшееся, а теперь вдруг открывшееся мне доверие партии лишь усилило мою недоверчивость и отвращение к даче ложных показаний. Однако впитавшаяся в плоть и кровь рутина, надо полагать, не позволила Сючу разглядеть всю анекдотичность, весь гротескный комизм ситуации, когда во имя проповедуемых материалистических идей, но при этом призывая к некоей нематериалистической, чисто религиозной преданности, требуют жертвы от ими же избранной жертвы и, всячески пробуждая чувство вины, пытаются заставить несчастного лжесвидетельством принести покаяние; причем добиваются покаяния те самые палачи, которые прежде действовали куда менее утонченными средствами.

Для меня останется вечной тайной, о чем догадывался, о чем не догадывался полковник, но он вдруг с неожиданной для его комплекции ловкостью соскочил со стола и вместе с этим движением спустился из возвышенных идейных сфер в несколько более рациональный мир.

На главном процессе, объявил он, мне нужно будет дать только свидетельские показания, и если меня после этого и осудят, то я могу твердо рассчитывать, что получу не более двух-трех лет. Меня подлечат высококвалифицированные врачи, все это время я буду получать хорошее питание, жить в самых благоприятных условиях. Смогу читать книги, журналы, даже писать. А под конец, как знать — ибо и такое вероятно, — мне предоставят возможность отдохнуть несколько недель в Крыму, на одном из красивейших морских курортов мира, прежде чем я вернусь к свободной жизни.

— Все это время вас будем охранять мы, — расхаживая взад-вперед по комнате, продолжал Сюч с таким выражением, словно почитал особой милостью и привилегией, если кто-то может годами чувствовать себя под надзором УГБ. Затем добавил, как бы в объяснение столь неве-

роятно гуманного подхода: — Потому что мы хотим перевоспитать таких, как вы, и вернуть вас партии.

Позднее в тюрьме это выражение стало, можно сказать, крылатым, ибо его использовал не только Сюч, и говорили так не только мне. И когда мы испытывали на себе отнюдь не самые мягкие средства сего воспитательного метода, мы переглядывались; поначалу мы при этом цитировали слова Сюча, но позднее достаточно было только переглянуться.

— Да, — остановился передо мной полковник, — цель наша в том, чтобы вы снова стали полезными членами партии.

Затем он с двух сторон обхватил руками письменный стол, наклонился ко мне и тихо, дружелюбно стал знакомить меня с проектом протокола. Мне следует непременно признаться в том, сказал он, что я установил связь между Райком и моими английскими доверителями. Однако, едва он начал, в комнату вошел следователь и что-то прошептал полковнику на ухо. Выслушав его, Сюч торопливо пояснил, что вышесказанное, собственно говоря, определяет и более мелкие детали, о которых вскоре пойдет речь, к тому же перед советским товарищем самого высокого ранга. Поскольку допрос будет вести он. Так что мне следует быть осмотрительным, отвечая ему. Полковник знаком предложил мне следовать за ним и уже на ходу шепотом добавил: он надеется, что я себе не враг.

Мы вошли в тот самый кабинет, где Сюч устроил нам с Райком очную ставку. Но в помещении никого не было. На длинном столе одиноко валялся потертый кожаный портсигар, рядом с ним спички и пепельница. На этот раз Сюч посадил меня у длинной стороны стола, сам же примостился в торце. Спросил:

— Курите?

Я сказал «да», он пододвинул ко мне пепельницу и протянул портсигар, набитый английскими сигаретами «Голд Стар». Портсигар явно не принадлежал ему, полковник не курил. Мы сидели молча, я выкурил уже три четверти сигареты, как вдруг появился владелец портсигара. Это был генерал-лейтенант Белкин. Одет он был все в тот же, или в такой же, из серебристо-голубоватой женской ткани, френч, что и на конспиративной вилле. Он сел напротив меня почти посередине длинного стола. Полистал пачку документов, потом взглянул на меня и заговорил по-русски. Переводил Сюч.

После сверки установочных данных и явно неодобрительного отношения к тому факту, что я происхожу из буржуазной семьи, речь пошла о моих университетских годах, затем о знакомстве с Райком.

— Когда вы узнали о том, что Райк — полицейский провокатор? — спросил Белкин.

— Я об этом не знал, — ответил я.

— Припомните журнал «Виррадат».

Да, я помнил, что внушал мне майор Каройи. За распространение нашего конфискованного журнала Райка вызвали в полицию, но он выторговал себе свободу, подписав обязательство доносить полиции обо всех действиях коммунистов, и — по словам Каройи — я это заподозрил, потому что на другой день Райк появился в университете взволнованный. Да, сказал я Сючу, я хорошо помню журнал «Виррадат», помню, что его конфисковали, но из того, что Райка вызвали в полицию и он вернулся оттуда взволнованный, никоим образом не мог сделать вывод, что полиция его завербовала.

— В таком случае, откуда вы это узнали? — спросил Белкин, когда Сюч перевел ему мой ответ.

Похоже на то, соображал я, что правитель ждет от меня, чтобы я, как свидетель, подтвердил признание Райка и, тем самым, придал больше достоверности выдумке Каройи. Сейчас он желает сделать меня его соавтором. А через несколько недель я предстану перед судом и расскажу сообща сочиненную сказку... вернее, предполагалось, что расскажу, — ведь более чем сомнительно, что я способен буду выговорить хотя бы полслова. Вероятно, я смотрел на Белкина с совершенно тупым видом, потому что в минуты величайшего напряжения во мне, как правило, срабатывает какой-то защитный механизм и частично отключает нервную систему. Вот и сейчас мое внимание притупилось, я едва сдерживал зевок, мысли разбрелись в разные стороны, и на поставленный вопрос я не ответил.

— Ну, ладно, — снисходительно махнул рукой генерал-лейтенант, — вспомните попозже. Соображаете медленно.

По тому, как Белкин отмахнулся, и из его слов я сделал вывод, что он временно откладывает оставшийся без ответа вопрос для более поздней проработки; а молчание мое не считает сопротивлением его авторитету. Я смотрел на движения его рук, и мне вспомнился покойный и решительно во всем отличный от правителя мужчина, с авторитетом которого я в юности так часто вступал в конфликт.

Особенно припомнилась мне одна тихая и с течением времени отнюдь не потускневшая сцена. Отец позвал меня в свой кабинет. Он стоял возле письменного стола и держал в руках конверт. Я был новоиспеченным студентом. Недавно вышел из тюрьмы. За организацию коммунистической ячейки меня осудили на трехмесячное заключение. Отец за потерпевшее крах воспитание сына наказал себя тем, что отстранился от всех своих друзей, вышел из клуба и, будучи страстным охотником, бродил лишь по своим невеликим угодьям, отклоняя все столь привлекательные для него приглашения принять участие в больших охотничьих вылазках по окрестностям. Когда я подошел к столу, он протянул мне письмо.

— Я думал, оно адресовано мне, — сказал он, — поэтому вскрыл конверт. Извини.

Поскольку имя у нас с отцом было одинаковое, мои друзья, посылая мне письмо, никогда не забывали добавить к наименованию адресата сокращение «мл.». Но эти строки начертала не знакомая мне рука. Письмо прибыло из задунайского края, от тамошней организации нелегальной коммунистической партии, желавшей установить контакты со мной. Прозрачный конспиративный язык тотчас выдал это. Мой отец, тревожась за меня, более всего опасался того, что я запутаюсь в сетях подпольного движения. Однако его понимание чести не допускало мысли о том, чтобы потихоньку от меня сжечь даже столь роковое с его точки зрения письмо, и, поскольку он был уважающий дух закона *citoyen**, то и передал конспиративные строки законному адресату. Его губы и уже седеющие английские усы едва заметно дрожали. Быть может, он вступил в противоречие с собственным пониманием целесообразности, но не с самим собой.

Память о покойном отце не смягчила меня, а, напротив, вызвала всплеск эмоций, как и несколько недель назад, когда нечто подобное помешало мне попроситься к Фаркашу на допрос, хотя в то время я уже подумывал о том, не стоит ли, прислушавшись к голосу разума, все-таки взять на себя какое-либо обвинение.

Правитель не спешил. Он закурил, потом, подтолкнув ко мне портсигар, угостил и меня. После чего некоторое время расспрашивал меня об англичанине из Буэнос-Айреса, а затем вдруг спросил:

— В какой форме он завербовал вас?

Я ответил, что англичанин меня не завербовывал, и тут Белкин разразился громовым жандармским хохотом, которому с подобострастной почтительностью вторил полковник Сюч.

— Ну, как же не завербовывал, как же не завербовывал, — воскликнул он, — да если и не вербовал формально, а в Венгрию-то все же направил! С каким заданием вас отправили на родину?

В ответ на мои слова, что я никогда не получал и никогда не принимал никаких заданий от секретных служб, Белкин чуть ли не захлебнулся от хохота, который перешел в жуткое, с подвизгиванием, ржание, сопровождаемое почтительных хихиканьем Сюча. Наконец неестественное веселье закончилось, и мы вновь вернулись к Райку. Когда, где, при каких обстоятельствах мы с ним встретились после моего возвращения, о чем разговаривали.

---

* Гражданин *(фр.)*.

— Когда вы начали шантажировать Райка? — внезапно обрушился на меня генерал-лейтенант.

Это было нечто абсолютно новое. Может быть, как раз одна из тех «мелких деталей», о которых вскользь упомянул Сюч в другом кабинете, как о почти естественных последствиях начала работы.

Из дальнейших вопросов постепенно вырисовывалось назначенное мне «признание», которое Белкин — во избежание недоразумений, как выразился он, — изложил, заглядывая в лежавшие перед ним листки. Согласно этому, английская разведка завербовала меня в Буэнос-Айресе и в 1946 году направила в Венгрию. В Будапеште я навестил Ласло Райка, тогда министра внутренних дел, моего университетского однокашника. Уже в студенческие годы я знал, что он был доносчиком при хортистской полиции. Я шантажировал его тем, что мои английские доверители предадут гласности документы, свидетельствующие о его предательстве, если он не согласится мне помогать. Райк сдался и в течении двух лет регулярно поставлял мне добытые и министерстве внутренних дел и в министерстве иностранных дел секретные сведения и даже передавал документы, которые я, естественно, отсылал английской секретной службе.

Не знаю, рассчитывал ли Сюч на то, что одно лишь присутствие великого мужа подавит меня и, стоит правителю взять дело в свои руки, одно его волшебное прикосновение превратит меня в податливый материал? Или произошла какая-то накладка? Ведь Белкин, несомненно, задавал вопросы, сверяясь с окончательным протоколом, который обычно показывают обвиняемому — с подмигиваньем, мол, «мы-то ведь знаем, что все это неправда» — лишь тогда, когда он уже все подписал, признав, что шпионил и участвовал в заговоре. А может быть, генерал-лейтенанта подгоняло время, близящийся главный процесс, и поэтому он избрал ускоренный вариант?

Как бы то ни было, Сюч в приемной обрабатывал меня далеко не самым удачным образом. Его метод, правда, как выяснилось позднее в тюрьме, во многих случаях приводил к желанному результату, но, возможно, полковник уже выдохся и потому в случае со мной применял этот метод без фантазии, вяло, или — пользуясь марксистской терминологией — схематично и механически. Он скроил его не по моей мерке. С одной стороны, сообщал слишком мало, с другой — слишком много. Слишком мало — потому, что не пытался объективно подготовить меня к тому, что меня ожидало; слишком много — потому, что пытался подготовить субъективно: использовал шитую белыми нитками самокритику, ссылался на просьбу партии, ее доверие ко мне, апеллировал к некой мистической вере, существование которой у меня мог лишь допускать;

но особенно он дал маху, когда за железной дверью отгороженного для МГБ крыла здания поманил солнышком крымского курорта.

Изложив таким образом конспект моего признания, Белкин некоторое время совещался с полковником по-русски. После чего Сюч со зловещей суровостью сказал мне:

— Товарищ генерал-лейтенант желает еще раз — но уже в последний раз — дать вам шанс сделать признание и избежать наихудшего. Мы опять пройдемся по всем вопросам. Отвечайте кратко и ясно. О деталях поговорим позже. Но будьте очень осторожны! — добавил он с особенным ударением, как бы предупреждая от себя.

В тот момент я не мог уже соизмерить, чего страшился больше: признания, или того, что будет, если я не признаю обвинений. Для здравого рассуждения у меня не было ни опоры, ни времени, ни сил. Я мог слушаться только своих инстинктов.

Вопросы сыпались один за другим: знал ли я, что Райк полицейский агент? Завербовала ли меня английская разведка? Шантажировал ли я Райка? Завербовал ли Райка в английскую разведку?

Нет, я подчинялся не нравственному приказу, не доводам разума, и даже не ярость толкала меня, когда на все вопросы я отвечал «нет». Каким-то загадочным образом, но с железной уверенностью я знал: пойдет ли это мне на пользу или приведет к катастрофе, но такое признание я не смогу произнести публично ни за что, никогда в жизни. Как не мог сжечь мое письмо тот покойный уже citoyen. Потому что никто не может переступить через свою тень.

Белкин вскочил, швырнул на стол пачку бумаг, потом схватил по-прежнему лежавший около меня свой портсигар и еще минуту-полторы что-то кричал по-русски. Из всех его весьма пространных фраз Сюч перевел только одну:

— Это вам не троцкистская сходка, здесь задираться не место…

И с этими словами полковник, слегка подталкивая, выпроводил меня из кабинета. Тогда я видел Белкина последний раз. Годы спустя я пытался отыскать его имя в архивах нескольких зарубежных газет, но никаких сведений о нем не нашел. В 1953 году, после восстания в Восточной Германии[50], генерал-лейтенант — так считалось в Венгрии — попал в опалу и сгинул. Позднее советская пресса упоминала его среди преступных соратников Берии и Абакумова. В Будапеште ходили слухи, что Белкина расстреляли вместе с Берией. Если есть справедливость на свете, то перед казнью его должны были угостить сигаретой «Голд Стар».

После событий на отгороженной территории МГБ я боялся, что меня опять станут заставлять подписать протокол физическими методами, еще более рафинированными пытками, чем те, которые применялись в первый период; возможно, станут шантажировать — о чем не раз мне

намекали открыто — арестом членов моей семьи или тем, что упрячут куда-нибудь моего маленького сына. По сравнению с этими кошмарными видениями я счел бы действительно милостью, если бы оправдались просто угрозы Фаркаша и, минуя устаревшие формальности, точно направленный выстрел из револьвера поставит точку в конце так и не сложившегося протокола.

Однако в подвалах на Андраши, 60, все бывает не так, как ожидают заключенные. В тайной полиции все непредсказуемо, внушало УГБ, и одним из главных ее методов было содержание заключенных в постоянном состоянии неопределенности. Так что напрасно я ждал, что меня вызовут на допрос или куда-нибудь переправят. Никто обо мне не вспоминал. Я оставался в самой крайней крохотной камере, в конце бокового коридора, где кардинал Миндсенти во время своего заключения выцарапал на стене свое имя и заключил его в сердце Христово, осиянное символическим снопом солнечных лучей. Ничего не происходило, больше того, пока мне не был вынесен приговор, никто не дотронулся до меня даже пальцем.

Охотно допускаю, что Белкин не был злопамятен. Но правда и то, что до начала открытого главного процесса оставалось уже так мало времени, что, подвергни они меня основательным физическим истязаниям, навряд ли можно было бы выставить такой экземпляр на обозрение публике и иностранным журналистам. К тому же генерал-лейтенант, пожалуй, не был уверен, что я, именно перед публикой, не устрою какой-нибудь неприятный скандал, когда уже ничего нельзя будет поправить. Поэтому он принял вынужденное решение и передал главную часть отведенной мне роли пребывавшему далеко от Венгрии подполковнику Ковачу, американскому гражданину венгерского происхождения, разумеется, не испросив у него предварительно согласия.

В относящемся к этому эпизоду тексте «Синей книги» Райк рассказывает, что уже с самого начала занимал «высокое положение» в коммунистической партии и в 1945 году был назначен секретарем будапештской партийной организации. Далее он продолжает:

Вскоре после того как партийное руководство назначило меня на этот пост, ко мне явился некто по фамилии Ковач, который был членом американской военной миссии. Это было примерно в августе-сентябре 1945 года. Он сообщил мне, что получил от находящегося в американской зоне Шомбор-Швейницера* сообщение, из которого узнал, что я работал на хортистскую полицию. Располагая такими све-

---

* Йожеф Шомбор-Швейницер до 1945 года был начальником венгерской политической полиции. К концу второй мировой войны немцы арестовали его и депортировали, заподозрив в том, что он сотрудничал с союзниками. *(Прим. автора.)*

дениями, Швейницер предложил мне работать на американскую разведку. Если я откажусь, они разоблачат меня перед руководством партии. Конечно, я согласился. Ковачу требовалась политическая информация о внутриполитическом положении в Венгрии. (Там же, с. 39.)

Согласно новому варианту получалось, что шантажировали Райка не англичане, а американцы, что не англичанам, а американцам Райк передавал шпионские донесения, что угрожали ему не тем, что опубликуют порочащие его сведения за границей, а разоблачат перед руководством компартии, но эти изменения для обвиняемого действительно ничего не значили. Однако — о чем многие помнили еще и шесть лет спустя — от внимания как многочисленных читателей «Синей книги», так и присутствовавших на процессе не ускользнуло, что генеральный прокурор Дюла Алпари один раз назвал меня «шпионом Интеллидженс сервис, засланным на родину из Южной Америки» (Ласло Райк и его сообщники перед народным судом». Будапешт, Сикра, с. 10), затем, несколько минут спустя, упоминал уже среди самых отъявленных «американских шпионов» (там же, с. 18).

Редколлегия «Синей книги» ни за что не желала расстаться с некоторыми, по ее мнению, удачными находками; например, что Сёни общался с зарубежными своими доверителями через курьеров. Поскольку в первые недели после ареста мне тщетно пытались навязать признание, будто я привез «Петеру» сообщение от таинственного Вагнера, а потом — что передал Сёни письмо от Вагнера, выполнение этой моей задачи переадресовали отсутствовавшему Ласло Бартоку и арестованному Ивану Фёлди.

В 1946 году специальным курьером, — признавался на допросе Сёни, — *который передал мне на словах распоряжение, чтобы «Петер связался со своим знакомым по Франции Вагнером», то есть с Райком, был Ласло Барток, некогда советник венгерского МИДа. (Там же, с. 203.)*

Вместо Вагнера на процессе фигурировал уже Ноэль Филд, о чем Иван Фёлди сделал следующее признание:

В мае 1946 года я снова приехал на несколько дней в Будапешт из Швейцарии и передал Сёни закрытый конверт, привезенный с собой. (Там же, с. 203.)

Содержание этого письма Сёни изложил на процессе таким образом, чтобы не забыть и меня:

Когда Иван Фёлди на несколько дней приехал в Будапешт из Женевы, он привез мне запечатанное письмо от Филда, где фигурировали имена трех американских шпионов, Белы Саса, Дёрдя Адама и Ивана Мате, которых американская разведка завербовала прежде и мне о том сообщила. Позднее, зная, что Бела Сас и Дёрдь Адам американские шпио-

ны, я предоставил им высокие должности — Беле Сасу, конкретно, по указанию Ласло Райка. (Там же, с. 128.)

Когда на последнем году нашего заключения мы получили доступ к печатной продукции, мне попала в руки из тюремной библиотеки брошюра в синей обложке о деле Райка. В ней именно допрос Сёни самым явным образом осветил одну из целей процесса — отнюдь не второстепенную: чистку партии и определенное направление этой чистки. По замыслу организаторов фигура бывшего заведующего отделом кадров попала в свет рампы как символ определенной категории лиц: через его признание хотели поставить под подозрение не только его самого, не только других обвиняемых, но вообще всех, кто вернулся с Запада, особенно интеллигенцию.

Уже в сообщении об арестах подчеркивалось: «Промышленных рабочих и представителей трудового крестьянства среди арестованных нет» (Сабад неп, 19 июня 1949 г.). А показания Сёни подводили к мысли, что все те интеллигенты, которые побывали на Западе, учились в западных университетах или хотя бы просто интересовались западной культурой, являются агентами или, по крайней мере, потенциальными агентами империалистических шпионских организаций.

Именно от Сёни я наконец-то получил ответ на вопрос, хотя и не имевший принципиального значения, но постоянно меня занимавший: кто такой Ноэль Филд и кто такой таинственный Вагнер, которым Габор Петер поинтересовался в первый же час допроса, а его сподвижники не самым дружелюбным образом допытывались еще долгие недели.

Все это вместе прояснилось из того, как преподнес Сёни события, предшествовавшие его возвращению на родину.

К концу войны, — говорил он, — *в последний год, когда, уже летом 1944-го, стало очевидно, что часть восточно- и центральноевропейских государств освободят советские войска, американская разведывательная служба под руководством Аллана Даллеса в центр своей работы поставила задачу завербовать агентов из числа находившихся там эмигрантов, особенно из левых коммунистических ячеек, с целью внедрить их на тех территориях, которые освободят советские войска, для осуществления подрывной деятельности против коммунистических партий. Я тоже оказался связан с американской разведкой. В этой работе разведывательных служб по вербовке агентов среди политических эмигрантов главным помощником и ближайшим сотрудником Аллана Даллеса был Ноэль Х. Филд, который официально был в Швейцарии руководителем благотворительной организации Unitarian Service Committee, в действительности же являлся ближайшим сотрудником Даллеса в разведывательной службе. (Там же, с. 123.)*

Вслед за этим много говорится о Даллесе (имя его «Синяя книга» упорно пишет не Allen, а Allan), много говорится и о югославских, чешских, польских политэмигрантах, которые также попали в сети американской разведки. Затем Сёни продолжает:

До моего возвращения на родину, до января 1945 года, я регулярно встречался с Даллесом. Формально я был завербован американской разведкой в конце ноября 1944 года в Берне. Во время этой встречи Даллес долго излагал мне свои политические взгляды на послевоенный период, рассказал, что со всей очевидностью в целом ряде восточноевропейских стран, которые будут освобождены советскими войсками, коммунисты станут правящей партией и для выработки проамериканской ориентации, политики сотрудничества с Америкой придется действовать, прежде всего, через коммунистическую партию. (Там же, с. 125.)

Свое пространное выступление Сёни заканчивает таким абзацем:

После этого я еще несколько раз встречался с Даллесом. Мы договорились с Даллесом, что после возвращения на родину будем поддерживать друг с другом связь, причем моей конспиративной кличкой будет «Петер», он же будет фигурировать как «Вагнер». (Там же, с. 125.)

Так, по прошествии более четырех лет, листая в тюремной камере «Синюю книгу», я понял наконец вопрос Габора Петера, заданный мне за Т-образным столом, понял, что же могла означать сочтенная паролем фраза: «Вагнер сообщает Петеру…». Тем не менее угрызений совести я не испытывал, даже вспоминая о напрасных стараниях Сюча, ведь в конце концов ничего я им не сорвал. Мне замена нашлась — заключенный из подвала на проспекте Андраши да еще один человек, проживающий за границей. Гораздо важнее то, что роль, которая был предназначена Ласло Райку, не мог взять на себя никто, кроме самого Ласло Райка.

Страшные поперечные борозды, которые я увидел на лице Райка во время очной ставки, свидетельствовали о том, что в первые дни ареста бывшего подпольщика-коммуниста, бывшего министра щадили столь же мало, как и его подельников, а, возможно, подвергали еще более изощренным, более жестоким пыткам. Но, в конце концов, Райк все же воспользовался построенным для его самолюбия золотым мостиком: он подчиняется не потому, что хочет избежать пыток, нет, напротив, он жертвует собой во имя партии, во имя дела социализма. В этом хотел его убедить тогдашний министр внутренних дел Янош Кадар, используя примерно те же аргументы, какими убеждал меня Эрнё Сюч, заместитель Габора Петера.

Содержание бесед Райка и Кадара стало известно лишь в 1956 году. В 1949 году Матяш Ракоши, тогда еще генеральный секретарь партии,

«разоблачение банды Райка» относил полностью на свой счет; выступая на собраниях и митингах, он только что не взывал к сочувствию, описывал свои «бессонные ночи», пока не составил из отдельных фактов цельную мозаику и не убедился наконец в преступлениях Ласло Райка и его «приспешников»[51]. Так что общественное мнение в 1956 году, в период оттепели, естественно, возложило на Ракоши ответственность не только за дело Райка, но и за серию других процессов, пожавших бесчисленные жертвы. Поэтому руководство ВПТ, независимо от того, к каким политическим оттенкам принадлежали отдельные его члены, сочло совершенно нетерпимым дальнейшее пребывание Матяша Ракоши во главе партии, и определенная группировка вознамерилась посадить на его место Яноша Кадара. Ведь Кадара на следующий год после процесса Райка также арестовали, осудили, и теперь отдельные члены ЦК старались тюремным прошлым Кадара прикрыть свое собственное прошлое, заставить забыть о нем.

На это Матяш Ракоши на одном из заседаний ЦК — в доказательство того, что в подготовке фальсифицированных процессов новый претендент замаран не меньше, чем прежний генеральный секретарь, — прокрутил магнитофонную запись, увековечившую беседу между брошенным в следственную тюрьму Райком и тогдашним министром внутренних дел Кадаром.

Таким образом члены ЦК стали свидетелями того (чего не таили потом и от многих из нас и от чего никогда не открещивался Кадар), как новый министр внутренних дел объяснял прежнему министру: хватит, наконец, сопротивляться, сослужи партии службу, помоги заклеймить еретика Тито. В партийном руководстве никто не считает Райка виновным, — подчеркивал Кадар, — его будут ценить еще больше, если он принесет эту жертву. Ведь в подполье, в испанской интернациональной бригаде или в движении Сопротивления он не раз рисковал своей жизнью, не так ли? Сейчас же партия требует от него не его жизни, а всего лишь морального самоубийства. Потому что после процесса, даже если вынесут смертный приговор, его не казнят, он просто исчезнет. Его пошлют вместе с семьей в Крым отдохнуть, а потом, под другим именем, в другом месте, поручат достойную его способностей ответственную работу[52].

Навряд ли Райк попался на эту удочку, он приводил контраргументы, спорил, протестовал. Но, если мы попытаемся разобраться в его мотивах, почему он, несмотря ни на что, в конце концов — хотя и колеблясь, и отбиваясь, — все-таки примирился с тем, что его собственные товарищи выставят его перед всем светом неким чудовищем, закрадывается мысль, что решила эту дилемму его верность идее, верность собственному прошлому, идеализированной коммунистической партии, а не надежда на то, что его, может быть, помилуют за проявленную готовность

быть полезным. Один его бывший товарищ по камере также свидетельствовал, что именно эта, больше похожая на самообман, верность подвигла Райка взять на себя роль главного обвиняемого.

Известный своей прямолинейной откровенностью Ласло Райк должен был победить в себе отчаянное сопротивление, прежде чем на главном процессе с бесстрастным равнодушием заявить о том, что в коммунистическом движении вел только «разведывательную работу», а своих товарищей выдавал полиции (Ласло Райк и его сообщники перед народным судом. Будапешт, Сикра, с. 29), «с заранее обдуманным намерением» сорвал забастовку строительных рабочих (там же, с. 32), а в гражданской войне в Испании — где был трижды ранен — принимал участие как агент будапештской политической полиции.

Я отправился в Испанию, — продолжал он, — *с двойным заданием: с одной стороны, узнать имена членов батальона Ракоши — таково было название венгерского соединения, — а, с другой стороны, вести подрывную работу с тем, чтобы ослабить боеспособность батальона Ракоши. (Там же, с. 33.)*

Не мог он не испытывать отвращения и рассказывая о дальнейшей своей политической карьере, ведь согласно его показаниям, после гражданской войны в Испании, находясь во французских лагерях Гюр, затем — Ле-Верне, он был информатором петэновского «2-го бюро» (там же, с. 34). А в Венгрию вернулся с помощью гестапо (там же, с. 34), где его опять, правда, интернировали, но лишь затем, «чтобы в нем не заподозрили» полицейского агента (там же, с. 37), и в движении Сопротивления он рисковал жизнью лишь для отвода глаз, потому что на самом деле был только доносчиком, и арестовали его по ошибке, ибо — как он сказал — «военная контрразведка, не зная о том, что я завербованный агент венгерской полиции, взяла меня под стражу и, в виду военного положения, сразу же, всего несколько дней спустя, я оказался в Шопронкёхиде[53]» (там же, с. 37).

Вот странно только, что его оттуда все же не отпустили. Больше того, когда венгерские фашисты вынуждены были очистить и находившуюся на западной границе Шопронкёхиду, они самых важных арестованных, в том числе Райка, три недели пешком гнали в Германию. Только после окончательного поражения гитлеровской армии Райк смог вернуться в Будапешт, где Ковач, подполковник армии США, быстренько, с помощью шантажа, поставил его «на службу американской разведке» (там же, с. 39); вскоре Мартон Химлер приказал ему, используя свое влияние в министерстве внутренних дел, которое Райк тогда уже возглавлял, внедрить на ответственные посты в государственном аппарате «людей, проводящих американскую политику или завербованных американской разведкой» (там же, с. 41).

Этот политический и человеческий портрет почти комедийно невероятен. Ведь, как говорил классик, нет такой плохой книги, в которой не нашлось бы что-то хорошее, нет и такого гнусного человека, в чьей жизни не нашлось бы хоть что-то человечное, что-то, вызывающее симпатию. И именно гипертрофированное расцвечивание деталей, перенасыщенность всяческими подлостями не могли не вызывать сомнений. Особенно потому, что из мастерской генерал-лейтенанта Белкина выпускались серийно портреты албанца Кочи Дзодзе[54], венгра Райка, болгарина Костова[55], чеха Сланского[56], и портреты эти не только были разительно похожи друг на друга, но подозрительно напоминали поблекшие иконы византийских ремесленников, золоченные, густо усыпанные поддельными драгоценностями.

Однако эти отрешенные, застывшие лики характеризовали не только византийский вкус высшей школы политической живописи генерал-лейтенанта Белкина и маршала Сталина, но — предназначенные, в первую очередь, не на экспорт, а для внутреннего употребления — именно этой своей гипертрофированностью должны были на воровском жаргоне политической иконографии во всеуслышание объявить, что в Москве, центральной точке магнитных концентрических кругов коммунистического мира, не потерпят даже малейшей недисциплинированности, безжалостно покарают малейшее нарушение субординации.

Посвященные сразу и буквально поняли этот жаргон. Непосвященные же сперва содрогнулись от оглушительного окрика, затем обратили внимание на срежессированное единообразие правил, на все возраставшую жесткость призывов к бдительности, укреплению трудовой дисциплины, политическое доктринерство, умножение вселяющих страх указов, уменьшение самых малых свобод и радостей повседневной жизни и, наконец, став свидетелями церемонии ритуального убийства, поняли, что желают довести до их сведения верховные жрецы.

Вполне вероятно, что Белкин, просвещения простаков ради, для большей доходчивости, вернулся к практике московских процессов, и именно по этой причине обвиняемым на процессе Райка пришлось объявить себя троцкистами. Ведь согласно сталинской логике, проникшей в общественное сознание, честно заявить о несогласии с мудростью, изливавшейся из ядра московских концентрических кругов, было совершенно немыслимо. А если кто-то все же придерживается иного мнения, он — явный недоброжелатель, следовательно, троцкист. Троцкисты же предатели, и — в тех странах, где у власти не стоят коммунисты, то есть где полиция не коммунистическая или даже антикоммунистическая, — как на процессе было выражено устами Райка: «...троцкисты в международном отношении всегда и везде тесно сотрудничали с полицией» (там же, с. 34).

Поэтому не было ничего удивительного в том, что о югославских политических руководителях, которые до того были в чести у Москвы, пока не выступили против непогрешимости Сталина, сразу после разрыва выяснилось, что они тоже троцкисты и что югославы — бойцы интернациональной бригады в Испании уже в лагере Ле-Верне оказывали услуги французской полиции.

...Мне было ясно, — говорил Райк на главном процессе, — *что эти югославы в действительности завербованы «2-м бюро» и так же, как и я сам, выполняют его указания. (Там же, с. 35.)*

Больше того, когда Райк отдыхал летом в Югославии и встретился в Аббазии с Ранковичем, югославским министром внутренних дел, ему стало также ясно, что

не только Ранкович, Вукманович, Милич и другие, побывавшие в Испании, проводят троцкистскую политику и связаны с американской разведкой, но и сам Тито, глава югославского правительства (там же, с. 44).

Поэтому, обобщая это и другие свидетельства (Палфи, югослава Бранкова[57], Сёни), генпрокурор Дюла Алпари заявил:

Этот процесс разоблачил сторонников Тито, основную часть членов нынешнего правительства Югославии, как пособников американских империалистов, как самых заурядных агентов империалистических разведок (там же, с. 222).

Прокурор уже упрощал. Он опустил упоминание о троцкистах, которое, по логике Москвы, позволяло установить причинную связь между принципиальными разногласиями и работой на иностранные державы. Таким образом, Алпари, с одной стороны, уклонился от возможных идейных споров, а с другой, исключил всяческие предположения, что между Москвой и Белградом, собственно говоря, идет поединок принципов. Своим упрощением Алпари попытался свести суть процесса к примитивному антагонизму между капитализмом и социализмом, реакцией и прогрессом, а в конечном счете, к исконно религиозному и традиционно общепонятному антагонизму между добром и злом.

Идеологи коммунизма на протяжении десятилетий трубили о непримиримых противоречиях социализма и капитализма. Хотя во время войны на открытом пропагандистском фронте действовало treuga dei*, на тайных или закрытых собраниях коммунистов ораторы — по крайней мере, по моему южно-американскому опыту — рисовали западных союзников как коварных врагов, в любую минуту готовых нанести удар, они подчеркивали, что в период, когда принципиальная борьба отложена, коммунисты должны максимально укрепить свои

* Временное перемирие *(лат.)*.

отложена, коммунисты должны максимально укрепить свои позиции в стане временных союзников-капиталистов, поскольку столкновение и выяснение вопроса «кто кого» все равно неизбежны.

Тот же самый ход мысли и способ действий приписывал прокурор и противнику, заявляя:

Из материалов процесса явствует, что американская разведка еще во время войны с Гитлером готовилась к борьбе против социализма и демократии. Не только дипломатическими и политическими средствами, но и подлыми попытками разложить демократические силы и революционные рабочие партии изнутри. За спиной Ранковича стоит тень Филда и Даллеса. (Там же, с. 226.)

И все же Белкин направлял острие признаний в первую очередь не на западные державы, больше того, упоминание тени Даллеса само по себе также было лишь бутафорией, необходимой для очернения югославов. Эту главную и истинную цель процесса, «его международное значение», по выражению прокурора, обвинительное заключение освещает так:

Правда состоит в том, что венгерский народный суд, вынося приговор Ласло Райку и организованной им банде заговорщиков, в политическом и моральном смысле выносит свой приговор также предателям Югославии, преступной банде Тито, Ранковича, Карделя, Джиласа. Международное значение этого процесса именно в том, что мы выносим приговор югославским предателям и ренегатам демократии и социализма. (Там же, с. 222.)

Составители текста отрицали даже то, что эти предатели и ренегаты вообще имели когда-либо желание способствовать осуществлению социализм в любой — пусть неправильно понятой — форме. Ведь, как говорится в показаниях Райка, Ранкович ему заявил, что:

ни Тито, ни другие члены югославского правительства после освобождения не хотели установления народной демократии и, тем самым, построения социализма в Югославии. То, что они, как члены правительства, все-таки были вынуждены провести такие революционные мероприятия, которые по существу и де-факто вели к ликвидации капитализма, происходило вовсе не потому, что они всерьез желали осуществить эту программу, а потому, что им приходилось так поступить под давлением югославских трудящихся. (Там же, с. 53.)

Белкин, чтобы еще больше сконцентрировать огонь на югославах, не побоялся прибегнуть даже к идее, абсурдной не только с логической, но и с практической точки зрения, что, мол, западные державы передали свои разведывательные службы Тито; так они ему доверяли, так тесно с ним сотрудничали. Райк говорил:

Тогда же Мартон Химлер сообщил мне, что, по всей вероятности, это будет моей последней беседой с ним и вообще с американской разведкой, поскольку всю свою агентурную сеть они передают

ведкой, поскольку всю свою агентурную сеть они передают югославам, и в будущем указания относительно дальнейших действий я буду получать по югославской линии. (Там же, с. 41.)

Действия же эти, которые, таким образом, планировались уже не империалистами Запада, а маршалом Тито, должны были заключаться в следующем:

Прежде всего, — говорил Райк, — *они хотели обеспечить себе полный контроль над вооруженными силами, то есть венгерской армией и полицией... Премьер-министр Тито, разумеется, имея перед глазами конечную цель, то есть создание блока государств, требовал от Венгрии такой внешней политики и гарантий ее, которая бы неизменно следовала югославской внешней политике, то есть и в области внешней политики Венгрия стала бы подчиненной правителству Югославии. Наконец, поскольку Югославия в промышленном отношении менее развитая страна, он потребовал, чтобы вся венгерская промышленность, даже в ущерб интересам Венгрии, в первую очередь поставила себя на осуществление пятилетнего плана и экономической политики Югославии. (Там же, с. 63.)*

К концу сентября 1949 года, когда прозвучала обвинительная речь прокурора, эти приписываемые Югославии планы относительно Венгрии Советский Союз давно уже осуществил; разумеется, на пользу себе. Поэтому филиппика прокурора, претендовала не только на легко доступные в народных демократиях, но столь же быстро увядающие ораторские лавры, но также служила замаскированной, однако общепонятной угрозой. Угрозой тем, кто мог бы подумать, что высказывания представителя обвинения скорей относятся не к Югославии, а к Советскому Союзу, не к Райку и его товарищам, а к присланным в Венгрию из Москвы партийным функционерам; ибо Алпари говорил так:

Очевидно и то, уважаемый народный суд, что заговор Райка и его банды был нацелен на предательство венгерской независимости, уничтожение национального суверенитета. Эта банда сговаривалась о том, как загнать Венгрию под чужеземное иго, превратить нашу родину в колонию иноземного государства, образовать правительство из иностранных шпионов и агентов, создать вместо самостоятельной и независимой Венгрии такой режим, который бы выполнял приказы танцующих под чужую дудку агентов, предавал национальные интересы венгров. (Там же, с. 220.)

Присланные из Советского Союза партийные руководители, разумеется, все как один — передовые борцы за венгерскую независимость и «под чужую музыку» не пляшут, поэтому югославы и заявили Райку:

Тито безоговорочно настаивает на том, чтобы во время путча, одновременно с путчем арестовать венгерское правительство, а трех

его членов, Ракоши, Герё и Фаркаша, немедленно уничтожить. (Там же, с. 63.)

По чистой случайности и Ракоши, и Герё, и Фаркаш вернулись в Венгрию следом за русской армией. Сотрудничество двоих из них, Герё и Фаркаша, с советской госбезопасностью, их рабочие связи с ее органами, по-разному называвшимися в разное время и в разных местах, были столь тесными и столь давними, что это не могло оставаться тайной даже для мало осведомленных людей от Испании до Венгрии. При этом большинство вернувшихся из Советского Союза коммунистов, в том числе Ракоши, Герё и Фаркаш, вероятно, хранило в ящиках письменного стола по два паспорта: венгерский и советский; это подтвердилось в 1956 году, когда многочисленные «москвичи» с советским паспортом в кармане пустились наутек. Избирая именно этих людей в качестве жертв запланированных коварных убийств, редакционная комиссия, работавшая над показаниями подсудимых, хотела не только представить их в лучах весьма двусмысленной, впрочем, славы, но и однозначно оповещала на языке советской литургии, что Ракоши, Герё, Фаркаш и им подобные представляют, в противовес еретикам, веру истинную. Ведь этот процесс, по их замыслу, должен был стать крестовым походом против еретиков.

Социал-демократы получали в ходе процесса лишь косвенные удары; второстепенной целью был и поиск среди обвиняемых виновников неудач народно-демократического власти в Венгрии. Также второстепенным, на первый взгляд, мог показаться и другой момент, хотя в действительности он уже предвещал новые процессы, тотальную мобилизацию сил для новых крестовых походов, о чем нетрудно догадаться по тем частям показаний, которые, по мнению Алпари свидетельствовали, что *«подрывная работа югославских предателей и шпионов»* осуществлялась теми же методами *«не только у нас, но и во всех странах народной демократии от Албании до Польши, от Румынии до Чехословакии»* (там же, с. 225), больше того: *«свою подрывную работу банда Тито, рука об руку с американской разведкой, проводила не только во всех странах народной демократии, но и в тех капиталистических странах, где сильно рабочее движение, где существуют имеющие огромное влияние на массы коммунистические партии» (там же, с. 15).*

Другими словами, отступничество еретика Тито угрожало гармонии московских магнетических кругов уже на всем пространстве магнитного поля в целом, то есть по всему миру, и к тому же — можно добавить — не только тем, что между одновременно присутствующими центробежными и центростремительными силами оно давало импульс именно центробежным, но и возможностью, что Белград чего доброго станет новым ядром, что вокруг него образуются новые магнитные круги, ко-

торые будут не просто пересекать, но и вносить путаницу в концентрические поля Москвы.

Это было уже такой ставкой, ради которой советские лидеры сочли возможным и даже необходимым взять на себя и ответственность и риск за полную абсурдность обвинений и признаний на процессе Райка и последовавших за ним аналогичных процессах.

От замечаний и опровержений, прозвучавших извне концентрических кругов, советская пропаганда и пропаганда народно-демократических стран отмахивалась с высокомерной иронией: разумеется, они все отрицают, ведь волшебная палочка социалистической законности, проливающая свет истины, умеющая заставлять говорить правду, их еще не коснулась. Поэтому официальный орган венгерской компартии так откликнулся на появившееся в «Нью-Йорк Таймс» заявление Аллена Даллеса: «В интервью, равносильном признанию, мистер Даллес, следуя общеизвестному методу империалистов, конечно, попытался все отрицать». (Сабад неп, 14 сентября 1949 г.)

Однако на периферии магнитных кругов коммунистического движения, как вода, отделяющая пустую породу от золота, верных от неверных отделил следующий вопрос: верят ли они нелепым обвинениям или не верят? Потому что обвинительная речь, признательные показания, да и сам ритуал процесса, потребовавшего жертвоприношений, угадываемое в этом ритуале послание апеллировали не к разуму, а к вере, к той порождающей религиозное смирение логике, что приписывают святому отцу Тертуллиану: *credo, quia absurdum est* — верую, ибо нелепо. Что касалось менее закаленных и колеблющихся коммунистов из внешнего круга, то партия удовлетворялась и тем, что они принимали реплику Тертуллиана в едкой интерпретации Ницше: *credo, quia absurdus sum* — верую, потому что я простак, потому что не образован, потому что в высокой политике ничего не смыслю.

Менее удаленные от высокой политики, размещавшиеся, в основном, где-то посредине партийные круги придерживались уже значительно более современных взглядов, нежели постулат Тертуллиана. Чтобы охарактеризовать их, обратимся не ко II веку, а к выдающемуся схоласту XI века Ансельму Кентерберийскому, отцу онтологического метода. Ансельм доказывал объективное существование Бога, исходя из субъективного идеала Бога. *«Credo ut intelligam»* — писал он, — верую, чтобы понять. Вообще в среднеудаленных кругах венгерской коммунистической партии все-таки еще верили в партию или хотели в нее верить, чтобы понять ее действия, и потому утверждения, прозвучавшие на процессе Райка, их субъективная вера истолковала как объективную действительность. Этот онтологический ход мысли, быть может, под

воздействием нашего времени именуемый рациональным, кое-кто старался дополнить и подтвердить собственным опытом, чтобы позднее, годы спустя, после нашего освобождения встретиться с нами и — тогда уже — стыдливо, с грустной самоиронией рассказать, какие литературные или художественные наши увлечения, какие наши заявления или дружеские связи сделали нас в их глазах подозрительными.

Среди коммунистов из ближних кругов было немало таких, кто считал отдельные эпизоды из материалов процесса невероятными, другие же эпизоды, именно благодаря знанию фактов, считал просто измышлениями. Но субъективно и они доверяли партии и верили, по крайней мере, в ее прагматическую мудрость, а потому и в объективную виновность Райка и его сотоварищей, так как считали недопустимой самую мысль, чтобы партия жертвовала ни в чем не повинными людьми. А судят ли Райка за действительные его провинности или за политические преступления, изложенные таким образом, как в данный момент это выгодно партии, — этот вопрос они считали пустой формальностью. Именно так сформулировал свою позицию один из бывших членов ЦК, то есть человек из внутреннего, хотя и не самого ближнего круга; в то время, когда Райку был вынесен приговор, он еще принимал участие в заседаниях ЦК, но через год с небольшим и сам оказался в тюрьме.

Итак в концентрических кругах коммунистов послание режиссеров процесса, апеллирующее к вере, достигло цели, хотя многообразные виды веры — от тертуллиановского слепого devocio* до просто доверия к практическому разуму партии — были не только разного качества и глубины, но еще и пронизывались множеством личных побуждений, страхов и интересов. Настолько, что некоторые члены партии даже годы спустя, даже после пережитого разочарования не были способны с действительно убедительной объективностью разобраться в мотивах своей прежней доверчивости.

Естественно, уже в 1949 году, были среди коммунистов и сомневавшиеся. Когда я говорю о коммунистах, то имею в виду не похвалявшуюся миллионом членов, но крайне разношерстную Венгерскую партию трудящихся, а действительно убежденных приверженцев провозглашаемой ими идеи. Причиной колебаний и сомнений этих людей был не столько крестовый поход против югославских еретиков, сколько военные действия этого крестового похода, проводившиеся в Венгрии, дабы предупредить возникновение сходного с югославским образа мыслей и заранее истребить в Венгрии способные или хотя бы склонные к противостоянию и вообще подозрительные элементы. К таким элементам относились вернувшиеся на родину с Запада коммунисты-

---

* Поклонения *(лат.)*.

интеллектуалы, венгерские добровольцы, участвовавшие в гражданской войне в Испании, и «старая гвардия» нелегального венгерского коммунистического движения. Сомневающиеся с трудом могли допустить, что эти арестованные — зачастую их давние друзья, их руководители и даже идейные кумиры — уже тогда были полицейскими агентами, когда участвовали в подпольном движении, когда рисковали своей жизнью в Испании ради того, чтобы выполнять шпионские задания, а после 1945 года поступили на службу иностранных разведок.

Однако внутри венгерских концентрических кругов таких сомневающихся коммунистов нашлось меньше, чем беспартийных, не поверивших признаниям, прозвучавшим на процессе Райка. А поскольку основная часть населения страны как практически, так и теоретически была против социализма московского образца, создалось более чем странное положение, поскольку именно самый ближний круг партии — «москвичи» и руководители УГБ — отныне действительно могли с полным правом сказать о себе, «что душою и помыслами своими они неразрывно слились с подавляющим большинством венгров». Ведь посвященные партийцы точно так же не верили в признания, озвученные на процессе Райка, как не верили и противники коммунистов, чье недоверие делало их изначально невосприимчивыми к откровенно рассчитанному на веру шумному ритуалу процесса.

Но если партийные руководители-»москвичи», как и не принадлежавшие к партийным кругам миллионы, пусть по разным причинам, но одинаково воздерживались открыто выражать свое неверие, партия внутри партии, УГБ — по крайней мере, со своими узниками и жертвами — не ломала комедии. Больше того, иногда свою осведомленность охотно демонстрировали даже те офицеры УГБ, которые не принимали участие в подготовке процесса. От следователей УГБ мы не избавились и после того, как были уже осуждены. Они наведывались к нам в тюрьму чуть ли не ежемесячно и допрашивали о тех или иных лицах, требовали тех или иных сведений. Часто они приводили с собой своих молодых коллег, чтобы начинающий следователь учился методам допроса и даже попрактиковался сам, без риска совершить какую-либо оплошность.

Мой товарищ по партии, Дёрдь Хелтаи, находясь в Вацской тюрьме, однажды столкнулся на допросе именно с такой парой, и, поскольку эта короткая сценка бросает благоприятный свет на похвальную откровенность УГБ, я не могу умолчать о ней, хотя бы ради объективности.

Рядом с опытным следователем на этот раз сидела молодая женщина: практикантка. Девушка выполняла секретарские обязанности, она записала личные данные заключенного, спросила, на какой срок он осужден и за что.

— На десять лет, якобы за шпионаж, — ответил Хелтаи.

— Что значит, якобы за шпионаж? Уж не хотите ли вы сказать, что шпионажем не занимались?

Хелтаи пожал плечами и холодно, бесстрастно ответил:

— Не занимался.

Молодая девушка возмутилась, вскочила на ноги, сердито обругала узника, потом громко и с достоинством заявила:

— Наш демократический суд никогда не осудит невиновного на десять лет.

Опытный следователь вскоре за чем-то выслал девушку и поспешил объясниться с Хелтаи чуть ли не виноватым тоном:

— Товарищ следователь еще не в курсе. Она у нас недавно…

Члены самого ближнего круга организации вкушали от древа знания непосредственно, поэтому от них веры не требовалось. Однако, независимо от того, верил человек или не верил, он так или иначе понял смысл откровения, сделанного на условном жаргоне политической иконографии, а если колесики в голове у него крутились туго, то он понял его по событиям, которые за процессом последовали. Ибо ни в Венгрии, ни за границей не могло долго оставаться тайной, что тройная цель процесса Райка — во-первых, крестовый поход против уже обнаружившего себя югославского еретичества, во-вторых, в качестве профилактики такого же рода ереси в Венгрии, «прополка» и компрометация «коммунистов западной ориентации» и «старой гвардии», в-третьих же, общее запугивание населения Венгрии и соседних стран ритуалом человеческих жертвоприношений — все эти три цели, каждая по отдельности и все вместе, служили окончательному утверждению власти Москвы и обеспечению бесперебойной работы ее приводных механизмов. Однако Москва крепче натягивала вожжи в странах-сателлитах не только из соображений престижа или каких-либо отдаленных военно-политических целей, но, в первую очередь, потому, что в 1949 году внешняя политика Сталина исходила из вероятности, что мир стоит на пороге новой большой войны.

В военном отношении Советский Союз ощущал себя сильным. Западная Европа казалась беззащитной перед русской агрессией. Американская программа вооружений еще только разворачивалась, атомная же бомба уже не являлась монополией США. Поэтому Сталин считал время достаточно подходящим для того, чтобы даже пойти на риск третьей мировой войны.

Среди верных Москве политических руководителей стран-сателлитов генеральный секретарь Венгерской партии трудящихся усерднее всех старался предугадать планы Сталина, его желания. И тому было немало причин. Дело в том, что Сталин не любил Ракоши и, больше того, весьма долго не доверял ему.

Поэтому непосредственно после окончания войны, и едва ли по указанию из Москвы — что свидетельствовало об относительной самостоятельности венгерских коммунистов в этот период, — будапештские пропагандисты стали плести легенды вокруг личности Ракоши. Так, они стали утверждать, что вождем венгерской пролетарской диктатуры 1919 года был, собственно говоря, именно Ракоши; больше того, когда во времена адмирала Хорти Ракоши отсиживал срок, он даже из камеры Вацской тюрьмы руководил нелегальным движением венгерских коммунистов.

Эти романтические истории в Будапеште вызывали только усмешку. Даже самые далекие от политики люди помнили, что во главе венгерской советской республики стоял Бела Кун[58], который во время московских антитроцкистских процессов исчез, уже навсегда, и, согласно советским правилам хорошего тона, память о нем бесследно исчезла из истории венгерской партии. Его имя было упомянуто вновь лишь через несколько лет после смерти Сталина: в 1956 году, к 70-летию Куна в «Правде» появилась статья о диктаторе венгерской советской республики. Однако замалчивание роли Белы Куна не меняло того, что в 1919 году на долю Ракоши доставались только второстепенные поручения, и составители появившейся к 30-летию пролетарской диктатуры иллюстрированной книги памяти напрасно тратили свое время, отыскивая фотографии, которые бы увековечили Ракоши в обществе известных, но не казненных Москвой руководителей венгерской советской республики. А венгерские коммунисты, некогда сидевшие в Вацской тюрьме, в узком дружеском кругу описывали Ракоши как агрессивного, превыше всего ставившего свои физические преимущества человека, который и не мог бы — даже если бы у него были столь честолюбивые мечты — руководить нелегальным движением; не только из-за незнания истинного положения дел, но также из-за отсутствия связей по другую сторону тюремных стен.

Однако, в отличие от этих легенд, правдоподобными представляются вторящие друг другу рассказы многих московских венгров. Судя по ним, когда Коминтерн в 20-х годах направил Ракоши в Венгрию продолжать в Будапеште подпольную работу и венгерская полиция его арестовала, Ракоши, чтобы облегчить свое положение, дал показания против своих товарищах, возведя на них тяжелые обвинения. По крайней мере, такие сведения распространял в Москве Бела Кун, который в это время был еще высокого ранга коминтерновским функционером. Возможно, известный своими интригами Кун просто сочинил это, подкрепив обвинения фиктивными доказательствами, чтобы заранее положить на обе лопатки возможного соперника. Но Сталина убедить ему уда-

лось, так как по личному указанию Сталина членство Ракоши в партии было приостановлено.

В середине тридцатых годов Ракоши уже почти отсидел свой срок, но в это время в Будапеште против него возбудили новый процесс — за такие действия во время пролетарской диктатуры, к которым он не мог иметь никакого касательства, — и вновь осудили. Такое было необычно даже в практике венгерского суда межвоенных лет. Поэтому процесс Ракоши дал повод Режё Санто, тогдашнему секретарю московской венгерской коммунистической фракции[59], выступить перед Сталиным с предложением: восстановить членство Ракоши в партии и организовать в защиту Ракоши международное движение. И Сталин, после только что прошедших в Москве троцкистских процессов, принял план и мотивировку Санто, потому что явно фальсифицированный процесс Ракоши и приговор, освятивший беззаконие судопроизводства, действительно пришелся кстати, чтобы отвлечь от московских процессов внимание левого западного общественного мнения, особенно же, возможно, заколебавшихся попутчиков.

Движение за освобождение Ракоши превратило будапештского узника в мученика, его имя стало известно по всей Европе, и дальнейшее содержание его в тюрьме стало для будапештских властей крайне неприятно. Поэтому, после заключения советско-германского пакта, венгры начали переговоры с Москвой и сошлись на том, что Москва возвратит в Будапешт знамена освободительной войны 1848—1849 годов — которые были захвачены русскими, когда царь Николай I, в помощь габсбургскому дому и для подавления венгерского освободительного движения, обрушил на Венгрию войска генерала Паскевича, — а Будапешт освободит из тюрьмы Матяша Ракоши и позволит ему выехать в Советский Союз.

Так Ракоши перед началом Второй мировой войны оказался снова в Москве. Правда, он получил в Кремле кабинет, но не получил сколько-нибудь ответственной должности. Больше того, — как рассказывали многие московские венгры в тюрьме, а после падения Ракоши и вне тюрьмы, — Сталин не раз и далеко не в самом узком кругу отзывался о Ракоши презрительно и нередко называл его «английским агентом». Поводом послужило то, что Ракоши до Первой мировой войны побывал в Англии, любил и позднее рассказывать о своих английских впечатлениях и не ограничивался лишь враждебными замечаниями или ритуальными проклятиями в ее адрес.

Все это помня, венгерские коммунисты, вернувшиеся из Москвы, были несколько удивлены, когда после окончания войны Кремль во главе Венгерской коммунистической партии поставил все-таки Ракоши. Конечно, задним числом, зная события последовавших за тем пятнадца-

ти лет, легче найти объяснение в том, что Сталин намерен был опираться, в первую очередь, не на компартию, а на присутствующие в стране советские войска и на созданную с помощью МГБ партию внутри партии — венгерскую политическую полицию. Поэтому, а также потому, что венгерских коммунистов, активно действовавших в тайных кабинетах и коридорах Коминтерна, в Венгрии никто не знал, а Ракоши стал коммунистическим героем благодаря затеянной ради его освобождения кампании, Москве не хотелось потерять вложенный в пропаганду капитал, больше того, желательно было получить с него проценты, выдвинув Ракоши на передний план.

Ракоши чувствовал ненадежность своего положения и потому после 1945 года не только преданно осуществлял каждое указание Москвы, но стремился особенным усердием выделиться из числа вождей других народных демократий. В 1948 году на совещаниях Информбюро Ракоши острее всех обличал Тито и не гнушался даже провоцировать еще не обострившиеся противоречия, а затем доносить на югославов Кремлю.

Четырехлетним стойким служением, в особенности же усердной деятельностью против еретиков, Ракоши все-таки рассеял, в конце концов, подозрительность Сталина, и в венгерской партийной печати, не вызывая недовольства Москвы, он неизменно прибавлял теперь после своего имени истинно гомеровский эпитет: «лучший венгерский ученик товарища Сталина». Он принимал деятельное участие в подготовке процесса Райка и составлении протоколов допросов. Он не только держал постоянную телефонную связь с руководством УГБ, но, случалось, и с работавшими в пыточных кабинетах «специалистами». Часто лично снабжал указаниями следователей, а своими соображениями, идеями, как поярче раскрасить детали, обогащал политическую иконографию генерал-лейтенанта Белкина. Правитель прислушивался к генсеку ВПТ, и, таким образом, Ракоши мог вмешиваться решающим образом не только в детали, но и в то, кого следует арестовать, кому какую роль отвести. Однако относительно личности главного обвиняемого он мог лишь вносить предложения, и в этом вопросе последнее слово было даже не за Белкиным, а за самим Сталиным. Тем не менее Белкин, прежде чем докладывать Сталину, учитывал суждения Ракоши и Габора Петера. На совете этой тройки — рассказывали позднее посвященные — возникала и такая идея: предложить в качестве главаря шпионов империализма и титовских агентов не Райка, а, может быть, Имре Надя или Яноша Кадара.

Все признаки говорят о том, что в Москве без всяких сантиментов, бесстрастно и холодно взвешивали, кого сделать главным обвиняемым. Наиболее весомым считалось не то, кто более других способен сопротивляться, кого более других можно заподозрить в еретичестве, кого по этой причине желательно загодя удалить в первую очередь, ведь у

Кремля в Венгрии и без показательного процесса было в распоряжении достаточно средств, чтобы организовать бесследное исчезновение кого угодно, когда угодно, с какого угодно поста, из какой угодно отшельнической берлоги. Самым важным было выбрать такую фигуру, которую можно было бы превратить в орудие крестового похода против еретиков, сделать орудием для всеобщего устрашения, кого можно внушающим хоть какое-то доверие образом выставить перед миром предателем московской идеологии.

Вернувшиеся на родину из Советского Союза — хотя и из них коекто оказался в тюрьме после второстепенных закрытых процессов — в расчет не шли. Ведь открытым осуждением любого московского венгра Кремль, с одной стороны, расписывается в провале своей воспитательной системы, признает, что и в Советском Союзе еретики возможны, с другой стороны, очень уж трудно людей, десятилетиями живших в советской изоляции, связать с западными разведывательными службами, да если бы и удалось, это опять-таки свидетельствовало бы о слабости, создавая впечатление, будто западные разведки проникли вглубь боевых позиций СССР.

Таким образом, выбор мог пасть только на человека, которого взрастили как коммунистического вожака не в Советском Союзе, и потому, в качестве противника просоветской идеологии, он может быть наказан конкретно как личность, а также символически — во устрашение — как представитель определенной категории, а возможно, и нескольких категорий людей одновременно.

В выборе главного обвиняемого организаторам процесса оказала помощь — хотя и невольно — западная пресса. Она подала им идею. Уже в 1948 году авторитетные газеты как Европы, так и Америки публиковали на своих страницах корреспонденции о трениях между Ракоши и Райком, о фракционной борьбе внутри партии. Они изображали Райка представителем некоего национального коммунистического направления, а Ракоши — наместником московского коммунизма. Вполне вероятно, что после таких высосанных из пальца сообщений сам Кремль или его венгерские доверенные лица сознательно подпитывали слухи о внутренних разногласиях в коммунистической партии, хотя нельзя утверждать, что уже тогда их планы сформировались во всех деталях. На самом деле фракционная борьба не могла иметь места хотя бы уже потому, что вес Райка внутри коммунистической партии был намного меньше, чем полагали люди со стороны, имея в виду занимаемый им пост в государственном аппарате; по сути дела у него и не было возможности собрать вокруг себя сколько-нибудь значительную группу.

Вернувшиеся из Москвы на родину партийные деятели и не считали Райка себе равным. Эрнё Герё заметил как-то одному своему сотрудни-

ку, доброжелательно, впрочем, но и пренебрежительно, что Райк, несмотря на все свои достоинства и боевое коммунистическое прошлое, крайне неопытен и несведущ в деле партийного руководства.

Райк бывал в Советском Союзе только как гость, он действительно не разбирался в кремлевских интригах, да и не выглядел человеком, которого стоило бы посвящать в тайные хитросплетения. Но, в противоположность западным домыслам, даже самым близким ему людям, друзьям, доверенным лицам не приходило в голову (даже накануне революционных событий 1956 года, когда подобная мысль уже была бы не только не опасной, но скорее вызвала бы к жертве симпатию), чтобы Райк когда-либо вынашивал идею некоего национального коммунизма, желал быть представителем этого направления в партии или пытался организовать фракцию, а еще менее — чтобы он схлестнулся с Ракоши по какому-то значительному вопросу.

Зерно истины в подобных толках состояло всего лишь в том, что Райк, в рамках интернационального коммунистического движения, ощущал себя *венгерским* коммунистом и в этом отношении безусловно отличался от коминтерновских технологов венгерского происхождения. Ибо коминтерновские инструкторы рассматривали и свою родину просто как область деятельности, одну из многих. Венгрия была предпочтительней, чем Бельгия, Скандинавия, Испания или Монголия, лишь потому, что пользоваться языком этой страны им было легче, чем языками, освоенными по учебникам, хотя многие из таких функционеров после долгого отсутствия говорили по-венгерски с иностранными интонациями, коверкая фразы и пользуясь удручающе бедной лексикой.

Регулярные сообщения западной печати о противоречиях между Ракоши и Райком, а также сияющий и основательно раздутый венгерской пропагандой, окрашенный в национальные цвета ореол вокруг головы Райка и сделали министра-коммуниста — как для зарубежья, так и внутри страны — пригодным для исполнения главной роли в процессе.

В 1945 году венгерская коммунистическая партия еще нуждалась в таком руководителе, которого можно было бы считать героем венгерского Сопротивления — правда, по сравнению с Сопротивлением в других странах, весьма слабосильного, — но все же противостоявшего Гитлеру и венгерским фашистам. Нуждалась особенно потому, что большинство членов вернувшейся из СССР передовой гвардии, будь то Ракоши, Реваи или Фаркаш, никогда не осмеливалось приблизиться к гитлеровцам иначе как с помощью радио или в лагерях для военнопленных. Но в 1949 году, после антититовской резолюции Коминформа[60], прославлявшееся до того как национальная гордость прошлое Райка, участника Сопротивления, уже искушало кое-кого навесить бывшему добровольцу испанской интернациональной бригады обвинение в национал-уклонизме.

А между тем Райк безоговорочно, почти до наивности, верил в русских и — также в отличие от коминтерновских технологов — их не боялся. Делая какие-либо предложения в пределах своих полномочий или предпринимая какие-то действия, он не опасался того, что в Москве — даже если его соображения или действия сочтут неправильными, — этим самым будет поставлена под вопрос его верность партии. Да и навряд ли, в рамках той общей подозрительности, с какою русские смотрели на всех не в Москве обученных венгерских коммунистов, независимо от того, бывали они на Западе или нет*, к Райку испытывали какое-то особой недоверие. Даже после того, как он, министр внутренних дел, вмешался в организационные вопросы партии. Это сочтено было преступлением лишь задним числом, а в 1947-ом представлялось просто очевидным упрощением.

В то время, когда Райк был министром, в министерствах, государственных учреждениях, а следовательно, и в министерстве внутренних дел и в полиции, коммунисты состояли в парторганизациях по месту работы, а не по месту жительства. Партийные группы отдельных министерств входили в парторганизацию государственных служащих. Эта организация не могла вмешиваться в работу руководства министерств, ее местные ячейки занимались только проведением партийных дней, семинаров, политическим воспитанием и дисциплиной служащих, устраивали праздники, организовывали демонстрации. На их собраниях, митингах руководители высокого ранга обычно даже не появлялись. Поскольку, однако, в государственных учреждениях некоторые честолюбивые партсекретари жаждали расширить круг своего влияния, то иной раз между партийной организацией министерства и занимавшими высшие посты коммунистами — руководил которыми непосредственно самый внутренний круг — случались трения. Поэтому Райк настоял, чтобы коммунисты министерства внутренних дел — за исключением тайной полиции — не имели отдельной парторганизации, а, как члены партии, работали в районных организациях по месту жительства, подчиняясь начальникам своих учреждений только как служащие.

Подобную реорганизацию, по-видимому, вполне разумную, конечно, нельзя было осуществить без ведома и поддержки генерального секретаря Матяша Ракоши и политбюро. Таким образом, если позднее это распоряжение все-таки было сочтено неправильным и даже опасным, ответственность, по крайней мере, лежала на всем руководстве и даже, согласно обычной практике коммунистов, в первую очередь, на гене-

* Например, процесс Яноша Кадара и других коснулся тех венгерских коммунистических руководителей, которые не жили ни в Москве, ни на Западе. Этот тайный процесс состоялся почти через полтора года после процесса Райка. *(Прим. автора.)*

ральном секретаре. Из чего ясно, что центральное руководство партии позднее воспользовалось перестройкой партийной организации министерства внутренних дел лишь как предлогом, обвинив в этом одного Райка и, можно сказать, в наказание, перебросив его в МИД. Когда на процессе в этой реорганизации обвинили Райка, для всех, кто хоть сколько-нибудь был сведущ во внутренней жизни партии, была очевидна заведомая ложность выдвинутого против Райка обвинения. Ведь у Райка, игравшего в партийном руководстве лишь второстепенную роль, попросту не было возможности для подобных самостоятельных действий.

Таким образом, Белкин вложил в уста Райка текст о роспуске партийных организаций в министерстве внутренних дел и в полиции, по-видимому, не только для компрометации югославов, не только ради убеждения непосвященных, но и затем, чтобы ввести в заблуждение не информированных западных наблюдателей относительно внутреннего устройства венгерской коммунистической партии, истинных пределов власти ее управляемых из Советского Союза руководителей. Ибо бывший министр в признательных своих показаниях говорил так:

Наконец, во второй половине 1947 года, то есть после встречи в Келебии[61]*, поступило еще одно указание от Тито и Ранковича. Нужно было вырвать из-под влияния Коммунистической партии, вообще из-под влияния народной демократии все вооруженные силы, полицию, армию и как можно скорее политически поставить их под влияние правых сил. Один из способов осуществить это, — указывалось мне далее, — состоит в том, что я должен прекратить в рамках полиции любую политическую деятельность партийной организации, тем самым одним выстрелом убив двух зайцев. Во-первых, освободив полицию от политического влияния народно-демократического режима, а следовательно, от политического влияния и контроля Коммунистической партии. Во-вторых, как министр внутренних дел, став неподконтрольным партии полновластным хозяином и руководителем полиции... (Ласло Райк и его сообщники перед народным судом. Будапешт, Сикра, с. 49.)*

Реорганизация партийных групп коснулась только работников министерства и не самых значительных по сравнительной численности и значимости отделов полиции (криминального, транспортного и т.п.), политическую же полицию, тогда еще именовавшуюся Отделом государственной безопасности, не коснулась вовсе и никоим образом не угрожала непосредственным контактам Москвы с венгерскими органами госбезопасности. Да и не могла угрожать, ведь служба госбезопасности лишь формально была подчинена министерству внутренних дел — а позднее, когда ее официально объявили самостоятельной организацией и назвали Управлением государственной безопасности, — это Управле-

ние считалось подведомственным Совету министров, опять же только для видимости, поскольку в действительности венгерскими органами безопасности с первой минуты их существования руководили русские.

Довольно долго заместителем начальника ОГБ при Габоре Петере был офицер МГБ венгерского происхождения по фамилии Ковач. В 1948 году Ковач отправился в Москву, как говорили, для лечения язвы желудка, но в Венгрию так и не вернулся. В Будапеште распространились слухи, что он умер в одной из московских больниц. Место Ковача занял Эрнё Сюч, который, будучи в эмиграции в СССР, также состоял на службе МГБ. Руководители венгерской тайной полиции, как и Ковач, и Сюч, бывшие офицеры МГБ, само собой, беспрепятственно поддерживали связь со своими московскими начальниками, тем более, что факт сотрудничества МГБ и венгерской службы госбезопасности не был секретом и для министра внутренних дел Венгрии. Но, поскольку перестройка партийных организаций его министерства не затрагивала интересов Москвы, ибо не угрожала дееспособности приводных механизмов, то критика, прозвучавшая в политбюро партии, охарактеризовавшего действия министра как непартийное поведение, хотя и задела и обидела Райка, но свой перевод в министерство иностранных дел — сопровождавшийся утешительными комплиментами — он не посчитал опалой.

Однако в период подготовки процесса Яношу Кадару и другим опытным уговорщикам, должно быть, удалось пробудить в преданном коммунисте чувство вины и, без конца тыча ему в глаза его непартийным поступком, убедить в том, что ему есть в чем покаяться перед партией и потому, во имя преданности партии, взять на себя выполнение поставленной перед ним задачи.

Пока Райк был жив, жертвами его фанатичной, безжалостной, а нередко жестокой преданности партии — той самой преданности, которой требовали от него в пыточных кабинетах, — пало немало его противников[62]. Но через несколько лет после его казни принятая им из той же самой мистической преданности партии смерть никому и ничему не повредила больше, чем объекту его преданности: коммунистической партии. Ибо позднее как раз отголоски процесса Райка и поколебали веру в партию, поколебали преданность партии тысяч некогда убежденных коммунистов.

8

«СУДИТ НАРОД»

Первый день главного судебного разбирательства был назначен на 16 сентября 1949 года. Газеты, полностью или в выдержках, напечатали обвинительное заключение, писали о «преступных замыслах Райка и Тито», которые «были разрушены благодаря бдительности ВПТ, Матяша Ракоши и правительства нашей народной республики» (Фюггетлен Мадярорсаг, 12 сентября 1949 г.), поток передовиц выходил под кричащими шапками, как, например, эта: «Поднявший руку на народное государство понесет заслуженное наказание!» (Сабад неп, 13 сентября 1949 г.) На заводах, в учреждениях, в столице и в провинции проходили митинги. Партийная пресса под жирными заголовками сообщала о всеобщем возмущении: «Голос Андялфёльда: дойдет очередь и до Тито». «Ответ красного Чепеля: окружим товарища Ракоши еще большей любовью». «От имени всех матерей, — говорит на митинге слесарной мастерской «Кишкёзпонт» рабочая Геллертхеди, — шлю нашу жгучую ненависть клике Тито, империалистам и их агентам» (Сабад неп, 13 сентября 1949 г.).

Коммунистическая партия праздновала «победу, одержанную благодаря разоблачению шпионской банды» (Сабад неп, 14 сентября 1949 г.), а на проспекте Андраши, 60, за железной дверью помещения МГБ в это время, и даже довольно давно, царило идиллическое настроение. В конце августа — самом начале сентября это помещение было превращено в милую интимную кондитерскую, где советские и венгерские офицеры тайной полиции угощали тех, кому предстояло понести заслуженное наказание, кофе, пирожными, фруктами и даже спиртным. Бесследно исчезли резиновые дубинки, все, что напоминало о мучительных событиях прошедших месяцев. Безжалостные мрачные физиономии гебешников ободряюще, обворожительно улыбались, и в следственных кабинетах, только что преображенных в обитель полицейского благодушия, кружила тошнотворная смесь запахов фруктов, пива, кофе, сладостей и мужского пота.

Эта кондитерская МГБ была местом действия последней, *третьей стадии реализации,* где занимались отделкой и декорированием, окончательной доводкой уже выстроенного из заготовленных элементов сооружения: готовили главное заседание судебного процесса.

Я еще ничего не знал о произошедших изменениях, когда переступил порог той железной двери. Напряженно пытался представить, что может

ожидать меня после допроса у Белкина, ведь я не бывал здесь с тех пор, как Сюч с многообещавшей поспешностью вытолкал меня из кабинета русского генерал-лейтенанта. Мою тревогу не развеяло и то, что в одном из кабинетов майор Каройи улыбнулся мне с обычной его слегка насмешливой веселостью и предложил сесть. Он был в одной рубашке и, лениво опершись на письменный стол, вытирал носовым платком вспотевший лоб.

— Так вот, — сказал он после нескольких вступительных фраз, — на открытом заседании большого процесса, на главном судебном разбирательстве вы, во всяком случае, участвовать будете.

— В качестве свидетеля? — спросил я.

— И да и нет, — двусмысленно ответил Каройи, — потому что, даже если лично вы там и не появитесь, участвовать, как я сказал, все же будете.

— Не понимаю, — недоумевал я. — Да и моего протокола, собственно говоря, нет.

Мое замечание показалось Каройи чрезвычайно забавным, потому что на этот раз он засмеялся не только громко, но и явно от души.

— Это доверьте нам. Хотя вашего протокола и нет, есть протоколы других, где фигурируете и вы. А вообще, можете радоваться. Вы счастливчик. Потому что, сделаете вы признание на главном процессе или не сделаете, в данный момент — понимаете? я сказал: в данный момент! — мы обращаемся с вашей особой так же, как со свидетелями. Хотя, — добавил он после короткой паузы, — вы этого и не заслуживаете. Ну да мы люди не мелочные.

С этими словами он пододвинул ко мне блюдо с пирожными и подал тарелочку:

— Угощайтесь.

Затем предложил кофе, фрукты и с усилием встал.

— Посидите пока. После подвала и вам не повредит немного подышать воздухом.

Он вышел. В кабинете зевал всего один следователь; как только я закончил пиршество, он тотчас угостил меня сигаретой; потом опять придвинул ко мне пирожные и фрукты. Каройи вернулся через добрых четверть часа.

— Вы один? — спросил он и, когда я довольно тупо поглядел сперва на следователя, потом на него, со смехом добавил: — Я имею в виду, в камере?

Майор, разумеется, знал, что я сижу в одиночке, поэтому продолжал, не дожидаясь ответа:

— Ну, ничего, теперь у вас будет товарищ. Все лучше, чем одному, верно?

Моего нового сокамерника звали доктор Лайош Бокор. Когда-то он работал в полиции, но в середине тридцатых годов открыл в Будапеште адвокатскую контору. Он состоял в родстве с семейством Райка и, когда Ласло Райка арестовали за коммунистическую деятельность, Бокор наводил справки по его делу в тогдашней политической полиции. Поначалу адвокат — ему было, вероятно, что-нибудь около шестидесяти — только это и сообщил, взволнованно перемежая сказанное какими-то безумными историями. Несколько дней назад, — рассказывал он, — сквозь стены камеры он слышал невероятный шум: уличные потасовки, отчаянные выкрики демонстрантов, рев мощных самолетов; а потом в тишине отчетливо, ясно разносились вопли уличных разносчиков газет, выкликивавших главные заголовки: «Ракоши свергнут, власть в руках у военных!» Скоро мы выйдем на свободу, — делал утешительный вывод из своих галлюцинаций доктор Лайош Бокор.

Несколько дней спустя его нервное напряжение спало, он больше не слышал ни самолетов, ни мальчишек-газетчиков, и со спокойной обстоятельностью рассказал, какие свидетельские показания собирается дать на процессе Райка. Его признание будет простым и коротким. Когда полиция в первый раз задержала Ласло Райка за распространение коммунистических листовок, Бокор по просьбе переполошившейся семьи посетил заместителя начальника полиции Имре Хетени. Хетени приказал привести арестованного в свой кабинет, положил перед ним напечатанное на машинке заявление, согласно которому Райк обязуется поставлять агентурные сведения полиции. Если он согласен и подпишет заявление, его немедленно освободят, — объявил Хетени. Райк попался на удочку и в присутствии Лайоша Бокора и начальника следственной группы Борсеки начертал свою подпись под текстом документа.

Я не допытывался у него и, думаю, напрасно пытался бы допытываться о деталях. Правда, мой сосед охотно распространялся о своем плодовом саде, но на мой вопрос — содержится ли в описанной сцене, якобы случившейся в кабинете Хетени, хотя бы крупица истины? — отвечать не стал. Я постарался понять поведение настроившегося на психологическую самооборону Бокора, который совсем по-детски, самозабвенно наслаждался кондитерскими радостями, смягчившейся атмосферой и, по-видимому, без каких-либо сомнений верил честному слову русского генерал-лейтенанта, пообещавшего свидетелю Лайошу Бокору, что еще в день суда, самое позднее вечером, он вернется домой к своей супруге.

Поэтому на вопрос Каройи, что я могу сказать о моем соседе по камере, я мало что мог сообщить. Нервы у него не в самом лучшем состоянии, отметил я, по-моему, он нуждается в медицинской помощи.

— Да все у него в полном порядке, — отмахнулся майор, — меня, в сущности, интересует одно: подтвердит ли он свои показания на заседании суда?

Я пожал плечами и пробормотал что-то банальное: откуда мне знать, я в нутро ему не заглядывал. Но счел должным сообщить соседу, какой вопрос мне задал майор. Произведенное этим впечатление поразило меня. Бокор прежде всего, хотя и не в первый раз за время нашего совместного существования, но еще более основательно, чем когда-либо, стал ощупывать, обстукивать стены, лежаки, дверь в поисках скрытого микрофона, потом, страшно взволнованный, наклонился к самому моему уху. Его тоже обо мне расспрашивали, прошептал он и стал Христом-Богом молить заключить с ним союз. Он не откажется от своих показаний — я должен сказать это Каройи и подчеркнуть: он будет придерживаться протокола, слово в слово.

Возбуждение обычно тихого Лайоша Бокора яснее всего доказало мне, что сцена, свидетельствовать о которой намерен бывший сотрудник полиции, вымышлена от начала и до конца. Я ничего ему не ответил, но, вероятно, какое-то инстинктивное движение выдало ход моих мыслей. Мой сокамерник стал всячески умолять меня. Я должен понять, если ему не поверят, для него это катастрофа, потому что его могут и не отпустить после суда, даже если против самих его свидетельских показаний у них возражений не будет. Он снабдит меня безопасными для него, всем и так известными сведениями, и я могу сообщить их, если будут меня расспрашивать. Но самое главное — внушить им, что у него, Бокора, и в мыслях нет отказаться от своих показаний. Он понимает, и не хочет впустую меня обнадеживать, что мое положение гораздо труднее, и навряд ли он может мне чем-то помочь. Но он клянется всеми святыми, что, если только выйдет на свободу, непременно сообщит обо мне моей семье и принесет подарок сыну — будто бы от меня.

Я передал Каройи то, что просил меня передать ему Бокор, вероятно, и Бокор передал мои слова: ни при каких обстоятельствах я не намерен подписывать предлагаемый мне протокол, признавать хотя бы самые легкие обвинения. Думаю, в этом причина, что я стал все более редким гостем кондитерской, и, поскольку даже как запасной свидетель, оказался безнадежен, сам майор все чаще обходил меня своим вниманием и перепоручал своим подчиненным, если иной раз все-таки приказывал привести меня в кондитерский рай. Вполне возможно, что сообразительный Каройи догадался о нашем сговоре, хотя Лайош Бокор так же твердо держался его, как я сам, и не проболтался не только тайной полиции, но и позднейшим своим сокамерникам.

Однако это соглашение все же создало скорее амбивалентно сдержанные отношения между нами, нежели дружбу. Мы оба противились

доверительной атмосфере, обычно подстегивавшей к общительности, какую провоцирует камера и вынужденное совместное в ней пребывание. Так что, после Эрди, Бокор был вторым по счету — и последним — товарищем по заключению, с которым мы, нарушая тюремный этикет, так и не перешли на «ты».

Обвиняемые и свидетели, окутанные ароматами кофе, пирожных и фруктов, повторяли, задалбливали наизусть протоколы собственных допросов. А венгерские и русские офицеры тайной полиции с дотошностью добросовестных режиссеров натаскивали как главных действующих лиц, так и второстепенных. Например, лысый, интеллектуального вида офицер МГБ показывал Бокору, повидавшему не один бурный процесс адвокату, как следует поклониться перед кафедрой суда, чтобы публика увидела в нем свободного, с чувством собственного достоинства человека, а не запуганного, униженного узника подвальных казематов.

После такой подготовки русские улыбались — теперь они постоянно улыбались: никакой погрешности, ошибки произойти не могло. Даже выглядевшие случайными обмолвки были запланированы, как было в свое время на троцкистских процессах. Так, например, в Москве Карл Радек как бы случайно оговорился и подставил под подозрение маршала Тухачевского; такие случайные оговорки будут и в Будапеште. Так, обмолвка свидетеля Эндре Себени означала смертный приговор полковнику Андрашу Виллани[63], — который слушал эти показания еще у себя дома, по радио.

Позднее в тюрьме я часто расспрашивал своих соседей об отдельных деталях последнего этапа *реализации.* Я не столько интересовался причиной легковерия обвиняемых и свидетелей — ведь, не имея иного выхода, они, естественно, искали спасения во внушаемом им оптимизме, — меня гораздо больше занимало явно изменившееся поведение сотрудников госбезопасности. Ибо в перерывах между репетициями офицеры УГБ и МГБ с какой-то чрезмерной и даже опасной откровенностью часто втягивали узников в доверительные беседы. Они посвящали заключенных в свои личные дела, вспоминали молодость, любовные интрижки и похвалялись деловыми успехами.

Так, Дюла Принц, до войны следователь хортистской полиции, а во время процесса уже начальник следственной группы УГБ, хвастался тем, что он единственный венгерский полицейский, чей метод работы приняли и применяли в Советском Союзе. И Принц подробно, с удовольствием описывал, каким образом супружескую пару с ребенком можно вынудить стать «д. л.»: то есть сделать родителей своими доверенными лицами — именно этим эвфемизмом именовало своих доносчиков УГБ.

Янчика, сынишка выбранной супружеской пары, — улыбался Принц, — отправляется в школу. Где-нибудь на углу его окликает приятный, всем своим видом вызывающий доверие мужчина: «Янчи, я друг твоего папы, мне как раз в ту сторону, где твоя школа, садись, подвезу». Ребенок садится и после окончания занятий, конечно, домой не приходит. Выясняется, что в школе его никто не видел, ни учительница, ни одноклассники. В полиции о нем ничего не знают. Ни в одной больнице, куда поступают пострадавшие от несчастных случаев, его нет. Обезумевшие родители мечутся по городу, но все напрасно, Янчи и след простыл. Проходит день, может, и два, наконец, в квартире несчастной пары появляется приятной наружности молодой человек. Он сообщает, что их ребенок может вернуться домой через час-другой. Но при одном — весьма легком — условии: в своем дружеском кругу и на работе они должны будут выполнять впредь такие-то и такие-то задания для УГБ. Если родители не соглашаются, молодой человек даже не угрожает. Он просто уходит. Еще несколько мучительных дней спустя он повторяет свое предложение. Еще не было человека, с гордостью говорил Принц, который бы, в конце концов, не согласился выполнять задачи «д. л.», тем более, что в стране народной демократии это вообще дело почетное, ведь сейчас все по-другому, не то, что в прогнившем буржуазном обществе.

Разумеется, рискованность подобной болтовни в большой мере уменьшало то, что для сотрудников тайной полиции не было тайной, какая судьба ждет их узников; что после открытого процесса даже свидетелям, всем без исключения, в ходе серийных закрытых процессов станет ясно, какую судьбу предназначили им внутренние круги — тюрьму или веревку. И если кому-то все же не пожелают пустить кровь, то совершенно неважно, приговорит его суд на шесть лет, десять лет или пожизненно, потому что в любом случае он даст подписку о неразглашении и навряд ли захочет делиться неподходящими мыслями в неподходящем месте. Поэтому полицейские больше полагались на скромность узников, чем на собственную профессиональную привычку к сдержанности и вынужденной конспиративной молчаливости. Наконец-то членам партии внутри партии представился случай нарушить гнетущую их, удушающую немоту, к тому же в присутствии людей, которых можно не опасаться и с которым они связаны чуть ли не интимными нитями. Ибо именно к таким отношениям приводило соавторство при создании вымышленных протоколов, а совместная отработка роли еще более укрепляла сознание сообщничества.

Почти каждый угебист — даже те, которые на этой третьей стадии *реализации* настолько вживались в вымышленную действительность, что уже и сами были близки к тому, чтобы в нее поверить, — входил в своеобразные родственные отношения с подготовленным к процессу

свидетелем. Он влюблялся в него, как мастер в творение рук своих, привязывался к нему и с ласковой гордостью поглядывал на свой шедевр. Это отношение постепенно становилось источником не только его разговорчивости, но иной раз и неких гуманных порывов, которые не искушали угебистов ближнего круга, во многих случаях уже выработавших в себе иммунитет. Иные из офицеров-гебистов могли так расчувствоваться, что — по тому или иному поводу — пытались добиться сочувствия у своей жертвы. Но эти, нередко гротескные и едва ли предусмотренные инструкциями эмоции ни в коей мере не мешали подготовке к процессу и никак не угрожали его успеху. Скорее наоборот.

Результат подтверждает это. Ибо на процессе все показания проходили без сучка без задоринки. Настолько, что именно их безупречность более всего вызывала подозрения у объективных наблюдателей. Их поражала представлявшаяся неестественной готовность, с какой обвиняемые без колебаний подтверждали все подряд и отказывались от самой робкой, самой скромной попытки защититься. И еще обращала на себя внимание речь обвиняемых: они пользовались теми же самыми пейоративными выражениями, эпитетами в свой адрес, что и прокурор, и партийная пресса. При этом казалось, что говорят они не по-венгерски, а на каком-то международном языке, употребляя фразеологию брошюр для коммунистических семинаров и газетных передовиц, из которой бесчисленные фильтры и химические реактивы вытянули, выжгли все индивидуальные краски, вкусы, оттенки.

Отдельные части протокола, которые я читал сам за несколько недель до судебного процесса или слышал в пересказе моих сокамерников, чуть ли не все без исключения, повторенные дословно, я вновь увидел в официальной «Синей книге». А однажды мне выпал случай использовать, как перископ над поверхностью моей камеры, Лайоша Бокора и его глазами заглянуть в преддверие судилища и за судейскую кафедру, в помещение, публике не видимое.

По рекомендации своего инструктора Бокор написал жене, попросив прислать ему его темно-синий костюм, соответствующий галстук, а также белую рубашку, черные туфли и носки. 20 сентября, на рассвете того дня, когда дело дошло до показаний свидетелей, Ласло Бокора побрили. Велели снять измятую спортивную куртку и вместе с брюками увязать в узел. Ему это все равно больше не понадобится, потому что, если его и приведут обратно после дачи показаний, переодеваться не придется, так, в синем костюме, и отправится домой. Бокор даже не присел, возбужденно выпил свой кофе с молоком — уже пять дней подряд, с начала процесса, нам наливали по утрам в котелки не баланду, а кофе с молоком; завтра он уже будет завтракать дома, там, шутил он, на

дверях и внутри будут ручки, потом очень серьезно сказал, что не забудет про подарок моему сыну. Мы попрощались теплее, чем обычно, — может, больше не свидимся, может, его отпустят прямо из зала суда.

Но мы увиделись. К концу дня Бокор вернулся. Рассказал, что его отвезли на машине на улицу Магдолны, во дворец профсоюза металлистов. Процесс проходил в парадном зале этого профсоюзного центра. Сперва Бокора отвели в просторную комнату. Здесь свидетелей посадили вдоль столов, лицом к стене. Предложили бутерброды, пирожные, содовую, кофе.

— Ну, — сказал инструктор Бокора, — это последний денек. Нынче вечером будете ужинать дома.

Перед началом заседания Лайоша Бокора и двух женщин вывели из комнаты свидетелей и поставили всех троих у входа в большой зал. Женщинам сунули в руки сумочки. Троих свидетелей окружили человек пятьдесят детективов УГБ, как мужчин, так и женщин. Проходившим мимо них приглашенным должно было казаться, что это — вызванные на допрос свидетели и любопытствующие, и смешались они здесь случайно. Так могло показаться хотя бы потому, что публика вскоре снова увидела и Ласло Бокора, и обеих женщин представшими перед судьями. И вряд ли кто-либо, кроме посвященных, догадывался, что как Бокор, так и женщины явились на улицу Магдолны не из дома, с законно врученной им повесткой в кармане или в сумочке, а из подвалов Андраши, 60, под усиленной охраной, и семьи этих людей со времени их исчезновения ничего о них не знали.

За несколько минут до начала заседания в коридоре появился плотный мужчина с кудрявыми седыми волосами, На нем был хорошего кроя темно-синий двубортный костюм. Приблизясь к столпившейся у входа в зал группе, он дружелюбно улыбнулся и вдруг, словно удивившись, что видит знакомого, помахал Бокору рукой:

— Ah, Herr Advokat! — удивился он по-немецки и еще раз, несколько напряженно, вскинул руку.

Бокор ответил ему улыбкой из кольца угебистов, заулыбалось и живое кольцо: ведь плотный мужчина был не кто иной как генерал-лейтенант Белкин, правитель.

Председатель суда, доктор Петер Янко, первым свидетелем вызвал на допрос «герра адвоката». Памятуя о рекомендациях лысого офицера МГБ, Бокор поклонился не как крепостной мужик восемнадцатого столетия и в своих гладких, катившихся как по маслу показаниях не сказал ни больше, ни меньше того, что было предписано. Когда его снова отвели в комнату сидевших все так же вдоль стен, спинами друг к другу, и поглощавших лакомства свидетелей, его следователь пожелал ему удачи и добавил, что он заслужил право к вечеру быть уже дома.

После всех этих событий Бокор вновь оказался в подвале и с каждой минутой все нетерпеливее метался по нашей камере. От ужина он отказался: сегодня вечером, сказал, я буду ужинать дома. Угебист только кивнул головой, как человек осведомленный и уже получивший соответствующие указания, но все же заставил Бокора взять котелок. Час проходил за часом, наконец дверь камеры отворилась. Вошел один из наших охранников, помахивая узлом с коричневой курткой и штанами Бокора, и бросил одежду на пол.

— Переоденьтесь! — сказал он.

— Но позвольте… — запротестовал мой сосед. — Сегодня вечером меня освободят… господин генерал-лейтенант лично обещал…

— Знаю, знаю, — незлобиво ответил охранник, — если обещал, значит, так и будет. А сейчас переоденьтесь.

Они еще немного попрепирались, потом охраннику все это надоело, и с угрозой в голосе он пресек всякие возражения:

— Сейчас вы переоденетесь. Понятно? А завтра можете попроситься к следователю.

На следующий день Бокор и попросился, потом просился еще и еще раз. Напрасно. Его не вызывали. Минули не только часы, дни, но и недели, почти два месяца, пока в ноябре полковник Дечи, наконец, вызвал его.

Процесс, сообщил полковник, вызвал больше шума, чем ожидалось, поэтому пусть Бокор не обижается, что его не освободили сразу и, больше того, вынуждены еще некоторое время продержать вдали от внешнего мира. Его готовность к сотрудничеству оценена по достоинству, так что ему предоставляется возможность выбора. Имеются два варианта: его либо интернируют, либо осудят за недонесение. Интернирование назначается на шесть месяцев и, если только, после чрезвычайно сложной процедуры, его не выпустят, заключение автоматически продлевается еще на шесть месяцев, и так далее. Если же его теперь осудят за недонесение, то такой проступок наказывается самое большее одним годом тюрьмы, но по отношению к нему, Бокору, естественно, не будут настаивать на максимальном сроке. Словом, при данных обстоятельствах разумнее выбрать тюрьму, а не лагерь для интернированных. Это тем более целесообразно, что Лайош Бокор, так или иначе, полгода уже отсидел, в тюрьме же — полковник это гарантирует — он окажется в самых благоприятных условиях, будет отлично питаться, получать сигареты, фрукты, его сможет навещать жена.

Бокор поблагодарил Дечи за добрый совет и решился на второй вариант, рассудив, что за недонесение его могут предать суду и после выхода из лагеря. Полковник тут же продиктовал протокол, и через несколько дней моего соседа, действительно, увезли. Но, как я узнал позднее, осу-

дили его не за недонесение, а по какому-то вымышленному делу, к тому же на восемь лет тюремного заключения. В последний раз его видели во время короткой, — всего на несколько минут — прогулки во дворе Вацской тюрьмы. Бокор внезапно выступил из строя. Напрасно орал на него конвоир, Бокор, сначала неуверенным шагом, потом и вовсе шатаясь, словно пьяный, поплелся к двери. Но на полпути вдруг упал и больше не приходил в себя. Он умер в вацской тюремной больнице.

После того, как увели Бокора, я оставался в подвале еще больше месяца, потом и меня перевели в тюрьму на улице Марко, в камеру принадлежавшего УГБ этажа. С первых же дней меня поразило питание: такой вкусной пищи, такого разнообразного и качественного меню не могла себе позволить основная часть населения страны. Еще более приятной неожиданностью было то, что в конце декабря у меня появился сосед, к тому же мой давний знакомый. Мы проговорили с ним двое суток напролет почти беспрерывно, так что на третьи сутки я среди дня задремал. Когда же открыл глаза, мой друг стоял у изножья лежака, неподвижно, влажными глазами глядя на мои все еще изукрашенные кровоподтеками ногти на ногах. Я сделал вид, будто сплю, не хотел показать, что вижу, как он подавлен. Он же бережно прикрыл мои ноги одеялом. Но тут я все-таки выдал себя, внезапно вскочив, потому что услышал звук тюремного телеграфа. Сигнал шел из камеры соседа.

Те, кто не знал азбуки Морзе, прибегали к давно зарекомендовавшему себя примитивному способу. Один удар означал букву «а», два — «b» и так далее, до буквы «z». Это был долгий, но общедоступный и не требующий особой сноровки способ. Нашему соседу стали известны приговоры, вынесенные на главном процессе по делу Райка и по первым дополнительным процессам. Это и хотел он нам сообщить. Но, поскольку заключенных строго наказывали за нарушение тишины и попытки общения друг с другом, сосед наш тихо, осторожно постукивал по батарее ногтем и тотчас замирал, заподозрив, что в коридоре кто-то есть. Мы же, если звук иногда получался нечеткий, повторяли, переспрашивали имена, другие слова. Так, то с короткими, то с долгими перерывами, передача заняла несколько часов, пока мы получили, наконец, телеграмму, посланную с расстояния в одну пядь:

«Райк: смерть; Палфи: смерть; Бранков: пожизненное; Салаи: смерть; Огненович[64]: девять лет; Коронди: смерть; Юстус: пожизненное; Немет[65]: смерть; Маршалл: смерть; Дескаш[66]: смерть...» И так далее и так далее. Когда сообщение окончилось, мой друг дважды стремительно прошагал по камере взад-вперед, потом остановился передо мной и пристально посмотрел мне в лицо. Мы молча смотрели друг на друга, потом мой друг неестественно высоким голосом захохотал и схватился за шею, словно уже чувствовал, как сжимается на ней петля.

Несколько недель спустя я снова остался один и, не считая тюремного телеграфа, отвлекался от невеселых мыслей лишь книгами. Ибо на последней стадии *реализации* нам разрешалось читать. Правда, выбор был скромен, и охранники — словно исполняя служебное предписание — почти всегда давали сначала последний том многотомного романа, а первый — последним. Тем не менее, печатное слово все же меня развлекало и наполняло одиночную камеру располагающими к себе персонажами. Особенно если доставались не скроенные по одному шаблону военные романы советских писателей, а произведения Анатоля Франса, Льва Толстого, Томаса Манна — каждый раз это был неожиданный, случайный подарок. Но особое удовольствие доставлял мне мистер Дэвис, бывший посол США в Москве, его нечаянный юмор. С благодарностью вспоминаю его отчет, «Mission to Moscow»[67]. Имея представление о *реализации* дела Райка, я находил не только забавным, но и чрезвычайно поучительным то, как мистер Дэвис, расположившись в дипломатической ложе, просидел до конца и до конца верил всему, что происходило на московских троцкистских процессах.

Однако через четыре-пять месяцев пребывания на этаже УГБ в их библиотеке, содержавшей шестьдесят — восемьдесят томов, уже почти не оставалось книг, которые каждый заключенный не перечитал бы по несколько раз. Поэтому, чтобы убить время и, разумеется, прогнать гнетущие мысли, заключенные чаще всего предавались игре фантазии и воспоминаниям. Так поступал и я. Не только сочинял стишки и придумывал новые сцены прочитанных романов, не только ломал голову над тем, как создать цветное телевидение и «пластическое» кино, проектировал дома, города или мысленно уносился в кругосветное путешествие, но и последовательно, упрямо фиксировал в своей памяти все, что происходило со мной со времени моего ареста. Старался зафиксировать каждое услышанное слово, каждое увиденное движение на кинопленке памяти, сколько бы ни мало оставалось надежды когда-нибудь прокрутить мои аудио- и видеозаписи.

По несколько раз в день, в определенное время я регулярно занимался гимнастикой. Пусть не я буду виноват в том, повторял я себе, что никогда больше не увижу мир по ту сторону тюремных стен. Но в то же время я варьировал космические игры Ганса Касторпа, героя романа Томаса Манна. Для такого рода фантазий нельзя и представить себе места более вдохновляющего, чем камера-одиночка. Если освободиться — разумеется, лишь до поры до времени — от чудовищно ложных пропорций мировоззрения, в центре которого помещается человек или только «я», если глазами солнца увидеть океан каплей дождя, а глазами космоса солнце — лишь точкой, не имеющей измерений, тогда смерть представится лишь более нежной сестрою жизни, неким иным, но впол-

не выносимым состоянием. И к этому новому состоянию, рассуждал я, мне следует подготовиться, поскольку мой сосед-телеграфист сообщал о все новых процессах, новых смертных приговорах.

Таким образом, помимо гимнастических упражнений для поддержания физических сил, я продолжал и эти рискованно неоднозначные игры. Иногда, правда, они лишь бередили душу, но иногда — и даже чаще всего — наполняли злорадным чувством: благодаря им мне удается уйти из-под власти огромной безжалостной международной организации. И это усмиряло мои тревоги, так как я представлял себе, что с течением недель, месяцев я все с большим правом могу надеяться, что своей слабостью не доставлю исполнителям приговора развлечения или радости и, если мне в конце концов все же придется взглянуть в лицо заключительной фазе собственного существования, быть может, покойный *citoyen* и не покраснеет из-за меня.

В наших камерах, как и в подвалах на проспекте Андраши, всю ночь горела лампочка, и, поскольку нас никогда не выпускали подышать воздухом, однообразие нарушали еженедельно только два события: появление брадобрея и еще — когда, поздней ночью, по одиночке, чуть ли не тайком, нас водили в душевую. Почти равным этому удовольствием было для меня высматривание новостей. Железные двери камер на улице Марко были массивные, однако в углах окошек для кормежки за долгие десятилетия появились щелочки. Таким образом, хотя и под узким углом, можно было увидеть противоположную сторону коридора и двери одной, а то и двух камер. Хотя наши охранники время от времени заклеивали щели снаружи, я все же, с помощью пары выдернутых из метлы прутиков, ценою многочасовой осторожной работы, сдирал или протыкал наклейку и, таким образом, смог, например, увидеть, как вели на судебное заседание — в темном костюме и рубашке с отложным воротником — Арпада Сакашича[68], бывшего генерального секретаря Социал-демократической партии Венгрии, который в то время, когда нас арестовали, был еще президентом республики.

Но всякий раз как меня переправляли назад, в подвалы Андраши, 60, это не только прерывало иногда казавшийся нереальным мирный ритм жизни на улице Марко, но и нарушало душевное равновесие, представлявшееся мне столь твердым. Иногда меня держали там по несколько дней, иногда по несколько недель, задавали вопросы обо мне, о других. А весной 1950 года опять заговорили о моем сотрудничестве с хортистской полицией, опять допытывались о Петере Хайне и, главным образом, о парижском военном атташе полковнике Карачоне.

Мой следователь не пользовался, правда, резиновой дубинкой, но мои показания о встрече с Карачонем, о беседе с ним, каждый раз рвал в клочки — как в свое время Фаркаш, — и обещал вспомнить о далеко не

самых приятных методах следствия, если я немедленно, на чистом листе бумаги, все же не напишу правду. После того как я восемь раз излагал на бумаге одно и то же, следователь объявил, что чаша терпения переполнена и теперь меня посадят в такой карцер, откуда живыми выходили немногие, и я останусь там, пока не дам признательных показаний или пока мои признания не потеряют смысл, поскольку из этого подвала меня переправят уже прямо в крематорий.

Камера, действительно, оказалась ужасной. Пол был залит проступившей грунтовой водой, местами образовывались лужицы в палец, а то и в три пальца глубиной. Только у двери да под лежаком из воды выступали грязные бетонные островки. Испарения в считанные часы пропитали влагой мою одежду, меня трясло, всего, от кончиков пальцев на ногах до макушки. Я либо переминался с ноги на ногу на островке у двери, либо, съежившись, устраивался на лежаке. Так я встретил первую годовщину моего ареста. Однако угрозу угебиста я понял не буквально, и мне даже в голову не приходило попроситься к нему для признания. Я не ошибся: после того как более трех недель я стучал зубами, мерз, задыхался в холодных испарениях, меня неожиданно, ни с того ни с сего, в самом деле вернули на улицу Марко, в тюрьму с центральным отоплением.

Естественно, я сразу же попытался установить, кто обитает в соседних камерах. Справа ответа не было, но слева отстучали, заключенный назвался Миклошем Сючем[69]. Я был поражен. Ведь Миклош Сюч был братом Эрнё Сюча, заместителя начальника УГБ. Только Эрнё Сюч в свое время эмигрировал в Советский Союз, а Миклош Сюч провел годы войны в Англии, после войны был английским корреспондентом официального органа венгерской компартии «Сабад неп», позднее стал пресс-атташе венгерского посольства в Лондоне. Но в 1949 году его вызвали на родину, затем арестовали и обвинили в том, что он английский агент. Физического воздействия к Сючу не применяли. Возможно, отчасти поэтому он надеялся на объективное следствие, отчасти же потому, что рассчитывал на авторитет старшего брата и даже через стену настойчиво называл себя убежденным коммунистом. Заявлял, что верит в партию, не сомневается, что его невиновность выяснится и он скоро выйдет на свободу.

Поскольку возражать ему, приводить доводы мне казались бессмысленным и даже жестоким, наше общение вскоре прекратилось, однако мы ежедневно играли с ним в шахматы. Охранники смотрели сквозь пальцы на то, что мы лепили из хлеба шахматные фигурки; я садился возле стены, а Сюч с той стороны устраивался на лежаке, и мы по очереди тихонько отстукивали друг другу следующий ход. Охранники, правда, об этом догадывались, но на месте преступления нас так и не застали, и мы, как закоренелые в своих привычках старые пенсионеры, каждое утро в

девять часов тридцать минут садились за шахматы. Так прошла весна, минуло лето, пока, в самом конце августа, Сюча не увезли.

Как ни странно, отчасти он оказался прав, ибо осенью его выпустили. Однако праздновать победу своей веры в партию ему довелось лишь несколько дней, так как вскоре его вновь арестовали. И на этот раз уже не щадили. Один его друг видел Сюча в подвале УГБ. Его волокли угебисты, он уже не мог стоять на ногах и только бормотал в полубессознательном состоянии: не бейте меня, я все подпишу. На старшего своего брата он уже не мог рассчитывать — мало того, из Миклоша Сюча выбивали показания именно против полковника. Освобождение из-под ареста было всего-навсего ловушкой, подставленной полковнику Сючу, чтобы получить повод спросить: почему Миклош Сюч ни в чем не признался за месяцы своего первого ареста? И почему через несколько дней, после вторичного ареста, признался во всех преступлениях — но когда следствием руководил уже не его брат? Значит, оба они одним лыком шиты, оба — агенты иностранных держав.

Почему, собственно, заместитель начальника УГБ потерял доверие своих венгерских и русских начальников, не выяснилось даже в 1956 году . Но относительно последних минут карьеры полковника Сюча, помимо не заслуживающих доверия романтических вариантов, выдвигались и две реальные версии. Согласно одной из них, полковник, когда пришли его арестовывать, сам покончил с жизнью; согласно второй, его забили насмерть следователи УГБ. Одно точно, в тюрьме никто больше не видел братьев Сюч, ни один из них не объявился и в 1956 году, хотя в то время открылись ворота всех тюрем, в том числе и секретных. Поэтому более чем вероятно: ни один из них не выжил после опалы полковника, и обоих Сючей, как лондонского, так и московского, постигла одна и та же судьба.

Когда моего партнера по шахматам увезли, УГБ уже провело большую часть из серии закрытых процессов, связанных с делом Райка. Обвиняемых разделили на группы: прежде всего отправили в тюрьмы или на виселицу военных, затем сотрудников министерства внутренних дел и добровольцев «испанцев», затем арестованных, вернувшихся из Франции, Швейцарии, Англии. Но остались еще такие, кто — как и я — не попал даже в эти наспех состряпанные группы. Поэтому нас, словно крошки с пиршественного стола, смели без разбора в одну кучу.

Так я попал в один процесс с писателем Дёрдем Палоци-Хорватом, Иштваном Штольте, которого схватили в Вене русские и тайком переправили в Венгрию, чтобы он свидетельствовал против Райка, с Дёрдем Хелтаи, бывшим начальником политического отдела МИДа, Яношем Мартоном, заведующим отделом промышленной политики министерства промышленности, и экономистом Дёрдем Адамом.

Правда, всех их я знал, а с большинством из них даже дружил, но лишь один Дёрдь Адам в своих показаниях упомянул меня, как троцкиста, с которым он, Адам, тем не менее «поддерживал связи по общественной линии». В моем же протоколе — даже в инсинуированном изложении — не содержалось почти ничего, кроме того, что во время войны я сотрудничал в Буэнос-Айресе с комитетом, который поддерживал военные усилия союзников, особенно с его английскими и голландскими представителями, а перед возвращением на родину имел длительную беседу с тем пресловутым англичанином. Протокол не содержал даже подозрений, будто я был полицейским шпиком или занимался шпионажем. Так что объективный судья, собственно говоря, просто освободил бы меня из-за отсутствия не только доказательств, но и самого состава преступления, и в западной стране вряд ли нашелся бы прокурор, который не закрыл бы мое дело. Но все это давало мне лишь моральное удовлетворение, когда я вспоминал о рьяных усилиях Ласло Фаркаша и других моих следователей, ибо после испытаний в залитом водой карцере для меня становилось все более ясным, что УГБ решило не тратить на меня свое время, поскольку приговор выносится независимо от тяжести признанных преступлений и поэтому почти безразлично, сколько грехов возьмет на себя обвиняемый.

Для пущей верности генеральный прокурор Дюла Алпари — в прямом противоречии с духом и буквой закона — допрашивал меня все же не в прокуратуре, а в помещении госбезопасности, причем окруженным грозным кольцом угебистов. Райка и чуть ли не всех старых коммунистов именовали не иначе как полицейскими агентами. Поэтому Алпари — хотя в моем протоколе об этом не говорилось ни слова, — быть может, просто по привычке спросил и меня, служил ли я до войны агентом полиции, и спросил таким тоном, словно считал доказанным, что именно так и было. Меня возмутила эта самодеятельность прокурора, и я ответил не просто категорическим, но даже неприличным «нет». Угебисты переглянулись и поспешно вывели меня вон.

Я опять вернулся на улицу Марко, ожидая последствий. Однако ничего не произошло, пока, несколько дней спустя, меня не отвели в другую камеру. За маленьким тюремным столиком сидел председатель суда Йонаш и в присутствии Эрвина Фалуди, старшего лейтенанта УГБ, торопливо зачитал мне обвинительное заключение. Разумеется, это тоже противоречило процессуальным нормам, согласно которым обвинение следовало предъявить обвиняемому в письменной форме. Я почти не следил за текстом, мое внимание привлекла лишь одна фраза, о том, что я, принимая участие в подпольном коммунистическом движении, состоял одновременно на службе полиции, перед войной преследовавшей коммунистов.

Признаю, признавал даже тогда, что цепляться за столь незначительные детали с моей стороны было мелочностью, бессмысленной, казалось бы, навязчивой идеей. И все же я решил: на этом участке фронта я не отступлю, не поддамся. Пусть называют меня английским шпионом, но чтобы полицейской ищейкой — нет, это обвинение я на себя не возьму. Я сказал себе: эту мою хиленькую крепость не сдам ни за что, потому что полная сдача сломила бы меня психологически, сделала бы рабом, не столько в данную минуту, сколько в будущем, в последующие годы.

Я как раз размышлял об этом, когда в моей камере появился молодой угебист. Офицер, правда, не представился, но позднее мы все-таки узнали его имя. Звали его Тамаш Герё, говорил он разумно, вел себя обходительно, ведь задачей его, совершенно очевидно, было успокоить нас, и для того, чтобы заседание суда прошло гладко, он должен был создать атмосферу сообщничества. Я был хорошо знаком с этим вариантом распределения ролей между следователями и подследственными, поэтому даже не удивился, когда Герё не стал делать вид, будто верит в преступления обвиняемых, а вполне добродушно протянул мне машинописную копию моего протокола и приветливо попросил выучить текст, по возможности дословно, ведь я наверняка не запомнил все эти худо изложенные благоглупости.

Я пробежал копию глазами и с удивлением заметил, что она не тождественна подписанному оригиналу. Но Герё не обиделся, не заткнул мне рот, напротив, по-домашнему уселся на моем лежаке. Тогда я напомнил ему, как Алпари протащил в свою обвинительную речь, что я будто бы состоял на службе в полиции, и решительно заявил: если во время слушаний это будет высказано в форме утверждения; если, будь то прокурор или судья, намекнут на это хотя бы только в виде вопроса, могу заверить их всех — судебное заседание тихо-мирно не пройдет.

От смеха Герё навзничь откинулся на моем ложе. Потом сказал, только выразился более смачно, по-простонародному: мне не стоит беспокоиться о том, что там будет трещать прокурор; с судьей же УГБ, точнее он сам лично, договорится и позаботится о том — готов даже заранее взять на себя ответственность, — чтобы председатель пропустил мимо ушей инсинуации прокурора. На дальнейшие мои расспросы молодой офицер беззастенчиво подтвердил, что действительно уже знает, только, увы, не может сказать, на какие сроки предполагается осудить тех или иных заключенных; одно точно: по нашему процессу смертных приговоров не будет. На этом официальная часть беседы закончилась. Герё заметил шахматные фигурки, слепленные мною из хлеба, они напомнили ему шахматную новеллу Стефана Цвейга, и наш разговор принял более веселое и приятное направление, забредая иногда почти в интеллектуальные сферы.

Молодой офицер после этого навещал нас ежедневно. Приносил сигареты, справлялся о наших нуждах, приказал починить и выгладить или сменить наши истрепавшиеся одежки и туфли, прислал парикмахера постричь нас; а 29 ноября 1950 года рано утром построил нас на галерее нашего этажа.

Кроме обвиняемых, членов суда и секретаря в зале заседаний присутствовали только угебисты. Процесс шел без сучка без задоринки, и, действительно, возмутившие меня фразы обвинительного заключения на процессе не прозвучали. Тамаш Герё выполнил свое обещание. Ни одного свидетеля на заседание не вызвали, вещественных доказательств не было*. Хотя обвинение большинства подсудимых строилось только на их собственных показаниях.

Однако это совершенно не беспокоило прокурора, приводить доказательства он не пытался даже для проформы. Вместо этого он взял на вооружение чисто зоологический словарь и использовал почерпнутые из него слова применительно к обвиняемым. Правда, в качестве смягчающего обстоятельства можно бы упомянуть о том, что Алпари был только переводчиком, ибо не сам изобретал столь цветистые выражения, а пользовался лексиконом Вышинского, генерального прокурора, выступавшего обвинителем на московских процессах, и лишь перево-

---

* Насколько мне известно, на всех последующих процессах, связанных с делом Райка, суду было предъявлено только одно вещественное доказательство — в случае с Отто Хорватом. Хорват относился к буржуазной прослойке венгерского населения, проживавшего на территории Югославии, но уже в юности вступил в коммунистическую партию. За коммунистическую деятельность до войны два года отсидел в тюрьме. А во время войны присоединился к партизанам Тито, был связным между югославским и венгерским движениями Сопротивления. Много раз он рисковал жизнью, переходя границу между двумя государствами и, чтобы свободнее передвигаться по Венгрии, пользовался фальшивым удостоверением гестапо. После 1945 года он остался в Венгрии, по просьбе будапештского Института истории рабочего движения описал свои приключения, и институт хранил и демонстрировал его поддельное удостоверение гестапо вместе с другими реликвиями венгерского движения Сопротивления. Поступив на службу в венгерскую полицию, Хорват дослужился до звания полковника и, поскольку одинаково свободно владел как сербским, так и венгерским языками, часто бывал переводчиком на многих секретных совещаниях венгерских и югославских органов внутренних дел или ведущих функционеров. После решения Коминформ, осудившего Тито, Хорват — который знал, кто, когда и о чем совещался с югославами — оказался кое для кого нежелательным и даже опасным свидетелем их прошлого. Этому и был он обязан, что в связи с делом Райка его арестовали. УГБ изъяло из витрины Института рабочего движения поддельное удостоверение, выдало его за подлинное, и Хорвату — на основании этого вещественного доказательства, — как предателю, как пособнику немецких фашистов, сотруднику гестапо, имевшему соответствующее удостоверение, — вынесли смертный приговор. Его просьбу о помиловании отклонили. Приговор был приведен в исполнение. *(Прим. автора.)*

дил его выражения на венгерский язык; с другой стороны, мы вправе считать отягчающим обстоятельством и даже беспардонным нарушением авторского права то, что Алпари скрыл фамилию истинного автора оригинала.

Эту оплошность прокурора не исправили и официально назначенные адвокаты, более того, многие из них в своих речах, казалось, хотели посоперничать с обвинителем. Но были и адвокаты постыдливее, которые лишь в нескольких коротких фразах обвиняли своих подзащитных; что касается моего адвоката, то он пробормотал одну только фразу, попросив суд принять во внимание мое полуторагодовое пребывание в тюрьме, а также то, что у меня ребенок. Даже в не отапливавшемся зале суда мой адвокат весь вспотел, ведь мы были знакомы и прежде встречались иногда в компаниях. Когда в 1955 году мы встретились снова, он сказал, что его назначили, не сообщив, кого он должен будет защищать и по какому делу. Сотрудники госбезопасности показали ему протокол моего допроса и обвинительное заключение, но стояли рядом, пока он читал их, и тотчас отобрали. Что мог он поделать?

Действительно, никто ничего не мог поделать. Ни прокурор, ни даже судья. Потому что в то время, как выступали адвокаты, к кафедре подошел угебист и передал председательствующему досье. Я пристально смотрел на досье; Йонаш открыл его и держал так, что мне удалось заглянуть внутрь. Вместо документов, кипы бумаг в досье была вложена единственная четвертушка листа. Эта сцена долго нас занимала. Мы обсуждали самые разные варианты того, что УГБ хотело сообщить председателю суда Йонашу, когда процесс был, собственно говоря, уже окончен и народные заседатели как раз готовились уйти на совещание? Я и поныне не освободился от предположения, что на этой четвертушке бумаги партия внутри партии отпечатала наши приговоры, предупредительно подсказывая решение независимому суду.

Полтора года тому назад похожая бумажонка с подписью Михая Фаркаша положила начало арестам почти двухсот двадцати мужчин и женщин. Сейчас *реализация*, наконец, приближалась к завершению. Народные заседатели уже удалились, и после короткого перерыва, во время которого и мы имели возможность выкурить по сигарете, председатель суда Йонаш зачитал вердикт народного суда. Штольте осудили на пожизненное заключение, Палоци-Хорвата на 15 лет, Мартона на 13, а нас четверых на 10 лет. Для народно-демократической юстиции, таким образом, не имела значения тяжесть признанных преступлений, ведь, по сути дела, без каких-либо доказательств мне тоже дали 10 лет тюрьмы, к тому же за шпионаж во время войны, хотя во время войны я находился в нейтральной стране, а народная демократия — против которой я, согласно обвинению, шпионил — еще не существовала.

Наше разбирательство было одним из последних или как раз последним из побочных процессов по делу Райка[70]. Глава УГБ мог доложить о победе: приказ понял, привел в исполнение, *реализацию* завершил. Но партийная пресса не обмолвилась ни единым словом о закрытых процессах, не упомянула даже имен безвинно осужденных шпионов. Если во время процесса Ласло Райка официальная «Сабад неп» озаглавила передовицу «Судит народ!», то на этот раз партийные руководители тактично пощадили народ и не сообщили ему, кого, собственно, он осудил, на что осудил и за что. Не были уведомлены о судьбе арестованных и самые близкие родственники осужденных, даже после суда. Обо мне в Будапеште ходили слухи, будто меня увезли в Россию и там расстреляли. Немного времени спустя уже никто ни о чем не спрашивал. Народ забыл, что вообще кого-то судил. Мы же исчезли бесследно.

9

КОТОРАЯ — МОЯ?

В Вацской тюрьме нашу группу поместили в так называемое одиночное отделение, всех шестерых набив в крохотную, пригодную самое большее для двоих камеру. Кстати, на рубеже веков, когда в Ваце строилось это крыло тюрьмы, камера — два метра в ширину, три метра в длину, — предназначалась для одного заключенного.

Под окном лежали, один на другом, три соломенных тюфяка; наши предшественники утрамбовали их так, что они стали совсем плоскими, и некогда душистая солома превратилась в затхлую пыльную труху. После отбоя мы раскладывали все три матраца на полу поперек, чтобы как-то устроиться на ночь всем шестерым. Это получалось, если все ложились на бок, вытянув ноги. Но если ночью кому-то случалось во сне повернуться на спину, все остальные валились друг на друга, словно поставленные торцом домино.

В Вацской социалистической тюрьме стол или стул считались, вероятно, буржуазной роскошью, тюремное начальство не снабдило нашу камеру вообще никакой мебелью. Столу или чему-нибудь годному для сидения мы применение нашли бы, но вот отсутствие какого-нибудь шкафчика или полки никого не волновало, ведь у нас отобрали решительно все, не оставили даже доброй памяти дара, полученного при Тамаше Герё, — зубные щетки.

Утром и вечером нам подавали воду в жестяном бидоне. Эту воду мы пили, споласкивали ею котелки, оттуда же после побудки зачерпывали по кружке — на большее не хватало, — для утреннего омовения, скорее ритуального, чем эффективного. В углу возле двери стоял массивный железный бидон с крышкой: параша. В нее сливали грязную воду, она использовалась и как уборная. Под вечер, один раз в день, заключенные-уборщики опоражнивали ее. Эта удручающая принадлежность нашего обиталища принуждала нас быть невольными свидетелями самых интимных жизненных проявлений друг друга. Позднее, в летние месяцы, когда жаркое солнце превращало камеру в раскаленную печь, постоянно ощущаемое присутствие параши было для меня дополнительным жестоким наказанием и, полагаю, для остальных тоже. Я говорю «полагаю» не потому, что сомневаюсь в чувствительности моих товарищей, а лишь потому, что мы, из взаимной тактичности, никогда не обмолвились ни словом об этом дополнительным наказании.

И все-таки в первые дни пребывания в Вацской тюрьме даже гнетущая обстановка не могла вывести нас из эйфории. После долгих месяцев одиночества нас опьяняло общество друг друга и особенно — потрясающая сенсация: мы выжили, и это была не просто игра воображения, а реальная, осязаемая действительность, которая подтверждалась конкретными осязаемыми людьми, их физическим присутствием и животным теплом. Никто не обращал внимания на пропитанную потом грубую робу, на то, что нас неделями не бреют, месяцами не выводят на свежий воздух. Время свое мы проводили в разговорах, каких-то играх, и уже начиналась весна, когда нас — многих впервые после двухлетнего заключения — вывели на прогулку.

Нас выпускали во двор, каждый этаж отдельно, сперва из камер, что были справа от входа, потом из тех, что слева, и мы кругами брели гуськом, на предписанном, в пять-семь метров, расстоянии друг от друга. Придерживаясь неустанно повторяемых окриков — «руки за спину, головы опустить!» — кружили мы по двору и по приказу: «поворот на углу, фашистская сволочь, массовые убийцы», поворачивали на углах прямоугольника двора.

Для охранников наши имена оставались тайной, табличка с номером на грубых тюремных робах ничего не говорила о том, кто мы такие. Бывшие нилашисты могли оказаться среди нас разве что в виде исключения. Но, согласно политической арифметике наших тюремщиков, в число «фашистов» и «массовых убийц» равно попадали как председатель довоенного, так и послевоенного парламентов, и генерал-полковник, который со своим корпусом выступил против немцев, и послевоенный министр строительства, и депутат партии мелких хозяев, и депутат от социал-демократической партии, и глава ордена францисканцев, и бывший коммунист из интеллигентов. Но, как ни покорно, опустив головы и поворачивая на углах, топтали камни тюремного двора узники, именуемые фашистами и массовыми убийцами, вооруженные охранники, состязаясь друг с другом, истошно выкрикивали самые гнусные ругательства, от которых перехватывало горло. Впрочем, чаще всего мы наслаждались этой виртуозной лексикой лишь через окно, потому что после пяти- семиминутного кружения по двору нас опять загоняли в камеры; однако, к сожалению, во дворе часто царила полная тишина — к сожалению, так как, вместе с состязаниями в ругани, нас лишали и прогулок.

За разговоры во время прогулки нас строго наказывали. За это, как и за разговоры в душевой, полагалась темная камера, штрафной карцер, лишение пайки. Но так как под один душ ставили по четыре-пять человек, даже главный надзиратель, востроглазый старший сержант Мочари не мог разглядеть сквозь клубы пара виновника. Поэтому после каждого

купания узники возвращались в свои камеры с целым ворохом обнадеживающих новостей. Там можно было узнать, например, о том, что в Советском Союзе разразилась революция и одновременно американские десантники захватили Албанию; через две недели число заморских бригад возрастало до шестидесяти — они, вместе с югославами, стояли наготове у южной границы Венгрии. Еще две недели спустя Москва, находясь в угрожаемом положении, начинала переговоры с Западом, и в Будапеште уже велись предварительные обсуждения о создании демократического правительства. Для меня до сих пор загадка, от кого и откуда возникали эти невероятные слухи, но очевидно одно: надежда на скорое освобождение годами духовно поддерживала многих заключенных. Напрасно факты опровергали предсказания, напрасно череда месяцев переступала все дальше отодвигаемый «крайний срок» пригрезившегося освобождения — надеющиеся не сдавались, они просто, ссылаясь на новые слухи, назначали новый «последний срок».

Вскоре после первой прогулки изменился и наш статус. С первого этажа нас перевели на второй и приняли во внештатные члены тюремного трудового сообщества. Хотя мы по-прежнему не могли покидать наши камеры, нам доверили полезное дело. Мы распутывали с поврежденных бобин порванные, перерезанные нити и, связывая двух- трехметровые обрывки, с помощью самых примитивных устройств наматывали их на разной величины шпули. За эту работу никакая оплата или поденные не полагались, не полагалась, в награду, хотя бы зубная паста или зубная щетка. Однако между бобинами очень-очень редко, может быть, раз в шесть-восемь месяцев, мы находили какой-нибудь клочок газеты с ладонь; это было для нас и платой и единственным духовным питанием. Потому что книг мы не видели никогда.

Между тем, сначала Дёрдь Палоци-Хорват, затем Дёрдь Адам были переведены в другую камеру. Мы остались вчетвером. Постукиванье колес, накручивавших нити, лишь изредка нарушалось допросами в УГБ, безрезультатными дознаниями в самой тюрьме — кто с кем перестукивался, кто выглядывал в окно — или прерывалось трехдневной отсидкой в темном карцере. А примерно раз в квартал посреди глубокой ночи нас будил гулко резонирующий топот ног.

Заключенные попугливее бледнели: «Отправят в Россию», — шептали они, пока нас вели к конторе охраны. Но за столом сидел только какой-нибудь сержант или младший лейтенант, занятый уточнением тюремных ведомостей. Спрашивал, например, наши последние адреса или на каких языках мы говорим. Если только эти ночные побудки делались не с целью создать напряжение, трудно объяснить, почему уточнять подобные сведения нужно было непременно в темноте и в часы отдыха. Узники, само собой, во всем видели нечто значительное и, продиктовав свой по-

следний адрес, многие уже не сомневались, что их семьи будут уведомлены об их местонахождении, а вопрос о знании языков вселял надежду получить работу над каким-нибудь переводом. Но затем проходил месяц, потом еще один, постепенно рассеивались как дым все самоуспокоительные надежды, ничего не менялось, мы по-прежнему связывали обрывки нитей, накручивали их на шпули и продолжали голодать.

Потому что с первого и до последнего дня в Ваце мы в самом прямом смысле слова голодали. Наш суп выглядел как странного цвета вода, а тушеные овощи как жиденький суп. Если же в воскресенье нам доставались какие-нибудь макароны или тушеное мясо, мужчина со средним аппетитом, но не с урчащим животом, пожалуй, удовлетворился бы четырьмя-пятью порциями. О кормежке на улице Марко мы вспоминали как о райском блаженстве. В Ваце никто и в глаза не видел ни животного жира, ни растительного масла; как не видели никогда фруктов и овощей; только в начале 1952 года нам несколько раз дали по горстке квашеной капусты. Хотя мы старались экономить силы, тем не менее все, особенно же те, кто сидел дольше нас, таяли на глазах. Однажды, когда нас вздумали взвесить, из чисто платонического любопытства, оказалось, что большинство узников, прежде весивших восемьдесят килограммов, не дотягивают и до пятидесяти.

Но даже при этом в душевой меня поразила истощенная фигура одного особенно высокого мужчины. Он напомнил мне фотографии, сделанные в немецких концлагерях. Не только ребра, но и весь его скелет чуть ли не прорывал кожу. Он все реже спускался на прогулки, а потом и вовсе перестал появляться. Мы узнали, что его отправили в тюремную больницу и очень скоро он протянул там ноги. Это был священник с добрым лицом. Его звали Гергей Торньош. После одного допроса, вероятно за то, что я выглянул в окно, меня отделили от моих сокамерников, и некоторое время я провел в опустевшей камере Гергея Торньоша. Рядом с его соломенным тюфяком я нашел на полу дешевые очки в проволочной оправе. Вот и все, что после него осталось.

Хотя не только Торньош, но и другие уже примелькавшиеся лица постепенно исчезали, большинство, наделенное некой благотворной слепотой, способностью к непроизвольной самозащите, не замечало на себе признаков медленного, но постоянного увядания и, знать не желая доводов разума, верило во внезапный поворот своей судьбы к лучшему. Но во второй половине апреля 1952 года, когда посреди ночи нас опять разбудил топот ног, мы не ожидали никаких перемен. Да что там, отмахивались мы, опять, в десятый раз, будут спрашивать имя матери или ученую степень. Но потом, когда наши подбитые гвоздями башмаки прогремели по галерее второго этажа, мы, глянув вниз, увидели на первом этаже сверкающие погоны офицеров УГБ высоких чинов.

Вновь были записаны наши анкетные данные, потом мы долго ждали в главном здании, пока, наконец, во двор не вкатили крытые брезентом военные грузовики. В кузове нам приказали сесть на пол на корточки, вплотную друг к другу, тесными рядами, так что нельзя было и пошевелиться. Последний ряд сковали наручниками, за ним устроились угебисты с автоматами. Вацская тюрьма была очищена.

По дороге мы слышали только дыхание ночного города, уже чужие для нас, почти противоестественные звуки. Иной раз, когда грузовик останавливался, угебешники с автоматами обменивались несколькими словами, направляя нам в глаза слепящие лучи фонариков. Увидеть из грузовика хоть что-то было невозможно. Потом мы услышали перестук вагонных колес и маневровых паровозов; тут мой друг Хелтаи, умудрившись чуть отвернуть брезент, определил, что мы стоим возле сортировочной станции Ракош. Никто не произнес ни слова, но, когда мы тронулись, по рядам пронесся вздох облегчения: «Значит, все-таки не в Россию».

Еще не рассвело, когда мы прибыли в расположенную в будапештском районе Кёбаня Центральную тюрьму. Здесь нашу четверку располовинили, по двое развели по камерам, а несколько дней спустя последовала новая перетасовка, и я лишился последнего моего товарища по процессу. Меня определили на работу в тюремную пуговичную мастерскую. После полутора лет следствия и почти полутора лет, проведенных в Вацской тюрьме, я познакомился теперь с новыми кругами тюремного общества, с новым обликом жизни узников.

Пуговицы изготавливались из пластмассы, из кости и рогов с помощью допотопных инструментов и допотопными способами. Вываренные рога и кости сперва разрезали на пластины циркулярной пилой, пластмассу предварительно вымачивали в формалине, потом из пластин выпиливали кругляши заданного размера; далее — это был уже следующий производственный процесс — на примитивных токарных станках заготовкам, по одной, придавали нужную форму, а потом, также поштучно, сверлили в них дырки. За этим следовали полирование, сортировка, контроль.

Когда, в первое же утро, мы спустились в цех, мастер — из вольных — прошелся взглядом по нашим рядам и тех, кто повыше ростом, направил к циркулярной пиле или на полировку. Только своему росту, а не талантам мастерового я был обязан тем, что также попал в полировщики. Нас посадили к разлохмаченному полировальному кругу диаметром около метра, каждому дали в руки металлический инструмент, похожий на карманный фонарь. У инструмента была вращающаяся на подшипнике головка, куда вставлялась сменяемая деревяшка, а в деревяшке — выточен-

ное углубление, которое соответствовало окружности пуговицы, предназначенной для полировки; в это углубление мы помещали пуговицу, потом прижимали свой инструмент к вращающемуся диску, покрытому абразивной пастой. Вращавшийся со скоростью тысяча оборотов в минуту диск вращал и головку нашего инструмента, и, если процедура удавалась, сверкающая пуговица летела в стоявший справа ящичек.

Пока мастер объяснял, что нам предстоит делать, все выглядело очень просто и даже остроумно придуманным. Однако работа требовала не только ловкости, но и физической силы. Стоило взять инструмент недостаточно крепко, и устрашающе быстро вращавшийся диск вырывал его из рук, если же не прижать его достаточно плотно к покрытой пастой поверхности, пуговица падала в ящик не полированной. Головка инструмента крутилась только тогда, когда ее приставляли к диску под определенным углом, причем пуговица часто из нее выскакивала. Мы быстро поняли, что понадобятся даже не дни, а недели, чтобы овладеть всеми хитростями этого ремесла.

Мастер, шумливый, но, впрочем, доброжелательный пожилой рабочий, разговаривал с нами почти по-приятельски, потом наделил сигаретами, по четыре штуки на брата. Если мы будем трудиться старательно и выполнять 70% нормы, говорил он, нам не только увеличат вдвое питание, но и будут перечислять на наш счет определенную сумму, из которой мы сможем один раз в месяц покупать курево, зубную щетку и зубную пасту, даже продукты. А до этого сигареты нам будут выдавать. Так что старайтесь, работайте, оно того стоит.

Свой обед нам разрешалось есть во дворе. С котелками в руках, сияя от радости, мы сбивались группами и приветствовали всех подряд, знакомых и незнакомых. Охранники молча прохаживались около нас, а мы полной грудью вдыхали воздух, повернувшись лицом к слабому, но такому ласковому солнцу. Кухня Центральной тюрьмы оказалась не только более вкусной по сравнению с вацской, по и порции здесь были более щедрыми; после неподвижного существования в четырех стенах одиночного отделения нам казалось почти блаженством хотя и коротенькое, но вольное пребывание на воздухе и уж совсем неземным наслаждением сигарета после обеда. Только жаль было наших товарищей, которые сейчас шагают взад-вперед по камерам, вынужденные поворачиваться после каждого пятого шага; возможно, они не поверят, что нам иногда удается и по двадцать шагов сделать в одном направлении.

Сигареты нам выдавали еще несколько раз, потом на два дня оставили без них, потом давали еще два дня, и все, больше ни разу. Мастер разводил руками:

— Нету, — говорил он, — ничего не могу поделать. Работайте, добивайтесь семидесяти процентов. Сами понимаете, от меня это не зави-

сит, — повторял он извиняющимся тоном и угощал некоторых из нас собственными сигаретами.

Действительно, эта метода была скорее выдумкой специалистов из УГБ, нежели рядового мастера. Сначала работавшим в пуговичной мастерской зекам давали попробовать почти забытый вкус сигарет — как напоминание о свободной жизни. Приохотили опять к никотину, чтобы затем неожиданно лишить его, маня сомнительными прелестями табачного наркотика — при условии выполнения нормы. Но теперь это уже не казалось нам легкой задачей. Несколько недель спустя даже самые ловкие из нас не добились и 25—30 процентов. Тем не менее погоня за сигаретами все-таки началась.

Рабы пуговичной мастерской и никотина не только подстегивали себя, с каждым днем все больше напрягая силы, но кое-кто, хотя таких было незначительное меньшинство, пустились на различные уловки, чтобы обойти своих товарищей, старались перехватить у них материал, более легкий для обработки, выцыганить лучшие инструменты. Вовлекая своих узников в гонку за сигаретами, угебисты преследовали, таким образом, две цели: поднять производительность, с одной стороны, и посеять среди заключенных разлад, с другой.

Когда по прошествии первого месяца лишь немногие переступили магический барьер в 70 процентов, право на покупку нескольких пачек сигарет, немного маргарина, сахара, лука или хлеба предоставлялось уже лишь тем, кто вырабатывал 80, затем 90, а потом и все 100 процентов.

Тюремное начальство применяло для увеличения нашей производительности и другие, более традиционные методы. Продлило рабочий день. Мы вставали в пять утра, к шести были в мастерской и лишь после одиннадцати вечера возвращались в свои камеры. Если прибавить два получасовых перерыва на еду, мы проводили у станков по восемнадцать часов в сутки. Неудивительно, что наши товарищи один за другим выходили из строя, увеличивалось количество и так-то ежедневно случавшихся производственных травм. Смертельно усталые, голодные подневольные работяги то стачивали собственные пальцы, то валились на циркулярную пилу или, вместо пуговицы, просверливали собственные пальцы, ноги у всех ужасно распухли в щиколотках. Поэтому я тоже не удивился, когда однажды, по пути на работу, в глазах у меня потемнело, и я скатился по лестнице вниз. Мои товарищи помогли мне вернуться в камеру. Сержант Лайош Шандорфи, надсмотрщик в нашем крыле тюрьмы, согласно официальному титулу, «господин начальник отделения», смерил меня взглядом, от ввалившихся бледных щек до опухших слоновьих ног, и беззлобно, но с профессиональной уверенностью заметил:

— Да, и вам уж недолго осталось, скоро отбросите здесь копыта.

Но через несколько дней, опровергая его предсказание, я поднялся и встал в строй, потому что в четырех стенах камеры испытывал еще более невыносимое удушье, чем в пуговичной мастерской. Старый мастер поглядел на меня, немного поколебался, а потом, тем более, что на мое место уже посадил кого-то другого, определил к сортировщикам.

Я оказался рядом со знакомым журналистом из социал-демократов. Когда, часов в одиннадцать ночи, пуговицы уже прыгали у нас перед глазами, сливаясь друг с другом, а охранник как раз вышел из помещения, мы посвятили несколько приятных минут теоретизированию. Я вслух размышлял о том, каким оригинальным способом развивает и осуществляет тюремное начальство фундаментальную идею марксистского социализма *покончить с эксплуатацией человека человеком,* ибо, благодаря восемнадцатичасовому рабочему дню, ему удается медленно, но верно покончить физически с самими эксплуатируемыми. Мой приятель продолжил тему и указал на неограниченные возможности развития прогрессивного УГБ-капитализма, как он выразился; затем, передавая друг другу слово, мы стали рисовать утопическую картину создания методами УГБ свободного от эксплуатации общества. Что правда, то правда, в это время нас не слишком занимали проценты производительности нашего труда, но мы оба взаимно и все радостнее восхищались идеями друг друга относительно исправления мира. Внезапно кто-то грозно рявкнул на нас:

— Чего ржете?!

Но это был не охранник, а молодой человек в одежде заключенного. Правда, на губе у него свисала сигарета, роба выглядела новехонькой, да и цветом лица он сильно от нас отличался.

— Работайте, — сказал он потише, но повелительным тоном.

Этот молодой человек был Ференц Вандор, бывший майор УГБ. Он еще принимал участие в подготовке процесса Райка, но, по не известным нам причинам, был тоже отправлен в воспитательное учреждение, каковое должно было «вернуть его партии». Начальник тюрьмы Антал Банкути назначил Вандора надзирателем в пуговичную мастерскую, и бывший майор УГБ лез вон из кожи, чтобы вернуть доверие партии внутри партии. Как только он ознакомился с особенностями организации дела и рабочим процессом, пожилой мастер тут же исчез. Вскоре мы могли убедиться, что Вандор куда более жестко и действенно представлял интересы владельца мастерской, чем маленький старичок, профессиональный рабочий; ему и в голову не приходило хоть изредка угощать заключенных сигаретой из своих обширных запасов.

Вскоре ему придали двух адъютантов, также бывших офицеров УГБ, угодивших в тюрьму за какие-то злоупотребления экономического ха-

рактера. Адъютанты проявляли меньше усердия, чем их начальник, но боялись его, как и простые смертные, работавшие в мастерской. Вандора побаивались даже охранники-угебешники, так как знали, что он обо всем докладывает непосредственно начальнику тюрьмы.

Солидарность карателей, впрочем, распространялась не только на офицеров УГБ, но преодолевала, по-видимому, любые идейные препятствия. На все требующие доверия посты назначались бывшие офицеры, служившие в разное время в разных полицейских структурах, независимо от того, какому режиму или каким режимам они служили. Такими требующими доверия считались «должности» хозобслуги, особенно же начальника обслуги, так называемого «завхоза». Этот «завхоз» полновластно распоряжался в своем крыле, распределял пищу, открывал и закрывал двери камер, выводил таких же, как он, заключенных на различные хозработы — уборку, мытье коридора, разгрузку угля или побелку. Так вот, «завхозом» одного крыла построенной в виде трехконечной звезды тюрьмы назначили бывшего, еще до 1945 года, военного следователя, «завхозами» другого крыла — двух офицеров политической полиции времен Салаши, в нашем же крыле всем заправлял бывший немецкий ефрейтор, эсэсовец.

Немецкого ефрейтора, под два метра ростом детину, охрана называла Ханци и смотрела сквозь пальцы, когда Ханци, взявшись раздавать пёркёльт, сперва отмеривал мясо себе, два полных котелка, а остальное делил между прочими зеками, которым доставались кусочки мяса величиной с орех. Бывший эсэсовец раздулся как бочка, в то время как работяги из пуговичной мастерской все больше тощали. Ханци мог, например, позволить себе сбить шапку с головы бывшего депутата от партии Баранковича доктора Ференца Матеовича, моего школьного приятеля, за то, что он, Матеович, не сорвал ее с должной, по мнению эсэсовца, поспешностью. А так как жертва беспардонного насилия возмутилась, на другой день, пока мы вкалывали в мастерской, Ханци перевернул все вверх дном в камере Матеовича, после чего доложил начальству, что тот не следит за чистотой и порядком. Начальник отделения Шандорфи поверил не бывшему депутату, а собственным глазам и фельдфебелю СС и сурово наказал Матеовича. В перерывах между такими и им подобными сценами Ханци мог в идиллическом покое писать свою биографию. Сие достойное произведение один из наших товарищей по заключению переводил потом на венгерский; он рассказал мне, что Ханци принимал участие в депортации евреев из Надьварада, но и помимо этого на нем кровь по меньшей мере 180 человек. Однако фельдфебель эсэсовец, перечисляя свои преступления, был гораздо скромней, деликатней и сдержанней, чем в тех случаях, когда появлялась возможность набить себе брюхо.

Бывшие офицеры различных карательных органов регулировали жизнь узников не только в самом здании тюрьмы: даже в бане командовал следователь, служивший до 1945 года в политическом сыске; а в пуговичной мастерской роль «завхоза», хотя после назначения Вандора и с меньшим кругом обязанностей, исполнял начальник следственного отдела политической полиции Хорти, потом Салаши. Разумеется, в тюрьме уже не в ходу были такие выражения, как «союз рабочих и крестьян», «гегемония пролетариата» или «международная пролетарская солидарность»; вместо отодвинутых в пропагандистские брошюры лозунгов здесь заявляла о себе национальная и даже интернациональная солидарность карательных органов, и факты, кричащие об этом с потрясающей откровенностью, убедительнее всяких фраз говорили о том, кого в действительности считает своими кровными родственниками партия внутри партии.

Физические силы работников пуговичной мастерской явно шли на убыль. Все больше узников приказывало долго жить, и тюремное начальство стояло уже перед все обострявшимся и весьма щекотливым выбором: либо отказаться от своего оригинального метода покончить с «эксплуатацией человека человеком», покончив с эксплуатируемыми, либо отказаться от пуговичного производства. Такая альтернатива не могла укрыться и от внимания Вандора, который видел общую истощенность работников, и, возможно, использовал свое влияние, чтобы сократить продолжительность рабочего дня. А может быть, поступало меньше заказов. Как бы то ни было, пришло время, когда мы стали откладывать в сторону свои инструменты уже не посреди ночи, а с наступлением вечера.

Поэтому теперь мы думали уже не только о том, чтобы поскорее растянуться на тюфяках; поскольку для некоторых производственных и домашних работ требовалось несколько отпустить вожжи, мы сумели наладить не очень регулярную связь с заключенными, работавшими в бане, в столярной мастерской, в котельной, и даже с другими крыльями тюрьмы. Гонцы наши приносили не только приветы, весточки, но и хлеб, а иногда даже сигареты из лучше снабжавшихся отделений. Один мой сокамерник, Роби Ш., почти регулярно имел связь с отцом, узником другого крыла тюрьмы. По несколько раз в неделю он получал сведения о состоянии здоровья отца и передавал ему самые вкусные лакомства нашей тюрьмы.

Роби работал в так называемой костоварке. Основное сырье для костяных пуговиц — главным образом лошадиные кости — складывали в яму, прикрытую досками. Лето уже начиналось, и вокруг этого склада, а при неблагоприятном направлении ветра и в камерах стоял невыноси-

мый, удушливый трупный запах. Роби и его товарищи вываривали кости, прежде чем они попадут в обработку, чтобы циркулярная пила распиливала уже относительно чистые, почти белые голени, тазовые кости, лопатки.

Голодные узники, торчавшие у котла, заметили, конечно, что на поверхности кипящей воды собирается вываренный из костей жир, и Роби осенила эпохальная идея. Стараясь не прихватывать, как он выражался, «накипь», Роби осторожно собирал в котелок жировые островки и, когда они застывали кашицей, намазывал на хлеб, как масло. Часть этого гастрономического изыска он отсылал отцу, и тот угощал своих товарищей по камере, таких же признанных не пригодными к работе стариков, и старики слали Роби восторженную благодарность за щедрые дары. Парень добрый и отзывчивый, Роби предложил свое лакомство мне и третьему нашему сокамернику, канонику Петеру Д. из Калочи. Добряк не мог придти в себя от изумления, когда мы оба, чрезвычайно подружески и вежливо, но все же отказались. Роби доказывал нам, что в адском кипении котла погибают все бактерии и что мы должны забыть о яме и источаемых ею ароматах, ведь не думали же мы там, на воле, о вонючем свинарнике, когда лопали ветчину!

Однако все его доводы на нас не действовали, мы даже не попробовали чудо-бутерброд. Роби пожал плечами, потом разозлился и отчихвостил нас обоих, а после того зловеще заметил, что брезгливость в тюрьме — преступление, эдак можно и концы отдать. Хотя он еще не раз заговаривал о бутербродах и опасности привередничанья, ему все же не удалось нас образумить. К счастью, позднее, и особенно в трудные минуты, мы всегда понимали друг друга.

Неприятные повороты событий обрушивались на нас, как правило, неожиданно, причем именно тогда, когда мы слегка расслаблялись или настраивались на ожидание благоприятных перемен. Новый период и теперь начался обнадеживающе. Вероятно, в тот день, когда нашего товарища по камере, каноника, перевели на другую работу, нас, работавших в пуговичной мастерской, вызвали на склад и раздали поношенные, но добротные еще солдатские штаны. Эта принадлежность одежды цвета хаки досталась нам, скорее всего, из экономических соображений начальства, для окончательного износа, однако мы почувствовали себя чуть ли не аристократами, ведь после штанов из дерюги поношенные армейские брюки, в самом деле, казались нам верхом элегантности. Мы рассовали по карманам свое богатство, обрывки веревок и клочки материи, и выглядели так, словно собрались на смотрины. Но длилось это недолго.

Не прошло и двух дней, как нам, вскоре после обеденного перерыва, приказали построиться во дворе мастерской. Явился сам начальник

тюрьмы с многочисленной свитой. Приказал: немедленно снять штаны. Через пару минут все мы стояли во дворе в трусах. Зрелище, надо полагать, было забавное, потому что кое-кто из сопровождения не мог удержаться от смеха. Начальник тюрьмы продержал нас так несколько минут, потом коротко, грозно рявкнул, что безжалостно с нами расправится; тут же появилось несколько заключенных с корзинами, они собрали армейские брюки и раздали нам тюремные, полосатые. Мы не знали, как понять эти угрозы, ведь в пуговичной мастерской ничего незаконного не произошло, и вовсе уж было непонятно, почему нас отправили после этого не на рабочие места, а развели по камерам.

Мы еще обсуждали с Роби необычное происшествие, как вдруг услышали грохот открываемых дверей, топот ног, потом короткие резкие хлопки. А затем — стоны, хрипы.

— Расстрел, — определил Роби и со знанием дела бесстрастно добавил: — Оружие применяют с глушителями.

— Видать, на воле политические беспорядки, — продолжал вслух размышлять Роби, — а может, война началась, и нет времени нас эвакуировать, так что скоро и с нами покончат.

К тому моменту, когда распахнулась и наша дверь, прошла, как нам показалось, целая вечность. Угебист с искаженной от ярости физиономией, тяжело дыша, остановился на пороге. Гаркнул:

— На выход!

С галереи мы уже могли глянуть вниз. Посредине внутреннего двора тянулась железная решетка, защищавшая и прикрывавшая уложенную под землю трубу. По правилам мы должны были ходить по решетке гуськом, не дай Бог, следы наших башмаков останутся на сверкающем чистотой плаце. Сейчас по этой самой решетке на расстоянии примерно десяти шагов друг от друга бежали наши товарищи, а по обе стороны выстроилось человек по двадцать угебистов. Сняв ремни, они лупили пряжками бежавших между ними заключенных по головам, по плечам. Звуки этих ударов, короткие, резкие, действительно были похожи на выстрелы. Роби поднес руку ко рту, я видел: он тоже облегченно вздохнул. Внезапно я шепнул ему:

— Бежать не будем.

— Я как раз хотел сказать это, — бормотнул он в ответ.

И мы не побежали, а не торопясь, словно по дунайской набережной, прошли по решетке. Это так поразило наших охранников, что они, в сущности, подгоняли нас только пинками и почти забыли, зачем держат в руках свои ремни. По-настоящему крепкий удар по голове достался только Роби, кожа на голове треснула, и лицо его залило кровью. Но рана оказалась несерьезной. Хуже всего пришлось тем, кто не утаил страха или вскинул руки, чтобы прикрыть лицо. Испуганные глаза

жертв влекли к себе угебистов, как магнит железную стружку. В этот день, напомнивший былые прогоны сквозь строй, не один из наших товарищей выплюнул по несколько зубов, а потом еще долго отлеживался на соломенном тюфяке и даже по прошествии месяцев носил на себе следы ремней и пряжек.

В тот вечер ужина нам не дали, а на другой день не дали ни завтрака, ни обеда, однако на третий день нас снова построили и повели в мастерскую. Охрана покрикивала грубее обычного, Вандор выглядел мрачным, но новый переполох случился лишь ночью. После полуночи мы проснулись от грохота, злобных окриков, дребезжания котелков. Охранники обходили камеру за камерой, сбивали котелки, переворачивали соломенные подстилки, награждали заключенных, всех подряд, пинками и зуботычинами. Погром продолжался часа полтора и повторялся еще несколько ночей. Правда, не всем охранникам это доставляло удовольствие. Бывало и так, что охранник — пока его напарник бушевал в соседней камере — всего лишь с грохотом расшвыривал котелки, но не топтал ногами наши постели, а лишь бормотал негромко, словно просил прощения:

— Ну, все, люди, ложитесь, отдыхайте.

И стучал ногой в стену, как бы оповещая напарника, что тоже бушует и не дает нам спуску.

Поскольку наша курьерская служба оборвалась, прошло какое-то время, пока мы узнали, чему обязаны этим коллективным наказанием. Брюки цвета хаки подали одному из наших товарищей смелую идею. Парень работал в котельной кочегаром; каким-то образом он уцепился за дифференциал грузовика, привозившего уголь. На воротах охрана проверяла лишь кузов машины, но под него не заглядывала, так что беглец, служивший когда-то в погранвойсках, выбрался за пределы тюрьмы. Больше того, как мы узнали позднее, миновал и минное заграждение на границе. Все мы тревожились за него и желали ему удачи, хотя после «ночи шпицрутенов» для нас наступил период коротких цепей.

Изначально это выражение, короткая цепь, означало оковы, соединенные короткой цепью. Некогда в австро-венгерской армии сковывали короткой цепью проштрафившихся солдат. Но УГБ модернизировало это армейское наказание столетней давности. Наши охранники вместо оков пользовались цепью в виде петли, которую затягивали так, что железо вгрызалось в мясо до самой кости. Правое запястье заключенного притягивали к левой щиколотке, а левое — к правой. Затем сержант Пинтер, самый крупный специалист по коротким цепям, хватался за оба конца, носком сапога наступал на башмак узника и изо всех сил стягивал цепью щиколотки и кисти, словно завязывал набитый доверху мешок с зерном. В прежние времена солдаты австро-венгерской армии

сидели в коротких цепях, самое большее, по два часа. УГБ и тут внес новшества: максимальный срок наказания был теперь шесть часов. При этом охранники заботились о том, чтобы узники сидели на железной решетке первого этажа сгорбившись и выпрямив ноги, если же кто-то пытался подтянуть колени, тем чуть-чуть ослабляя напряжение спинных мышц, надсмотрщики, любители порядка, тут же наступали на берцовую кость и таким способом выпрямляли линию бедра и голени.

Рабочие пуговичной мастерской, в сущности, никогда не давали повода для наказания. Однако наши тюремщики и не дожидались повода, поскольку наказывали, собственно говоря, не за оплошности и провинности, а хотели, помимо нашей физической несвободы, сделать нас еще и рабами постоянного страха. Было совершенно очевидно, что они выполняют приказ, ежедневно с томительной дотошностью записывая номера восьми-десяти рабочих пуговичной мастерской, чтобы на следующий вечер объявить им, сколько часов коротких цепей назначило им тюремное начальство. Например, кто-то спокойно выполняет свою работу, но вдруг надсмотрщик кричит:

— Почему не работаете?

Молчание считалось признанием, ответ же — пререкательством, и номер узника заносился в список. Если же случалось так, что к вечерней поверке список назначенных к наказанию оказывался неполным, надсмотрщик мрачно прохаживался перед строем, пока его взгляд не останавливался на чем-либо лице:

— Чего гогочешь?

— Я не смеялся, — отвечал ему спрошенный, так как причин веселиться у него и в самом деле не было.

— Ах так! Еще и лгать, негодяй! Номер!

Игра в волки-овцы стала постоянной, и ежедневно восемь-десять подневольных рабочих сидели в коротких цепях. С девяти часов вечера до трех утра не только в наших коридорах, но и в двух других крыльях трехконечной звезды не давали заснуть стоны и вскрики несчастных жертв. Очередь дошла до каждого из нас. Лично мне выпал максимум — шесть часов. Рядом со мной двое лишились сознания; одного, плеснув на него воды, привели в чувство, другого увезли — несколько ведер воды так и не помогли, и он не очнулся. Все это время я упорно держался принятого решения — ценою любых мучений подтягивать колени, как бы ни заставляли меня их выпрямить, — чтобы не отмирали связки, как у некоторых наших товарищей, которые потом хромали и полгода спустя, а некоторые остались инвалидами до конца жизни.

Нас уже не радовало то, что вместо пяти шагов мы можем прошагать в одном направлении целых двадцать, и мы чуть ли не с ностальгией вспоминали камеры Вацской тюрьмы. Была уже середина лета, но на-

пряжение не спадало, напротив, тюремная администрация нашла повод для организации нового спектакля.

Однажды в обеденное время, когда мы вышли во двор — это было в середине июля, — нам ударила в нос страшная вонь, словно из канализационной трубы. Когда раздавали суп, стало ясно, что вонь идет из другого котла, в котором привезли в качестве второго блюда гнилую капусту. Многие даже не стали брать свою порцию, другие вывалили свою в парашу. Вероятно, охранник доложил об этом, потому что примерно в три часа нас построили во дворе.

В тюрьме работало немало следователей в штатском, так называемая «оперативная группа». Один из оперативников встал на приступок пекарни и повернулся лицом к нам. Если бы я увидел на улице этого симпатичного, с правильными чертами лица молодого человека, скорее всего принял бы его за погруженного в науки, любознательного студента. Он уставился на нас недобрым взглядом и потребовал, чтобы те, кто не взял свою порцию капусты, выступили вперед.

Человек двадцать шагнули вперед. Вас было больше, заорал опер, кто выбросил свою порцию — пусть тоже выйдут... Никто не шевельнулся. Тогда Капустник — к молодому человеку так и прилипла эта кличка — приказал: всем прыгать лягушкой. Уперев руки в бока, держа щиколотки вместе, мы запрыгали будто и впрямь древесные лягушки. Те, что постарше, свалились уже на первом круге, молодые выдержали и по три. Но и после этого на призыв опера отозвались все те же двадцать с чем-то человек, не прибавилось их и после второго скакания лягушкой, хотя было ясно, что не взяли свою порцию капусты или выбросили ее, по крайней мере, две сотни заключенных. Пусть выйдут вперед, опять заорал Капустник, видевшие, кто из заключенных отказался от обеда. Ни один человек не шевельнулся. Капустник беспомощно смотрел на немую стену людей. По его правильному, но белому как мел лицу струился пот. Он весь дрожал. Выкрикнув прерывающимся голосом бессвязные угрозы, он, как будто спасаясь, бросился наутек.

На другой день нас опять вывели во двор. В сопровождении своей свиты явился начальник тюрьмы Банкути, но Капустника среди офицеров и оперов уже не было. Банкути повторил вчерашние требования. И на этот раз из рядов выступили все те же двадцать с лишком человек.

— Тогда я вам сам скажу, кто не взял свою порцию и даже кто выбросил ее, — заявил Банкути и вынул из кармана лист бумаги. — Вы знаете, какой нынче день?

— Мы стали одной из республик СССР, — шепнул мне сосед.

— Под возгласы всеобщего ликования, — проворчал я в ответ.

— Нынче в Венгрии — пролетарская диктатура, — выкрикнул Банкути. — И я вам покажу, что такое пролетарская диктатура!

И он показал. Зачитал несколько номеров. Вызванные, один за другим, становились перед ним в ряд. Начальник тюрьмы стал опрашивать каждого, чем занимался его отец, кем был сам заключенный, иногда — за что осужден. Потом, согласно услышанному, объявлял в выражениях, окрашенных стилем пропагандистских брошюр, одного — эксплуататором-капиталистом, другого — соцдемом, предателем рабочего класса, третьего — массовым убийцей или кровопийцей-помещиком, четвертого — троцкистским шпионом, а затем бил ногой в живот стоявшего перед ним на вытяжку узника, после чего собственноручно наносил несколько ударов дубинкой и передавал эстафету офицерам из своей свиты. Сцена завершилась «шпицрутенами». Заключенный бежал по коридору тюрьмы, а стоявшие по обе стороны сорок угебистов лупили его резиновыми дубинками. До нас доносились лишь глухие удары дубинок да звон катившихся по бетонному полу котелков.

Вандор стоял не с нами, а напротив нас, на почтительном расстоянии позади свиты Банкути, у стены пуговичной мастерской. Банкути зачитал еще несколько номеров, иногда оглядываясь на Вандора и спрашивая:

— Как работает?

Вандор с военной краткостью давал характеристики:

— Много брака... Средние результаты… Мухлюет с выработкой.

Никто из нас не сомневался, что при составлении списка не обошлось без участия бывшего майора УГБ.

Перед Банкути предстал молодой человек дет двадцати пяти — двадцати шести.

— Чем занимается отец?

— Земледелец.

— Сколько хольдов земли?

— Три.

— Чем сам занимаешься?

— Монах францисканец.

Не капиталист-эксплуататор, не соцдем — предатель рабочего класса, не генерал — массовый убийца, не троцкистский шпион. Начальник тюрьмы некоторое время стоял, уставясь на францисканца и не зная, как поступить; наконец в бешенстве завопил:

— Заруби себе на носу: Бог здесь — я, и Люцифер — тоже я.

С этой минуты, кто бы ни предстал перед ним, Банкути исступленно, словно обезумев, орал: Бог здесь — я, и Люцифер — тоже я. Дойдя до конца списка и немного опомнясь, начальник тюрьмы обратился к нам с краткой речью: он вправе всех нас в любой момент повесить, четвертовать. Может упрятать в тюрьму членов наших семей. Так что нам сле-

дует зарубить это себе на носу и вести себя соответственно. Это последнее предупреждение.

Так закончился второй — за три месяца — период «шпицрутенов», который в неписаных анналах Центральной тюрьмы именовался со свойственной историческим хроникам преувеличением капустной революцией.

Специалисты по центральноевропейским тюрьмам и казармам всегда утверждали, что как только дисциплина — на любом уровне — становится рутинной, тотчас же обязательно и неотвратимо возникает опасность лени, увиливания от работы и ослабления дисциплины. Дабы предупредить это, в австро-венгерской, а также в довоенной венгерской армии время от времени устаивались суровые выволочки и проводились похожие скорей на коллективное наказание дисциплинирующие мероприятия, дабы привести в чувство военнослужащих; иногда это бывало наказанием, несоразмерным с проступком, иногда же — без какой-либо непосредственной причины, просто острастки ради. Во многом именно этим традиционным методам обязаны были и мы периодам капустной революции и коротких цепей. Через несколько недель после великого представления, устроенного Банкути, нас стали реже заковывать в кандалы, но потом все опять накатывалось волнами, с почти правильными промежутками. И при этом репертуар всякий раз обогащался дополнительными придирками, еще больше нагнетавшими напряженность. Так, в пуговичной мастерской стали ежедневно проводить не поверхностный, как раньше, а самый строгий обыск.

Закончив работу, мы разувались и, выстроившись во дворе с башмаками в руках, ждали, пока охранники обыщут нас с головы до ног, а потом еще заглянут в башмаки, не спрятали ли мы что-нибудь под шнуровкой или в носке. Поздней осенью и зимой, когда стоять приходилось босиком на мокром гравии, а то и на снегу, на льду, такой обыск становился особенно мучительным. Впрочем, тяжко было и в более теплые дни, когда над нами измывался зеленоглазый пожилой сержант. Осмотрев снаружи и внутри наши башмаки, он с необычайной точностью ронял их нам на ноги так, чтобы край подкованного железом каблука угодил непременно по пальцам.

Но даже зеленоглазый не так усердствовал в этом прицельном метании, если по случайности рядом не оказывалось его напарника. Вообще жестокость охранников заметно убавлялась, как только они не чувствовали на себе взгляда вышестоящих или другого угебиста, как только оказывались перед нами не группой и не вдвоем с напарником. Наверное, я буду недалек от истины, предположив, что все эти «шпицрутены», цепи и прочие издевательства служили для того, чтобы будора-

жить не только охраняемых, но и самих охранников, дисциплинировать и даже запугивать тех, кому надлежит следить за дисциплиной. Ведь любой угебист в глазах начальства может моментально оказаться подозреваемым, если начальство сочтет, что он орудует своей резиновой дубинкой не столь усердно, как предписано, и не демонстрирует лютую ненависть к заключенным; когда же охранник позднее опять встречался с избитым им человеком, то вряд ли надеялся на его симпатию, скорее он мог ожидать, что ему постараются как-то отплатить или, по крайней мере, затаят чувство мести, а потому иногда случалось, что какой-нибудь охранник — просто в истерическом припадке страха — ни с того ни с сего вдруг набрасывался на заключенных. Но, оставаясь с заключенным один на один, рядовые угебисты обычно все-таки скорее смягчались. В такие минуты тюремщик не боялся ни доноса своих же, ни того, что узник в отчаянии попробует набросится на него. Словом, оказавшись с заключенным наедине, угебист уже тем, что разговаривал более мягко, по-человечески, косвенно предавал своих коллег и как бы открещивался от грубости остальных, а иногда даже — рискнув высказаться открыто — прямо давал понять, что лично он не ответствен за все эти издевательства.

По тем же психологическим причинам в закрытых отделениях, где один охранник оказывался постоянно с одним-двумя заключенными, превалировал — в отличие от многолюдных рабочих помещений — менее грубый тон. И все же люди предпочитали унизительную обстановку пуговичной мастерской некоторым другим отделениям тюрьмы, где царили — как, например, в Малом изоляторе — тишина и вежливое обхождение. В Малом изоляторе (не считая женского отделения) находились только приговоренные к заключению строгого режима и смертники. Однажды, когда мы относили туда пуговицы — которые женщины потом подшивали на картонки, — спутники обратили мое внимание на незатейливую, но кошмарную достопримечательность двора — прикрытые железными листами бетонные колодцы. В эти колодцы устанавливали виселицы, когда наступало время привести приговор в исполнение.

Виселицей служил прямой, с квадратным сечением столб. Чтобы он стоял вертикально, с четырех сторон в колодец вбивали клинья, а сверху перебрасывали через столб веревку.

Осужденным на смерть оба запястья привязывали к левому бедру, на голову надевали так называемый *подбородник*, состоявшую из ремешков конструкцию, которая наглухо закрывала рот и придерживала подбородок, чтобы крик несчастного не нарушил тишины тюремного двора. Осужденного ставили на скамейку под виселицей, затем накидывали на шею петлю. После этого подручные палача сзади, через подвижной

блок, натягивали веревку, а главный палач выбивал скамейку из-под ног жертвы и, резким движением свернув на сторону подбородок казнимого, отделял голову от позвоночника и тем обрывал его жизнь. Привязанные к левому бедру руки казненного не закрывали области сердца. Врач разрывал в этом месте последнюю рубаху человека, лишенного жизни, приставлял стетоскоп, затем объявлял о наступлении смерти.

Нам рассказывали об этом те осужденные на смерть заключенные, которые в конце концов все же были помилованы и позднее появились в пуговичной мастерской. В так называемых камерах смертников приговоренные не только слышали глухой стук кувалд, забивавших клинья, и воющий скрип подвижных блоков, но, бывало, и подглядывали, какая судьба ждет их самих. Кое-кто из них провел в смертной камере до полутора лет, прежде чем смертный приговор был заменен на пожизненное заключение. Один из рабочих пуговичной мастерской, сверливший в пуговицах дырки, бывший офицер, уже приковылял со связанными руками к виселице, ему уже набросили на шею веревку, и только тогда, под громовой хохот, ему был зачитан новый приговор, заменявший смерть на пожизненное заключение.

По утрам в те дни, когда совершались казни, нас не выпускали на первый этаж, откуда следовало идти в мастерскую. Больше того, наши камеры запирали и задвигали засовы. Но когда, наконец, выстраивали, мимо нас, возвращаясь из Малого изолятора, где он только что раздирал рубахи на груди повешенных, шествовал своей утиной походкой врач УГБ доктор Бенедек с кожаным чемоданчиком в руке. Мы стояли, вытянувшись по стойке «смирно». Бенедек с сомовьими усами, словно не видя нас, угрюмо помаргивая, тащил вдоль нашего строя свою непомерную задницу.

Осенью и зимой 1952 года эти встречи с доктором Бенедеком все учащались; казни множились. Иногда казнили по три-четыре человека подряд — рассказывали узники, увозившие трупы, — а однажды сразу восьмерых; говорили, что это были восемь телохранителей Ракоши, которые чем-то погрешили против коммунистической бдительности. В конце 1952 года взяли под стражу и Габора Петера, начальника УГБ, затем Мартона Каройи, занявшего место Эрнё Сюча, затем полковника Дечи, назначенного до того министром юстиции, и даже, среди прочих офицеров УГБ, Антала Банкути, начальника Центральной тюрьмы. Такой карьере Банкути был обязан не своей деятельности как начальника тюрьмы; в число важных особ он попал просто по той причине, что когда-то был доверенным посыльным, ординарцем Габора Петера. Но и начальника УГБ, и других видных представителей «органов» арестовали не за то, что они, допустим, отказались участвовать в организации новых фальсифицированных процессов, а, по иронии судьбы, лишь за-

тем, чтобы выставить их обвиняемыми на еще одном фальсифицированном процессе. Сталин был еще жив, и руководство МГБ планировало присоединить дело Габора Петера к готовившимся в Советском Союзе, однако из-за смерти Сталина не состоявшимся антисионистским процессам как более провинциальный, будапештский вариант московского парадного спектакля[71].

После исчезновения Банкути нас перестали забивать в кандалы, а по утрам в воскресенье дежурный по коридору разносил на деревянном подносе книги. Собственно говоря, на камеру полагалось по одной книге, которую мы читали вслух, но со временем иногда удавалось выпросить и по две-три книги. В ходе постоянных перемещений, в результате которых я давно уже оторвался от Роби, теперь мы делили камеру с летчиком-офицером, литейщиком из социал-демократов и профессором университета. В этот период случилась величайшая за все время моего заключения радость: в начале 1953 года, через три года и девять месяцев моего заключения, я мог, наконец, купить зубную щетку и пасту и у меня даже остались деньги еще на сорок сигарет, потому что, в первый и последний раз, я выполнил норму на 117 процентов. Правда, я был обязан этим не столько своему усердию, сколько Лаци Б., который, сам будучи заключенным, но выполняя обязанности писаря, раздавал нам работу, затем фиксировал выполнение и всякий раз умно, а иногда и с риском, помогал нам.

Когда в смягчившейся атмосфере наши курьерские связи восстановились, я получил весточку от прежних моих товарищей по камере: они работают в переводческой конторе и делают все, чтобы и я попал туда; они, мол, уже говорили, что я владею испанским, а также имею технические познания, и я не должен ни за что на свете подставить их. Я, правда, побаивался, что из-за моей технической неграмотности мои товарищи все же могут попасть в беду, но мне и не пришлось выставить их обманщиками, потому что весной 1953 года, когда я был переведен в так называемого Малого особняк, никто меня не экзаменовал, никто не задал ни одного вопроса.

Когда год назад закладывали Малый особняк и возводили первые стены, я и сам таскал сюда кирпичи, а отсюда — строительный мусор, но мне и в голову не приходило, что эта контора, где работали заключенные инженеры и переводчики, может оказаться настоящим тюремным раем. Действительно, ее помещения скорей напоминали рабочее общежитие или казарму, чем камеры Вацской или нынешней Центральной тюрьмы. Окна — правда, с матовыми стеклами, но нормальных размеров и формы — щедро пропускали свет, центральное отопление, умывальник с водопроводом и примыкавшая к каждой комнате, но от-

гороженная стеной и дверью уборная рождали воспоминания о давно забытом цивилизованном образе жизни. На пружинных железных кроватях в два яруса — не плоские тюфяки со слежавшейся соломой, а добротные матрасы. Нового обитателя Малого особняка встретили нормальные светлые конторские столы и стулья, ковровые дорожки в коридорах заглушали звук шагов.

По своей значимости и по численности технари превосходили переводчиков. В инженерном отделе специалисты с европейскими именами, университетские профессора проектировали заводы, мосты, телефонные узлы и контролировали творения проектировщиков из государственных учреждений. В их распоряжении была специальная литература на венгерском и иностранных языках, европейские и американские журналы по разным отраслям, а также дюжины помощников — молодых инженеров, чертежников.

Переводчики должны были переводить на венгерский язык как технические тексты, так и не изданные в Будапеште, но важные для УГБ политические труды, а иногда даже детективные романы. Наряду с автобиографией сэра Уинстона Черчилля переводили, например, детективные и шпионские истории Питера Чейни и других. По этим произведениям молодые угебисты, во-первых, безо всяких дорогостоящих заграничных путешествий могли быстро и безошибочно распознать всю порочность Запада; во-вторых, шпионские истории обогащали воображение сотрудников, участвовавших в подготовке фальсифицированных процессов. Именно так могла сложиться весьма неординарная ситуация, когда различные варианты вымышленных событий в протоколах допросов и на судебных разбирательствах превратились в реальность — разумеется, лишь при крайне вольном, угебистско-партийном истолковании сей категории. Однако УГБ интересовала и реальная реальность. Это подтвердило мое первое задание.

Меня вместе с другим заключенным, знавшим сербский язык, изолировали от остальных. Общаться с другими переводчиками мы не могли; на прогулку — ибо обитатели Малого особняка, само собой, гуляли ежедневно — нас выпускали только вдвоем. Мы реферировали статьи из югославских газет, прежде всего из «Борбы» и «Политики». На наших столах лежали аккуратно переплетенные годовые комплекты и даже подборки лишь пару месяцев назад наступившего 1952 года. Поскольку я сербского не знал, задача моя заключалась в том, чтобы литературно обработать сделанный моим напарником подстрочник и отпечатать перевод на машинке.

В рабочие часы и потом, до позднего вечера, мы рылись в газетах, прокручивая воображаемую кинохронику минувших лет. Газеты пространно комментировали появившиеся в Югославии и на Западе труды

о Сталине и сталинизме, часто печатали выдержки из них и, к вящему нашему удовольствию, памфлеты и карикатуры, изображавшие русского диктатора.

Лишь один вопрос, на который не так-то просто было ответить, омрачал наше веселье: почему именно в наши руки дают эти запрещенные в Венгрии издания? Надо полагать, не затем, чтобы осведомлять нас о политических событиях, как осведомляют инженеров и профессоров из технической лаборатории о новейших достижениях в их области. Скорее всего перевод югославских газет для архивов УГБ поручили нам потому, что мы надежнее, чем любой переводчик на воле. Ибо мы не можем никому рассказать о том, что читали, нас обрекли на молчание, и нет никакой опасности, что мы когда-нибудь сможем открыть рот.

Наше будущее не показалось нам более обнадеживающим, когда мы узнали о смерти Сталина. В Малом особняке все осталось по-прежнему, даже пайка сигарет, которую, без всякой системы, то выдавали, то не выдавали. А поскольку в тюремном раю, точно так же, как и в пуговичной мастерской, заключенные не видели ничего, кроме тюремных буден, и мало-помалу уставали предсказывать никогда не наступавшие благоприятные повороты событий, мы скорее апатично, нежели с надеждой продолжали стучать по клавишам наших машинок. Временами это становилось для меня нелегким испытанием, потому что уже через несколько недель, проведенных в Малом особняке, меня начали мучить боли в груди и в спине.

Сержант медицинской службы осматривать меня, правда, не стал, но решение вынес: ревматизм. Диагноз напрашивался сам собой, ведь в пуговичной мастерской я провел две зимы у разбитого окна, на сквозняке, мои руки, ноги деревенели от холода, суставы на пальцах раздулись, стали с орех величиной. Сержант дал мне салициловые таблетки, да он и не мог сделать ничего другого, потому что зимой 1952—1953 годов живые зеки попасть в тюремную больницу еще не могли, в то время она принимала только мертвых. О появлении мертвецов давали знать охранные мероприятия. В Малом особняке тоже запирали двери и приказывали всем разойтись по своим местам. Снаружи доносился скрип колес. Мои товарищи осторожно приоткрывали окна, выходившие на больничный двор. В узкую щель нам видна была крытая конная повозка, стоявшая возле здания справа. Несколько угебистов откидывали борт повозки, затем взбирались на нее и ногами сталкивали наземь двачтри обнаженных, истаявших — кожа да кости — мертвых тела. К счастью, мертвецы уже не могли испытывать стыд, когда их трупы швыряли, без всякого уважения к их статусу, и они со стуком падали вниз, не могли возмутиться, когда два дюжих заключенных отнюдь не бережно подхватывали их и волокли в морг больницы.

Однако в течение 1953 года произошли большие перемены. Не только впустили, наконец, в тюремную больницу живых, но случилось кое-что и на воле. После смерти Сталина, намотав на ус уроки восточногерманского восстания, случившегося в июне 1953 года, в Кремле стали склоняться к реформам и послаблениям. *Ad audientam verbum** в Москву вызвали венгерскую партийную и правительственную делегацию[72]. Кроме Ракоши, Герё, Иштвана Доби, председателя Президиума ВНР, и некоторых других руководителей партии, пригласили также заместителя председателя Совета министров Имре Надя. Из его мемуаров и рассказов детали прошедшей в Кремле конференции стали общеизвестны. Выступили Маленков, Берия, Молотов, Хрущев, Микоян, Каганович. Они говорили о том, что Ракоши и его приверженцы привели Венгрию на край катастрофы; экономические мероприятия Ракоши и Герё Микоян назвал политикой авантюр, Берия и Хрущев требовали незамедлительных политических и кадровых изменений. После московского разноса Ракоши сохранил, правда, руководящий пост в партии, но от поста председателя Совета министров ему пришлось отказаться, и его место занял Имре Надь. С согласия Кремля Имре Надь 4 июля обнародовал свою программу, которая действительно означала поворот в хозяйственной, политической и культурной жизни страны, а кроме того объявляла задачей правительства восстановление законности и гражданских прав. Новый премьер-министр всерьез принял собственную программу. Уже 26 июля появился указ об амнистии, и постепенно более сотни тысяч интернированных (население Венгрии не достигало тогда десяти миллионов) вышли из-за колючей проволоки лагерей.

Но до нас, осужденных по политическим мотивам, очередь еще не дошла. Ракоши держал в своих руках партийный аппарат, важнейшие нити государственного управления и пытался — вероятно, по подсказке и даже поддержке одной из фракций московского руководства — воспрепятствовать экономическим мероприятиям Имре Надя, похоронить их, как и внутриполитические реформы и освобождение жертв фальсифицированных процессов[73]. Между Имре Надем и Матяшем Ракоши началась отчаянная борьба. Разумеется, мы ничего об этом не знали. Не дошли до нас и слухи о закрытии лагерей для интернированных, о всеобщей амнистии. Пользуясь терминологией тюремщиков, мы попрежнему называли кладбище, расположенное в ближайшем соседстве с тюрьмой, «сквером для амнистированных», и оттуда до нас доходили не новости, а запах акаций весной и, в течение всего года, — если хоронили какого-нибудь именитого партийного функционера — траурный марш Шопена.

---

* Здесь: на допрос, для головомойки *(лат.)*.

Но в ноябре, сопровождаемый блестящей офицерской свитой, в Малом особняке появился Иштван Лехота. Тот самый Лехота, который был чем-то вроде управдома в вилле с Т-образным столом, сопровождал в уборную арестованных и помогал следователям, когда, например, как и мне, подследственным набивали рот солью. В признание этих и подобных заслуг его сперва назначили начальником Вацской тюрьмы, а после исчезновения Банкути доверили ему Центральную. Лехота объявил, что нам дозволяется написать домой открытку, не больше шестнадцати строк, а члены наших семей вскоре получат уведомление, когда им разрешат навестить нас, и смогут даже передать нам продукты на Рождество.

Лед тронулся. Мои товарищи были вне себя от счастья. Сам я несколько побаивался дня посещений, потому что мое состояние стремительно ухудшалось, я сильно похудел, боли мучили все сильнее, ночи напролет я метался в жару без сна. Считая, что мой крайне истощенный вид убьет мою мать, я попросил послать разрешение на свидание моему младшему брату. Я не знал, что еще совсем недавно Ференц также находился в тюрьме. Его, технического директора крупного предприятия, арестовали по сфабрикованному обвинению в саботаже и лишь после двадцатимесячного заключения в следственной тюрьме, когда премьер-министром был уже Имре Надь, внезапно, без какого-либо разбирательства, дело прекратили.

Наша встреча проходила совершенно так, как в «Воскресении» Льва Толстого, где он описывает — ко стыду царской России — одно такое тюремное свидание. Этот распорядок, судя по всему, в России отцы передавали в наследство своим сыновьям, цари — коммунистическим диктаторам, а в Венгрии его переняли как достижение прогрессивной по своему духу советской пенитенциарной системы. Заключенные вместе с охранниками стояли в высокой густоплетеной проволочной клетке, а их родственники — по ту сторону, за железным барьером, приблизительно в четырех шагах от клетки. Всем приходилось орать, так что в этом неимоверном гвалте мы едва слышали друг друга. Брат показал мне последнюю фотографию моего сына Михая. За эти четыре с половиной года ребенок превратился в школьника, пожалуй, я и не узнал бы его на улице. Стоя посреди чудовищного гама, я с завистью вспомнил князя Нехлюдова, который в коррумпированной, но иной раз не совсем бессердечной царской России все же мог найти тихий угол для разговора с глазу на глаз.

Рождество, наступившее вскоре после дня посещений, я встретил уже в больнице. На место доктора Бенедека врачом тюрьмы УГБ к этому времени назначили доктора Эрвина Сабо, стоматолога. Я попал в палату № 14, где лежало двадцать пять человек. Среди больных было два старика генерала, один, тоже пожилой, рабочий — бывший социал-

демократ, и еще два бывших министра, которым, как и мне, поставили диагноз — ревматизм. Трое из них уже не могли без посторонней помощи ни сесть в кровати, ни даже пошевелиться. Один из них рассказал, что прочитал в тюремной библиотеке переведенный с русского роман; его действие разыгрывается на каком-то советском курорте, и, между прочим, там описано новейшее открытие советской науки, благодаря которому с помощью электрошока за считанные дни ставят на ноги самых тяжелых ревматиков. Здесь их лечат электрошоком уже несколько недель, начали еще при докторе Бенедеке, который, по-видимому, тоже читал этот роман, но, к сожалению, благоприятных перемен больные пока не ощущают.

Лечением руководила старший сержант медицинской службы, сопровождая свои указания наипохабнейшими ругательствами, какие посрамили бы все когда-либо мною слышанные казарменные непристойности. Иногда вокруг нас собирались охранники тюремной больницы; конвульсии стариков под действием электрических разрядов их чрезвычайно забавляли, они надумали еще сажать больному на спину грузного истопника больницы, потом сами брали в руки инструмент с электродом на конце и с хохотом приставляли к ногам заключенного, который то хихикал от щекотки, то издавал мучительные стоны. Мне тоже посадили истопника на спину, но когда увеличили напряжение, я каким-то образом вывернулся из-под его задницы и встал. Еще слишком памятно было, как пытали меня электричеством русские в вилле с Т-образным столом. Старший сержант смерила меня взглядом.

— Ладно, ладно, — сказала она, словно ребенок, чью игрушку сломал соседский мальчишка, — вы за это еще поплатитесь.

Несколько дней спустя доктор Эрвин Сабо торопливо прошел по нашей палате. Когда он оказался у моей кровати, состоявший в его свите старшина остановил его.

— Этот человек, — сказал он, — во время процедуры оттолкнул сестру, старшего сержанта медицинской службы.

Поверил ли Эрвин Сабо этой выдумке или не поверил, не знаю. Но, поскольку и старшего сержанта и старшину он боялся больше, чем самый робкий заключенный, то мгновенно выдернул из рамки мой температурный лист и — хотя не мог не видеть, что ближе к вечеру температура ежедневно подымалась выше 38 градусов — тотчас выставил меня из больницы.

Однако через несколько недель меня снова туда положили. На спине образовались опухоли, они все увеличивались. На этот раз сделали, наконец, рентген. И объявили: у меня туберкулез позвоночника. В тюрьме это было почти равносильно смертному приговору. Голову я мог держать лишь скособочась. С трудом сидел, стоял, и даже лежа испытывал

такие боли, что не мог заснуть. Каждую ночь я отсчитывал все удары больничных часов и чувствовал себя счастливым, если после обеда удавалось забыться хоть на полчаса. За исключением аспирина и подобных ему препаратов тюремная больница других обезболивающих средств не знала; антибиотики я получал, но с перерывами, ибо все, что на воле пользовалось спросом, охранники, сунув за голенище, тащили из больницы — —лекарства, хирургические скальпели, пинцеты, ножницы. Когда мое положение выглядело уже совсем безнадежным, я упрямо решил: выживу, во что бы то ни стало выживу.

Дело шло к весне, когда меня навестил мой друг Хелтаи. Он притворился больным и подверг себя весьма неприятному курсу инъекций только для того, чтобы повидаться со старым врачом-профессором, лежавшим на соседней кровати, и со мной. Мы и сегодня не знаем, пробрался он к нам, чтобы подбодрить нас или чтобы попрощаться. Но и он подтвердил ходившие по больничным палатам слухи, что время от времени заключенных увозят в главное здание УГБ, а кое-кого даже посещали адвокаты, потому что идет пересмотр их дел.

После повторного рентгена диагноз изменили: снимок спины показал, что у меня не туберкулез позвоночника, а всего лишь туберкулез ребер — на трех ребрах дырки в полтора и два с половиной сантиметра. Я прислушивался в основном, к советам моего соседа, старого профессора, а не стоматолога. Теперь я ел все, что давали, как бы ни было невкусно, когда же стало теплее, открывал окно и выставлял спину под солнце. К концу весны я на несколько килограммов прибавил в весе, немного легче стало двигаться, а термометр, хотя все еще показывал подскоки температуры, но по вечерам уже не подымался до тридцати восьми.

В нашей палате каждый месяц один-два старика, а то и молодые люди приказывали долго жить; мы подвязывали им подбородок, а работавшие в больнице заключенные брали с двух сторон последнюю простыню покойника и уносили его вниз, в прозекторскую. Остальные же, могли они двигаться или нет, кое-как царапали, а то просто диктовали прошения о пересмотре их дел или о помиловании. Но наши судьбы зависели не от наших прошений, не от изысканности или простодушности стиля, а исключительно от того, чем кончится схватка между Имре Надем и Матяшем Ракоши.

Как раз в это время в их поединке наступил поворотный момент. Партийное руководство сформировало комиссию из трех членов; в нее вошли Имре Надь, Эрнё Герё и Матяш Ракоши. Комиссия должна была принять решение по делам политических заключенных, и, среди прочего, следует ли пересматривать также дела осужденных по процессу Рай-

ка. Ракоши протестовал с пеной у рта, что и понятно, так как в 1949-ом он сам приписал самому себе все заслуги в разоблачении троцкистских предателей родины и шпионов. Однако он остался в меньшинстве, потому что Герё присоединился к Имре Надю, высказавшись за пересмотр дел. Может быть, лишь по той причине, что надеялся, в случае провала Ракоши, занять его место, а может, потому, что таково было указание его высокопоставленного куратора из Москвы. Ведь в этот период Кремль — уже и еще — не командовал всей венгерской партийной верхушкой в целом. Венгерские лидеры были связаны политической и личной зависимостью с различными кремлевскими силами и группировками. Таким образом, противоречия во внутренних советских кругах получали резонанс и в более удаленных концентрических магнитных полях, в том числе, и в венгерской правящей партии, подталкивая к тайным интригам и открытым столкновениям внутри руководства. Впрочем, какова бы ни была причина, Имре Надь, при поддержке Эрнё Герё, выиграл этот раунд, и в числе пересматриваемых политических процессов оказалось и дело Райка. Но Ракоши все еще не сдавался; везде, где только мог, он препятствовал реабилитации.

— Да, шло все непросто, — задумчиво сказал Имре Надь, когда, в начале 1956 года, мы беседовали с ним на сбегавшей с будайских холмов улице Пашарети, где Надь катал на санках своих внуков, а я — сына.

Это воспоминание относится к тому времени, когда Ракоши снова оказался наверху; Имре Надь вынужден был отказаться не только от председательства в Совете министров: партийное руководство осудило Надя за «правый уклон», и Ракоши удалось вывести его из состава политбюро и даже исключить из партии. Случись это на полтора года раньше, навряд ли нас переправили бы в мае 1954 года в здание УГБ на улице Фё. В мае наш охранник вошел в больничную палату и, держа перед глазами лист бумаги, прочитал мое имя:

— 474-D-893, — медленно проговорил он, ибо это и было моим именем.

Нас повезли в гробу. Так называли мы грузовики для перевозки арестованных: их кузов был разделен на узкие, запирающиеся на ключ отсеки. В этих душных отсеках стоять можно было только сгорбившись; мы задыхались, судорожно ловили ртом воздух. Но в центре УГБ нас встретили хотя и темные, но снабженные вентиляторами чистые камеры, в каждой — кровать, стол и стул; притом не в подвале, а на разных этажах. Вскоре я очутился перед молодым офицером УГБ. Он представился: лейтенант Каша — как ни странно, действительно представился. Вынул протокол судебного заседания и, зачитывая абзац за абзацем, спрашивал, что верно, а что нет. Позже он перевел меня из камеры в

светлую комнату и даже приказал добавить к и без того вполне качественной пище еще сыр и масло, а потом, потрудившись несколько дней, подготовил еще один протокол.

Работая над ним, иногда он даже приводил доказательства. Например, вынимал из сейфа фотокопии донесений, которые в тридцатые годы писали обо мне полицейские агенты в моем родном городе, показывал докладные записки тогдашних местных властей, отправленные в Будапешт, их письменные сообщения о всех моих передвижениях. С помощью этих пожелтевших от времени документов лейтенант Каша опровергал выдвигавшиеся против меня обвинения в сотрудничестве с полицией — опровергал и передо мной, если я вдруг и сам в них поверил. Я заметил ему, что УГБ — когда пыталось доказать противное — имело в своем распоряжении эти данные и пять лет назад, а возможно, и раньше, с 1945 года. Лейтенант Каша не ответил, лишь слегка усмехнулся, затем пообещал проверить все мои утверждения, пока же меня вернут в больницу. Через неделю-две он меня навестит и привезет с собой доработанный протокол.

В тюремной больнице меня отделили от остальных, я не мог общаться ни с кем. Проходили недели, потом месяцы. Каша появился лишь в конце августа. Он положил передо мной огромную сброшюрованную кипу документов: я должен все просмотреть и, если их содержание не вызывает у меня возражений, подписать. Море бумаг, включая свидетельские показания, подробнейшим образом опровергало не только касавшийся меня протокол судебного заседания, в котором при всем том не содержалось против меня никаких конкретных обвинений, но также и относившиеся ко мне утверждения «Синей книги». Лейтенант дружелюбно сообщил мне: через две-три недели состоится пересмотр моего дела и я могу не сомневаться в том, что буду оправдан.

Основываясь на своем предыдущем опыте, я приготовился ждать не две-три недели, а долгие месяцы. Но и на этот раз ошибся. Правда, судебного разбирательства не было, однако уже через несколько дней после посещения лейтенанта меня вместе с несколькими моими товарищами доставили в центр УГБ на улице Фё. Едва мы вступили в здание, нас отвели в просторную комнату, где, помимо нижнего белья и рубашек, висели новые костюмы, стояли в ряд новые туфли. Повинуясь указанию, мы, не слишком выбирая и примеривая, переоделись.

Опять появился Лехота. После Ваца и Центральной тюрьмы он ведал теперь тюрьмой на улице Фё. Лехота вручил каждому из нас справку об освобождении. На моей значилось — и значится до сих пор, потому что я прихватил ее с собой даже за границу, как курьезное воспоминание, — что 31 августа 1954 года меня арестовали и на следующий день, 1 сентября 1954 года, освободили. Согласно этой справке, я провел под аре-

стом в УГБ только одну ночь. Мне-то казалось, что больше, но в тот момент я не раздумывал ни о душевном складе закоснелых в лицемерии людей, ни о странной относительности категории времени, тем более что вскоре нас повели к человеку с угрюмым взглядом. Он назвался государственным прокурором, затем положил передо мной отпечатанный типографским способом листок. На нем значилось, что все, происшедшее со мной, является государственной тайной, а также доводилось до моего сведения, что за разглашение тайны меня могут осудить на 10 лет тюрьмы. Я без раздумья подписал бумагу, мне и в голову не пришло принять угрозу всерьез.

A .... megyei bírósági börtön vezetője. Fih.:

..................-19..........törzslapszám. ....Ft..........fill.

Értékletétjének száma: ....

Elbocsátólevél

Szász Béla részére, akit a mai napon a börtönből szabadon bocsátottam, mert a .... kihágás — vétség — bűntett miatt a B .... -19..........sz. .... számú ügyben 1954 évi augusztus hó 31 napjától elrendelt letartóztatását megszüntette.

Személyi adatai: Szombathely született 1910 év július hó 9 napján, újságíró foglalkozás, nős — nőtlen — különváltan élő — hajadon — férjes — özvegy — törvényesen elvált, 1 gyermeke van, vagyon..........

Szabaduláskor: .... kapott.

Lakik: Bp. II. [illegible] u. 11

Bpest 1954 évi szeptember hó 1 n.

Lehota [illegible]
vezető.

Справка об освобождении, выданная Беле Сасу 1 сентября 1954 года

После этого Лехота, как хорошо вымуштрованный гостиничный портье, сопроводил нас, по трое, на первый этаж. Дойдя до железной двери, он поклонился и протянул руку. Это несколько удивило меня и даже привело в замешательство, но не настолько, чтобы я «заметил» сей дружеский жест. Однако именно в эту секунду замкнулся некий круг. С Лехотой связан первый день моего ареста, первая захлопнувшаяся за моей спиной дверь, в подвале конспиративной виллы, и с ним же —

последний день моего заключения, последняя распахнувшаяся передо мной железная дверь.

В минувшие недели, когда возможность освобождения казалась уже не просто плодом лихорадочного бреда, я боялся, что, выйдя из двери тюрьмы, не справлюсь с собой, расчувствуюсь и смешно захлюпаю носом. Но нет. Мы, все трое, вышли на улицу с самым невозмутимым видом, будто покидали какой-нибудь клуб; произнесли несколько самых банальных бесстрастных слов и сразу же стали оглядываться, соображая, как добраться домой. Однако найти такси удалось лишь после долгой пешей прогулки, возле фуникулера Здесь мы расстались. Все трое, сжимая под мышкой, несли домой узелки: пригоршню сахара, собранные за годы обрывки шпагата, кусочки ткани да несколько сигарет.

Этот узелок, цвет моего лица, одежда сразу объяснили шоферу, откуда я возвращаюсь. Он даже не спросил ни о чем — таких, как я, он уже видел, — мы просто поговорили, тихо, непринужденно. Мне пришлось долго его уговаривать, пока не удалось, наконец, всучить ему плату за проезд, это было более пятой части того, что я заработал за пять лет. Но, расставшись с приветливым шофером, в доме на проспекте Юллеи я был встречен неприветливо запертой дверью. Мама, которая все эти годы ждала меня каждый день, уехала к моему младшему брату в провинцию.

Я растерянно топтался возле выставленного перед дверью пустого мусорного ведра. Но вскоре жильцы меня заметили. Прибежал сосед с запасным ключом, открыл дверь, и я вошел в комнату моей матери. Аккуратно положил на стол свои вещички и опустился в оставшееся нам от прадедов кресло.

Вскоре в дверь позвонили. Соседи приходили один за другим. Приносили едва знакомому арестанту — кто в старинном серебряном кофейнике, кто в простой фаянсовой кружке — его первый полдник. Было как раз время полдника. Вскоре у меня на столе дымились пять чашек кофе, и неземные запахи хлеба с маслом, печений и кофе окутали старую мебель, превратив комнату в восточный рай.

Мой второй спутник, вместе со мной вышедший из тюремных ворот на улице Фё, оказался удачливее, он застал дома всю семью; третий — только жену, но тотчас же, вместе с ней, побежал к школе, чтобы дождаться там дочь. Когда же детвора, выйдя из ворот, шумно бросилась врассыпную, вернувшийся из тюрьмы отец растерялся. Жужике едва исполнилось два года, когда его забрали. С тех пор прошло более пяти лет. Бывший заключенный растерянно смотрел на толпу детишек, потом повернулся к жене:

— Скажи, которая — моя?

10

ПОХОРОНЫ ЭПОХИ

Мое возвращение домой на такси, непроизвольно вырвавшийся вопрос друга: «Скажи, которая — моя?» вдохновили самую талантливую новеллу послевоенного десятилетия*. Но возвращавшихся домой заключенных так же взволнованно встречали не только почтительно любопытствующие писатели, художники, не только старые друзья, не только едва знакомые соседи, но и вся страна. Ведь почти не было венгров, в чей дом или в дома близких не возвращались бы из лагерей и тюрем прежние их обитатели, бледные, исхудавшие, облысевшие, беззубые. Даже в мрачных учреждениях, куда мы обращались за трудовой книжкой, военным билетом или какими-либо иными документами, лица чиновников сразу становились приветливыми, как только они узнавали, откуда мы явились. Они всячески старались предоставить нам хоть какие-нибудь льготы или хотя бы помочь разобраться в иной раз весьма запутанных бюрократических процедурах. И друзья, и совсем незнакомые люди чуть ли не наперебой спешили обласкать нас, окружить заботой.

Недавних осужденных по процессу Райка прежде всего помещали в Кутвёльди, больницу компартии, на обследование. Я встречался там и с осужденными по другим процессам, и однажды в приемной перед рентгеновским кабинетом рядом со мной опустился на стул Янош Кадар. Тогда я, разумеется, еще не знал о пресловутой магнитофонной записи, не знал, какую роль взял на себя Кадар (в 1949 году он был министром внутренних дел), чтобы вынудить Ласло Райка дать признательные показания, и видел только севшего рядом со мной не менее измученного мужчину, который провел четыре года в тюрьме.

Кадар не стал ждать расспросов, заговорил со мной сам. Рассказал, что уже во время процесса Райка был окружен в министерстве внутренних дел кольцом провокаторов. Они душили его на каждом шагу, но он не мог открыться даже жене; не мог сказать и руководителям партии, хотя подозревал, что им в той или иной форме известно об интригах Габора Петера. Так и жил в страшном напряжении все последние месяцы перед арестом. Потом за него принялись палачи Габора Петера, а после приговора он попал в тюрьму на улице Конти. Среди прочих заключенных там находился и кардинал Миндсенти. С узниками обращались вполне уважительно, питание было скудное, но достаточно качест-

* Имеется в виду новелла Тибора Дери «Любовь» (1956).

венное, однако большинство из них, в том числе и Кадар, содержалось в одиночках. Он быстро прочитал решительно все книги, какие имелись в тюремной библиотеке, перечитал по несколько раз.

Все это время бывший министр внутренних дел без устали сочинял письма, записки и заявления на имя Ракоши — «товарища Ракоши», как сказал Кадар, — доказывая свою невиновность. Однако этот провокатор, глава УГБ, разумеется, не пересылал адресату сочинения заключенного. Но потом, когда Габора Петера и его сообщников арестовали, одна из эпистол Кадара все же попала к Ракоши. И тут Кадар не пожалел слов благодарности в адрес генерального секретаря, которому обязан своим освобождением, — ведь Ракоши вскоре сделал необходимые распоряжения и даже принял выпущенного на свободу узника.

— Почему же вы не написали мне раньше, товарищ Кадар? — спросил Ракоши, который, само собой, «и не подозревал» об оставленных без внимания письмах и страшно возмутился, узнав, как все было на самом деле.

Затем он дружески поинтересовался состоянием здоровья своего гостя, вспомнил о собственных тюремных злоключениях, затем перевел разговор на более насущные темы:

— Ну что ж, товарищ Кадар, чем вы хотели бы теперь заняться?

Недавний узник ответил, что для него возможно лишь одно из двух занятий: вернуться либо к старому своему ремеслу, то есть опять стать рабочим, либо к партийной деятельности — ведь ничего иного он не умеет. Ракоши сразу его успокоил: не может быть и речи о том, чтобы такой человек, как Янош Кадар, гнул спину в какой-нибудь мастерской, он нужен партии[74].

Рассказ недавнего заключенного, сгорбясь сидевшего рядом со мной в больничном халате, не только поразил меня, но и заставил задуматься. Неужто именно Янош Кадар был единственным в Венгрии человеком, который не знал, что главным будапештским режиссером и кукловодом не только процесса Райка, но и всех других более или менее значительных процессов был «лучший венгерский ученик товарища Сталина»? Ведь Ракоши хвастался этим как раз в то время, когда Кадар был министром внутренних дел. Зачем же он разыгрывает эту комедию передо мной, человеком, который тоже имел возможность заглянуть за кулисы этого представления? Зачем пытается уверить меня, что за все бесчисленные политические убийства, за уничтожение людей он считает ответственным только уже находящегося в тюрьме руководителя УГБ, а пребывающего на свободе, ныне действующего генерального секретаря коммунистической партии — нет? Какое бы сообщничество ни связывало его с Ракоши, абсолютно бессмысленно, полагал я, распинаться в преданности генсеку перед человеком, не принадлежавшим к внутрен-

ним кругам партии, даже если он рассчитывал, что одно-два такого рода любовных признания достигнут ушей Ракоши на крыльях сплетен или по дренажным трубам доносов.

Подобное лицемерие могло объясняться не только страхом, но и планами Кадара. Меня особенно поражало то, как может он после всего, что произошло, стремиться вновь попасть в партаппарат, а затем и во внутренние концентрические круги партии, но только что вышедший на свободу узник совершенно явно лелеял именно эти мечты, больше того, судя по всему, он твердо решил добиться цели любой ценой. Правда, пока он расчищал себе дорогу, можно сказать, вполне невинно, прикидываясь ни о чем не подозревающим простачком, не чураясь мелких проявлений лояльности; но позднее ради карьеры шел уже на любые моральные издержки и любые человеческие жертвы[75].

Примеру Кадара последовало немало из тех, кто был осужден по делу Райка, хотя в тюрьме они еще не находили оправдания действиям ни Советского Союза, ни народно-демократической власти. Как-то я устроил чуть ли не форменный допрос одному из них, добиваясь ответа, почему он все-таки согласился занять политический пост. Мой знакомый только развел руками:

— Ну, скажи, что же мне делать? Собственно говоря, я ничего иного и не умею. Я профессиональный революционер, это моя специальность, — ответил он и посмотрел на меня, как посмотрел бы профессиональный шофер, если бы я попрекнул его тем, что он взялся вести машину, хотя под ее колеса может попасть ни в чем не повинный прохожий.

Впрочем, этот профессиональный революционер, по крайней мере, не лицемерил, если только была возможность не делать этого, и оставался человечным, если только не был вынужден поступать бесчеловечно. Но многие бывшие заключенные, едва возвратившись во внутренние концентрические круги (некоторые из них заняли руководящие посты уже после революции 1956 года), с чрезмерным усердием новообращенных забывали о своем прошлом и даже в самом узком кругу не допускали высказываний или критических замечаний куда более сдержанных, чем те, которые в свое время они сами делали в камерах чуть ли ни ежечасно.

Почти для всех осужденных по процессу Райка этот путь был открыт, так как большинству из них предложили их прежние должности, а позднее и более высокие посты. Но мои действительные друзья, как и я сам, отказались от каких-либо должностей вообще; нам хотелось вернуться к книгам, к своим тихим письменным столам. Мы не считали себя профессиональными революционерами. Поэтому, когда заместитель министра сельского хозяйства пригласил меня к себе и как-то принужденно, словно бы по обязанности спросил, не хочу ли я снова руко-

водить отделом печати министерства или стать редактором центральной аграрной газеты, я, разумеется, решительно отказался. И сразу увидел, что он вздохнул с облегчением. Функционеры высокого ранга боялись, что одним лишь своим присутствием мы можем стать причиной всяческих осложнений. Куда любезнее приняли меня в издательстве художественной литературы, где я взялся редактировать книги, переведенные с испанского.

Однако приступить к работе удалось не сразу, так как из больницы Кутвёльди меня направили в санаторий, чтобы подлечить костный туберкулез.

Уже врач, меня принимавший, покачал головой и спросил, что за несчастный случай произошел со мной, так как, судя по моим ребрам, у меня вовсе не туберкулез, а грубо зарубцевавшиеся переломы. В санатории мне снова и снова делали рентген, обследовали, собирали консилиумы. Я стал для врачей «интересным случаем», что, вероятно, должно было льстить мне, побывал в нескольких клиниках, пока наконец мне не объявили, что антибиотики принимать больше не надо, в них нет необходимости. Причина изменений в моих ребрах не туберкулез, а, несомненно, полученные мною травмы. В свое время вокруг травмированных мест образовались гематомы, они-то и вызывали позднее болезненные воспаления, температуру, опухоли; разумеется, плохое питание, неверный диагноз, неполноценное и непрофессиональное медицинское обслуживание также сказались на моем состоянии.

Рентгеновские снимки показали на моей груди два, а на спине три неправильно сросшиеся перелома ребер. Один из них пользовался особым успехом, так как от этого ребра — вероятно, с помощью точно направленного удара ногой — отскочил почти трехсантиметровый кусочек; со временем он нарастил как бы опоры и соединился с обоими концами сломанного ребра, таким образом связав их, словно две стороны обрушенного виадука. Мои врачи упорно выспрашивали меня о деталях: как мог я выдержать до конца девять дней и девять ночей без сна, без пищи и воды? А затем, обсудив особенно обстоятельно нарушения, вызываемые в организме дефицитом воды, заявили, что мне, собственно говоря, не полагалось остаться в живых.

Покинув санаторий, я приступил к работе в издательстве. Казалось, настало время спокойно отойти в сторону, ибо я мог не только рассчитывать на получение обещанной мне квартиры и материальной компенсации, но и заняться любимым делом: мне было поручено переработать великолепный сто лет назад, но с тех пор несколько полинявший перевод Сервантеса, выполненный святым отцом Вилмошем Дёри. Таким образом, я мог посвятить свое время самому дорогому мне персона-

жу — остроумному, благородному Дон Кихоту из Ламанчи, погрузившись даже не в венгерское, а в испанское прошлое, — но тут настала очередь пересмотра нашего дела.

Я куда больше радовался своей новой работе и вердикту докторов, чем явно предрешенному оправдательному приговору чисто формального, и при том закрытого, заседания суда.

В это солнечное весеннее утро скучное судопроизводство нарушили показания даже не обвиняемых, а лишь нескольких свидетелей. Ибо суд вызвал на допрос Эрвина Фалуди и Тибора Самоши, бывших офицеров УГБ, которые, правда, уже не работали в органах госбезопасности, но в подготовке процесса Райка еще принимали участие.

Фалуди вышел на место свидетелей с задиристым видом. Да, он допрашивал одного из наших товарищей, но обвинения, предъявленные УГБ этому арестованному, и сегодня не считает необоснованными. Однако председатель суда Йожеф Домокош продолжал допытываться, и Фалуди вынужден был признать, что его утверждения основаны только на подозрениях, личных впечатлениях, но ни одного доказательства, ни одного факта он привести не может. Тем не менее бывший офицер УГБ высокомерно заявил, что о своих действиях не сожалеет, ибо старался лишь служить партии и исполнял приказы вышестоящих товарищей. Самоши держался скромнее, казался даже смущенным, но также говорил о своей преданности партии, потом заявил, что, когда дело Дёрдя Хелтаи передали ему, он еще полагал, что определенные события и факты действительно свидетельствовали о виновности подозреваемого, но теперь он уже признает, что ошибся, и даже сожалеет о происшедшем.

— Каким образом вы готовили протокол по делу Хелтаи? — спросил его Арпад Хази, один из заседателей Верховного суда.

— Приказывал заключенному изложить свои показания в письменной форме, — ответил Самоши.

— И из них без каких-либо изменений составляли протокол?

Свидетель некоторое время молчал, потом, наконец, признался:

— Согласно указаниям вышестоящих товарищей я несколько заострял их.

— Как это следует понимать? Приведите пример.

— Например, — заикаясь, продолжил Самоши, — например, я помню, что Хелтаи написал: «Я был связан с югославским посланником Мразовичем и передал ему, по указанию министра, следующие сведения...» — Бывший майор УГБ опять замолчал и только после не слишком дружелюбного понукания Арпада Хази, делая паузу после каждого слова, договорил: — Я выкинул слова «по указанию министра» и коечто добавил в текст...

— Понимаю. И как же звучала фраза после ваших добавлений?

Самоши нехотя, неуверенно ответил:

— После этого она звучала так: «Я поддерживал шпионскую связь с югославским посланником Мразовичем и передавал ему следующие сведения...»

— И вы называете это «заострением»?

— Так это называлось на профессиональной языке.

Поинтересуйся суд нашим мнением, каждый из нас мог бы засвидетельствовать, что Самоши говорит чистую правду, ведь следователи УГБ, особенно когда хотели во что бы то ни стало принудить своих подопечных дать обвинительные или хотя бы неоднозначные показания против, скажем, некоего лица, находившегося на свободе, требовали именно *заостренных* или *политизированных* показаний. *Заострение* и *политизирование* были наиболее употребительными выражениями профессионального словаря, точно так же, как термины *связь, по существу* или *реализация.* Однако Арпад Хази не собирался проверять утверждения Самоши.

— У меня больше нет вопросов, — сказал он. — Благодарю вас. — И сделал брезгливый жест, словно что-то стряхивал с рукава пиджака.

Хотя единственным слушателем на закрытом процессе был стоявший у двери охранник, после допроса Фалуди, потом Самоши в зале ненадолго установилась полная тишина, затем едва слышно люди задвигались, как будто недавние осужденные готовились к тому, чтобы не только фигурально, но и в действительности поменяться местами с их прежними следователями — загнанными в угол, обороняющимися офицерами УГБ. Это казалось нам более поразительным, более значительным, чем прозвучавший вскоре оправдательный приговор.

Моего следователя, полковника Фаркаша, на судебное заседание не вызвали, хотя с тех пор и он снял форму УГБ. Только он оказался на более высокой должности, чем Фалуди или Самоши. Он стал секретарем по оргработе партийного комитета Большого Будапешта, ораторствовал на многолюдных митингах. Его имя, напечатанное огромными буквами, я мог читать и на стене дома по проспекту Юллеи, неподалеку от квартиры моей матери. И партаппарат защищал Фаркаша от всяческих неприятностей. Это было тем легче, что и в госаппарате такие люди не встречали сколько-нибудь заметного сопротивления, ведь во время упомянутого заседания в кресле премьер-министра Имре Надя уже сменил преданный Ракоши партаппаратчик Андраш Хегедюш[76].

Поражение, которое в 1955 году потерпел Имре Надь, приписывали, прежде всего, тому, что Ракоши, даже после московской взбучки, по-прежнему держал в руках партийный аппарат, препятствовал увольнению своих людей с государственных постов, хотя даже для непосвя-

щенных не было тайной, что те последовательно саботируют провозглашенную в 1953 году и официально принятую программу. Принадлежавший к внутреннему, хотя и не к самому ближнему кругу Ласло Фаркаш, бывший мой следователь, был теперь оргсекретарем парторганизации Большого Будапешта. Отсюда ясно, почему суд любезно избавил его от неприятных минут на процессе, хотя Фаркаш мог дать показания куда более интересные, чем Фалуди или Самоши.

Эта тактичность была столь же характерна для межеумочного состояния дел в Венгрии, как и презрительный жест коммуниста Арпада Хази, каким он отверг всякую общность со свидетелем, бывшим следователем УГБ.

Причиной этой двойственности было вовсе не то, что теперь уже не только коммунисты, но и оппозиция, хотя и пассивная, но представлявшая подавляющее большинство населения страны, могла сказать свое слово; нет, раскол произошел внутри самой партии. Ибо на вышедших из тюрем людей не подействовала угроза прокурора за «разглашение» дать еще десять лет, и почти все, за редкими исключениями, рассказывали о пережитом. А злоключения выживших, как и еще более красноречивое молчание казненных, погибших в темницах или покончивших с собой, поставили перед выбором всех, до того веровавших в партию и даже обласканных ею коммунистов.

Тамаш Ацел и Тибор Мераи, прикормленные, но к тому времени разочаровавшиеся партийные писатели, так описывали испытанное не только ими самими, но и многими их товарищами потрясение:

Глубоко заглянув в себя, они вынуждены были признать, что боятся новоприбывших... так как, впервые сев с ними за стол для беседы, почувствовали, что сидят перед своей собственной совестью.

И далее, после первой ошеломленности:

Им было стыдно себя, собственной глупости; им хотелось биться головой об стену: как могли они поверить во всю эту чудовищную ложь, как могли распространять ее сами! Они вынимали книгу о процессе Райка, начинали читать обвинения и признания. Каким прозрачным и примитивным выглядело все это сейчас!.. Они стыдились себя и чувствовали, что должны сделать что-то, иначе они задохнутся. Моральный страстный протест, некогда приведший их в партию, а с годами словно угасший, сейчас вспыхнул вновь и сжигал их. (Тамаш Ацел — Тибор Мераи. Очистительный ураган. Big Ben Publishing Company. London.)

В Венгрии многие с недоверием наблюдали за поведением покачнувшихся в своей вере коммунистов, их бунтом и — как говорили они сами — покаянием. Не отрицаю, кое к кому из них и я относился так же;

быть может, потому, что человек меньше доверяет искренности других, чем своей собственной. Позднее я вместе со многими из этих разочарованных, людьми как умственного, так и физического труда, анализировал прошлое и настоящее. Считаю, что для переживавших серьезную душевную борьбу коммунистов это был естественный психологический процесс и лишь на первый взгляд выглядит неким противоречием тот факт, что восстать сейчас против сталинского партийного руководства их заставили чуть ли не те же самые духовные причины, те же самые гуманистические помышления, которые некогда вовлекли их в ряды приверженцев Сталина, в ряды политических бойцов Москвы. Собственно говоря, их покаяние состояло в том, что их чувства и страсти — после всякого рода зигзагов — вернулись к своей отправной точке.

Я сказал: чувства и страсти. Ибо, если мы оставим в стороне всех тех, кто присоединился к партии, когда она взяла власть в свои руки или накануне этого, — то есть тех, кто увидел в ней политическую опору для собственного продвижения, для карьеры, — и рассмотрим только действительно убежденных революционеров, можно наверняка сказать, что большинство из них пришло в коммунистический лагерь не столько в результате социологических штудий, не столько по экономическим соображениям, сколько из чувства ярости и протеста. В любом случае в первую очередь это были чувства и лишь во вторую — теория. Даже у интеллектуалов. Потому что Венгрия двадцатых, тридцатых годов комическая консервативность всех ее институтов, царившие всюду цинизм и несправедливость, а в сороковые годы бесчинства венгерских фашистов, следовавших примеру немецких наци, — все это бесконечно возмущало тысячи и тысячи людей, вызывало моральный протест. Этот моральный протест искал и нашел для себя форму, обобщенное выражение, или, если угодно, повод для действия в марксистском экономическом учении и в ленинско-сталинской теории государства.

Однако после того, как были выпущены на свободу сто тысяч интернированных, после того, как раскрылись тайные пружины сфабрикованных процессов, уже не могло не стать очевидным и для многочисленных коммунистов, что именно теория Маркса и партийная система советского руководства были стимулами для совершения возмутительных бесчеловечных актов. Так значительная часть коммунистов, с чувством ощущением дежавю, обнаружила себя в той же точке, откуда вышла; но нравственное возмущение, еще усиленное сознанием вины, на сей раз обернулось не против двадцатипятилетнего правления адмирала Хорти — казавшегося, по сравнению с настоящим, идиллически патриархальным, — не против уже обезвреженного фашизма, а против руководителей коммунистической партии, против самой партии и ее учреждений.

После столь же путанного брожения вернулось к своим истокам и еще одно чувство: чувство активной солидарности с жертвами социального неравноправия.

В полуфеодальной Венгрии интеллигенция, особенно левого направления, отождествляла себя с крестьянами, чья судьба представлялась ей сравнимой с судьбой средневековых крепостных, отождествляла себя с венгерскими рабочими, которые по сравнению с рабочими западных стран влачили нищенское существование, и в предвоенные годы, а потом и во время войны, когда Венгрия вступила в союз с Гитлером, многие полагали, что проявить настоящую солидарность с бесправными и преследуемыми можно, лишь присоединившись к объявленной вне закона, преследуемой коммунистической партии.

Однако после 1945 года, когда коммунисты были узаконены, а позднее вообще возглавили страну, партия — как единственный легитимный гарант идеи социализма — с суровостью адептов любых тоталитарных теорий — требовала от своих приверженцев абсолютной самоотдачи, полной и абстрактной преданности. Конкретная верность, конкретная солидарность с личностью или личностями запрещалась, ибо размягчающее сочувствие, фанатический поиск истины могли превратить члена партии в союзника врагов московского коммунизма. После процесса Райка дисциплинированный коммунист не мог более заявлять о солидарности со своими друзьями и даже о верности принципам, ибо партия поступала с принципами точно так же, как с отдельными личностями, — то превозносила, то низвергала их, если находила тактически бесполезными.

В пятидесятые годы эту отвлеченную преданность партии, исключавшую конкретную солидарность, помогала поддерживать не только безоглядная вера в нее, но и все новые и новые приступы страха. Совершенно очевидно, что именно страх заставлял родителей на открытых партийных собраниях отказываться от своих детей, детей от родителей, а коммунисты не смели поддерживать отношения с родственниками тех, кто томился в тюрьмах. Их не узнавали в трамвае и, увидев на улице, спешили перейти на другую сторону. Доктор — в течение пятнадцати лет я считал ее нашим добрым другом — после моего ареста не принимала мою больную мать, хотя была до тех пор ее лечащим врачом; отказав матери в медицинской помощи, она за мои «преступления» наказывала, таким образом, мою семью. В эти годы человеческого одичания подобные вещи случались чаще, чем достойные уважения поступки.

Но когда интернированные вышли на свободу и началась реабилитация жертв репрессий, собственно говоря, сама партия разрешила свободное выражение еще недавно запретного сочувствия и конкретную солидарность с невинно пострадавшими. Так вернулось к исходной точ-

ке чувство общности, которое родилось из гуманных посылок, но в силках партийной дисциплины, требовавшей слепой веры и абстрактной преданности, обернулось бесчеловечностью. К освобожденным, помимо выдержавших испытание друзей, вереницей потянулись и те, кто дрогнул, не устоял, так что пристанища недавних узников, которых еще недавно клеймили как шпионов и предателей родины, стали настоящим место паломничества.

В том, что душевная борьба отдельных членов партии не могла оставаться пассивной, но не могла и свестись лишь к критике действий отдельных личностей или организаций, главную роль сыграла сама монолитная сущность коммунистической теории и ее всеохватное доктринерство. Ибо как ужаснувшимся, так и усомнившимся — именно вследствие жесткой логики навязанного им догматического мышления — пришлось подвергнуть сомнению и московского типа партийную диктатуру в целом. Таким образом, за то, что волны сомнений растекались все шире, ответственна не только коммунистическая практика, примененная в Венгрии, но и философское кустарничество Ленина, стремившегося к тотальному господству над умами.

После захвата власти в 1917 году Ленин мог бы удовольствоваться тем, что успех прагматически подтвердил теорию партии: в самом деле, хорошо организованное меньшинство, передовой отряд в едином порыве захватил не только Зимний дворец, но и другие крепости самодержавия, уже стоявшие к тому времени с распахнутыми воротами. Но, поскольку новые режимы обычно обосновывают свои действия и самое существование нравственными причинами, Ленин же, собственно говоря, традиции почитал и по своим вкусам был более чем консервативен, он приспособился к освященным историей правилам хорошего тона, всегда нацеленным на самооправдания, и тесно увязал свою партийную теорию — которая в сущности лишь канонизировала технические и организационные принципы — с собственными представлениями о нравственности.

Во многих книгах и брошюрах венгерским коммунистам доводилось читать, со ссылкой на Ленина, безапелляционно упрощенную формулу: «Нравственно все, что полезно рабочему классу». А что рабочему классу полезно, решает, само собой, передовой отряд рабочего класса. Следовательно, то, что партия считает полезным, *eo ipso** и нравственно.

Это опасное упрощение, естественно, требует от членов партии абсолютной и абстрактной верности. Но если члены партии начинают сомневаться, могут ли они доверять своему руководству, то эти сомнения — как раз по логике Ленина — не только моральны в отвлеченном

* Тем самым *(лат.)*.

смысле, но и оправданы практически и политически. Ибо, с одной стороны, если члены партии считают, что их партия нарушает требования морали, у них непременно должен возникнуть вопрос: а полезна ли политика партии для рабочего класса? А с другой стороны: если действия партии они не считают полезными, то следует усомниться в нравственной легитимности партии.

Когда Райк и его товарищи были осуждены, колеблющиеся коммунисты еще могли найти убежище в этической теории Ленина. Ибо, даже если они не поверили, что министр, член компартии, был прежде агентом хортистской полиции, а позднее агентом иностранных разведок, все же, оглядываясь на Ленина, они могли как-то успокоить свою совесть. Мне случалось встречаться с людьми, которые в свое время успокаивали себя тем, что венгерскому и международному пролетариату, очевидно, пойдет на пользу, если партия ликвидирует Ласло Райка и его группу, а поскольку что полезно, то и нравственно, практически не имеет значения, на основании каких обвинений, сфабрикованных или достоверных, бывшего коммуниста-нелегала изъяли не только из общественной жизни, но и из жизни вообще.

Поэтому, следуя за ходом мысли Ленина, для партии, собственно говоря, роковым стало не то, что ей пришлось признать: осужденные на фальсифицированных процессах были ни в чем не виновны и, следовательно, казнить их, опозорить их имена было безнравственно, — а то, что пришлось согласиться: сфабрикованный процесс нанес вред делу международного пролетариата. Ибо на этом заколдованный круг замкнулся. Партия окончательно признала себя виновной, заставила усомниться в своей непогрешимости и объявила, что партийная теория — а тем самым советская трактовка марксизма — потерпела крах. Так, сомнения, поначалу выглядевшие чисто морализаторскими, перешли в область практическую: ведь со временем может выясниться, что представляющиеся в данный момент полезными действия внутренних московских или будапештских кругов могут в дальнейшем также оказаться вредными и потому, хотя бы только потому, аморальными. Но уже при одной мысли о такой возможности, исходя просто из собственных интересов, из соображений самозащиты, у коммунистов возникал вопрос: возможно ли, не опасно ли солидаризироваться с партией, с ее внутренними кругами абстрактно, вообще, делить с ними ответственность за действия, *истинные* мотивы и цели которых ведомы лишь самым внутренним посвященным кругам, тогда как многочисленных исполнителей кормят одними речами и декларациями. Не привлекут ли однажды к ответу преданного партии коммуниста именно за то, что он слепо выполнял приказы партии? Взвешивая личный риск, люди приходили к выводу, что, судя по всему, безопаснее примкнуть к оппозиции, нежели

безоговорочно связывать себя с находящимися в данный момент у власти вождями партии.

Таким образом действовавшая до сих пор безотказно теория этического прагматизма сама себе нанесла сокрушительной силы удар. Ее убаюкивающая комфортность обернулась тревогой и неудобствами, ее сулившая безопасность простота угрожала конкретному члену партии опасными осложнениями. Все вывернулось наизнанку. Ленинская теория построения государства для венгерской коммунистической партии сперва стала источником «антигосударственного течения», а потом та же самая доктрина, которая в течение десятилетий словно цементом сцепляла воедино кирпичи советской империи, под химическим воздействием событий превратилась в Будапеште, между 1953 и 1956 годами, во взрывной механизм.

В Венгрии, как и за ее рубежами, люди со стороны с некоторым злорадством, но при этом и с безразличием, отнеслись к тому — если вообще удостоили это вниманием, — какие душевные муки и угрызения совести породил процесс Райка в некоторых кругах венгерских коммунистов. Они в равной мере считали коммунистами Ракоши, Имре Надя и разочаровавшихся интеллектуалов. Они не осознавали еще, что признание безнравственной сущности и вместе с тем бесполезности сфабрикованного процесса пробуждает не только отвлеченные сомнения морального толка, но в данных обстоятельствах — что логически вытекало как раз из самой доктрины — чревато практическими последствиями. Они не приняли во внимание, что когда покачнулась вера в партию, в партийных руководителей, а теория повернулась обратной своей стороной, часть прежних революционных сил, которые в течение долгого времени составляли консервативную и монолитную сталинскую организацию, вновь стала революционной, но теперь уже изнутри восстала против самой партии, причем такой партии, единство которой после смерти Сталина как на местах, так и в международном масштабе оказалось подорванным.

Если бы венгерская компартия осталась единой, свергнуть диктатуру могли бы только иностранные вооруженные силы, но безоружная антикоммунистическая внутренняя оппозиция — ни в коем случае. Тем более потому, что она была безоружной и в политическом смысле, ведь до 1956 года никому, кроме коммунистов, и нигде, кроме как в коммунистической партии, проявить себя так, чтобы это можно было назвать, пользуясь даже самым скромным эвфемизмом, общественной или политической деятельностью, не было никакой возможности.

Вот почему — и это имело далеко идущие последствия — в задавленной страхом Венгрии дело Райка и уроки, какие можно было из него извлечь, побудило выступить против Матяша Ракоши и его приспешни-

ков именно коммунистов с их не оправдавшимися ожиданиями и поколебленных в своей слепой вере; и именно коммунисты повели себя наиболее страстно, наиболее воинственно. На партийных собраниях все чаще и все более откровенно они поминали пресловутые «бессонные ночи» Ракоши, когда — судя по его собственным речам — он разоблачал шпионов империализма.

Борьба шла против сталинизма, воплощением которого для внутрипартийной оппозиции по вполне очевидной причине был «лучший венгерский ученик товарища Сталина», и самым вопиющим и теперь уже однозначным проявлением сталинизма в глазах разочаровавшихся стал сфабрикованный процесс Ласло Райка. Поводом для атаки, почти вызовом, стало и то, что, хотя оставшиеся в живых осужденные по этому делу вышли на свободу, а выдвинутые против них обвинения признаны ложными, Ракоши отказывался реабилитировать самого Ласло Райка. Только в ноябре 1955 года — по настоянию Москвы — он был вынужден отказаться от настойчивых, годами повторявшихся клеветнических обвинений в адрес Югославии, а вместе с ними и от обвинения Райка в шпионаже в пользу Тито. Но даже тогда Ракоши — оправдывая казнь Райка — продолжал утверждать, что коммунист, член нелегальной партии, состоял осведомителем в полиции адмирала Хорти. Все эти увертки, шитые белыми нитками оправдания только подливали масло в огонь, но однако же не всеобщее отвращение и не пылкие выступления на партийных собраниях, а опять лишь указание из Москвы заставило Ракоши уступить требованиям оппозиции и реабилитировать Райка.

Он произнес речь, причем не в Будапеште, а в Эгере, провинциальном городе, и в основательно разжеванной форме, но как бы между прочим, сказал:

После разоблачения агента империализма Берии, а также банды Габора Петера в Венгрии, по инициативе руководства нашей партии было пересмотрено дело Райка. Установлено, что весь процесс Райка основывался на провокации. Поэтому, опираясь на постановление Центрального Руководства нашей партии от июня прошлого года, Верховный Суд реабилитировал товарища Райка и других товарищей. (Сабад неп. 29 марта 1956 г.)

Это заявление, в котором Ракоши, хотя и назвал Райка товарищем, но всю ответственность за сфальсифицированный процесс возложил на мертвого Берию и Габора Петера, столь мало послужило поставленной цели, что когда генеральный секретарь, после эгерской своей речи, появился на партийном собрании в Андялфёльде, одном из самых пролетарских районов Будапешта, Дёрдь Литван, молодой учитель средней школы, поднявшись на трибуну, бросил генсеку прямо в лицо, что население страны не доверяет ему, так что он должен сделать из этого над-

лежащие выводы и уйти с политической арены. Правда, Центральное Руководство партии (тогдашний ЦК) это требование не поддержало, но многие его члены высказались за то, чтобы Ракоши открыто выступил с самокритикой.

Наконец, после долгих увиливаний, генеральный секретарь, выступая на партактиве в столичном Дворце спорта, вынужден был сделать следующее признание:

Должен сказать открыто и искренне: в том, что у нас могли происходить столь тяжкие беззакония, виноват и я, поскольку занимал самый важный пост в партии, но до определенной степени виновато и тогдашнее руководство нашей партии.

Хотя в свое время разоблачение «банды Райка» Ракоши приписывал исключительно себе и не проявил ни малейшего желания поделиться этими заслугами с другими, теперь, когда задним числом приходилось делить ответственность, он оказался чрезвычайно щедрым, больше того, осудил методы партийного руководства и собственное поведение только за то, что «это сделало возможным бесчинства агентов Берии — Габора Петера и его банды» (Сабад неп. 19 мая 1956 г.).

Однако нынешнее приниженное, почти жалкое поведение Ракоши уже ни в ком не вызывало сочувствия и, напротив, приободрило оппозицию. Тем более, что настроения общества проявлялись все откровеннее. В кино, в театрах зрители в каждом слове, имевшем отношение к какому бы то ни было акту насилия, политического убийства, видели намек на Ракоши; Ракоши был Ричардом III, а Райк — лордом Гастингсом, Ракоши был Макбетом, и публика в Национальном театре любой текст, в котором усматривала намек, из вечера в вечер награждала бурной овацией, неумолкаемыми «браво» и требованиями повторить.

В такой атмосфере 19 июня был демонстративно отмечен шестидесятилетний юбилей исключенного из партии премьер-министра Имре Надя; в квартире юбиляра на улице Оршо появились не только его верные сторонники, но даже те, кто прежде за версту обходил не только родственников арестованных, но и всех тех, у кого замечались хоть какие-то нелады с партией. А 27 июня на дискуссии о печати в кружке Петефи[77] собралось почти шесть тысяч человек. Большая часть пришедших не поместилась в зале и слушала передававшиеся через громкоговорители выступления, стоя в фойе и на улице. Участники продолжавшегося до рассвета собрания уже открыто славили Имре Надя и требовали его возвращения в политику.

На следующий день разразилось восстание в Познани[78]. Ракоши использовал это как предлог и причину для контратаки. Он не только объявил антипартийными дискуссии в кружке Петефи, но вскоре вообще запретил их, не только исключил из Венгерской партии трудящихся

некоторых участников дискуссии о печати, но и готовился снова бросить в бой УГБ. Как стало вскоре известно решительно всем в Будапеште, Ракоши приказал составить список четырехсот наиболее опасных оппозиционеров на предмет их ареста. Однако на сей раз он решил действовать осторожнее, чем в деле Райка, и на 18 июля назначил пленум Центрального Руководства для утверждения своего замысла. Однако на заседании венгерской партийной верхушки неожиданно появился Анастас Микоян и не только перечеркнул планы Ракоши, но и сообщил, что Кремль настоятельно советует «лучшему венгерскому ученику товарища Сталина» уйти в отставку с поста генерального секретаря.

Хотя политическая линия Москвы после теплых женевских улыбок[79], XX съезда партии и речи Хрущева, обличавшей Сталина и сталинизм, опять ужесточилась, советские лидеры сделали вывод из событий в Познани и, не желая провоцировать в Венгрии нечто подобное, удалили одиозную фигуру Ракоши. Но на его место определили Эрнё Герё, другое их доверенное лицо — бывшего инструктора Коминтерна, бывшего уполномоченного НКВД в Испании, — разумеется, вовсе не для того, чтобы он кардинально менял политику Ракоши.

Однако же, когда Москва поставила Герё в центр венгерских концентрических кругов, центробежное движение настолько уже усилилось и ускорилось по сравнению с центростремительным, что угрожало и даже разрушило всю систему магнитных полей. Эта разрегулированность и расслабленность наблюдались не только во внешних и серединных партийных кругах, но и в партаппарате и даже в самом УГБ.

Внутри партии в целом виртуально уже сложилась своего рода многопартийность. Монолитная организация ВПТ разбилась на три главных группы. Их границы, особенно поначалу, были, правда, расплывчатыми, составлявшие их элементы еще перетекали из группы в группу, но все же отдельные направления все более решительно обособлялись.

Первая, сталинистская, группировка ограничивалась безусловными приверженцами Ракоши и теми, кто, понимая бессилие Ракоши, старался освободиться от него именно в интересах осуществления сталинистской политики.

Самую многочисленную группу составляли сторонники Имре Надя, среди которых было немало бывших заключенных. Одно ее крыло делало упор на осуществлении социализма, хотело опереться на, собственно говоря, никогда не существовавшие, но сейчас ностальгически вспоминаемые «демократические ленинские традиции» и, таким образом, желало в целом традиционного с коммунистической точки зрения, но демократического или, по крайней мере, более демократического социализма. Другое и более мощное крыло приверженцев Имре Надя даже в интересах осуществления социализма одобряло использование

исключительно демократических средств, подчеркивало примат демократии, стояло, можно сказать, за социалистическую демократию, то есть систему, при которой плюрализм мнений будет не только иметь право на существование, но и станет политической силой, иными словами, систему, при которой вести большинство к счастливому грядущему будет не воля некоего меньшинства, действующего по своему разумению.

Оба крыла сторонников Имре Надя — и те, что были за более демократический социализм, и те, что предпочитали социалистическую демократию, — желали покончить с колониальной зависимостью Венгрии от Советского Союза, принимая, разумеется, во внимание близость соседней великой державы, ее интересы и истерические требования безопасности и отнюдь не желая искать ссоры с Москвой.

Третья основная группа в партии была центристской. В нее входили по большей части партийные функционеры и чиновники государственного аппарата довольно высокого ранга. Центристы, правда, считали реформы необходимыми, но прежде всего оберегали мир внутри партии и ее единство. Поэтому оба крыла этой группы — одно лишь из тактических соображений (по сути дела, эти люди тянулись к сталинистам или просто боялись потерять свое положение), а другое потому, что симпатизировало Имре Надю и желало в умеренной форме вновь объявить официальной линией июльскую программу[80], — готовы были стать посредниками между приверженцами Имре Надя и сталинистами.

Руководители этих групп зачастую обсуждали между собой отдельные вопросы — в Центральном Руководстве, в государственных учреждениях или организациях, — совершенно так, как это принято между парламентскими партиями. Руководство ВПТ не только принимало к сведению существование оппозиции, но и старалось обезоружить ее не средствами запугивания и террора, а с помощью компромиссов, приманок и подкупа. Даже самым незаметным оппозиционерам предлагались посты министров, заместителей министров, послов.

Почти во всех коммунистических партиях, почти постоянно шла борьба за власть между тайными или не столь уж и тайными фракциями. Разрывов на этой почве случалось немало, но такой откровенной и почти парламентерской по характеру дезинтеграции, пожалуй, не было никогда.

В эпоху Сталина, во время всевластия УГБ это было никоим образом невозможно. В ту пору органы тайной полиции ставили заслон не только самой дезинтеграции, но и высказываниям особого мнения и всем иным предпосылкам дезинтеграции. Поэтому, если без иллюзий смотреть на события, имевшие место между 1954 и 1956 годами, то придется признать, что в октябре 1956 года вряд ли дело могло дойти до народно-

го восстания, если бы перед тем не покачнулась сама партия внутри партии — УГБ.

Считавшуюся непоколебимой надежность УГБ подорвал не арест Габора Петера, а смерть Сталина. Ибо то обстоятельство, что руководит советской партией и советской тайной полицией уже не единственный диктатор и что при этом самый внутренний круг Кремля раздираем борьбой за власть, не только запутало, но и оборвало многие нити дистанционного управления преемниками Габора Петера из Москвы. Тогда же произошло раздвоение правящих сил в самой Венгрии. Ракоши остался, правда, генеральным секретарем партии, и УГБ вроде бы подчинялось ему, но председателем Совета министров и, следовательно, руководителем государственного аппарата стал Имре Надь. А поскольку, таким образом, бывшее централизованное руководство распалось, тот живой механизм, с помощью которого УГБ в 1948—1949 годах заполонило учреждения народной демократии*, даже с точки зрения Ракоши был пригоден разве что для противодействия программе 1953 года, для саботажа реформ Имре Надя; силы же, чтобы действовать самостоятельно, у него уже не было.

В 1955 году, когда Ракоши вновь взял верх над Имре Надем, он смог лишь частично, пользуясь сталинскими методами, активизировать свой аппарат внутри государственного аппарата. И причина была не в том, что личный состав сотрудников так уж сильно изменился, а скорее в том, что к этому времени изменился характер советско-венгерского взаимодействия и, соответственно, изменилась техника государственного управления в Венгрии.

Но за то время, что Имре Надь в первый раз был премьер-министром, направляющий государственную деятельность механизм УГБ не только вынужден был работать вхолостую, но, в связи с реабилитациями, претерпел урон и собственно полицейский, карательный авторитет УГБ. Тем, кто готовил фальсифицированные процессы, угрожали расследования, и теперь они уже не могли рассчитывать на поддержку Москвы. После XX съезда и секретного доклада Хрущева партия внутри партии потеряла вместе с уверенностью в своих силах былое единство. Менее скомпрометированные офицеры УГБ, опасаясь возможных последствий, не желали принимать на себя ответственность за действия своих коллег.

---

* Характерный, но далеко не единственный факт продемонстрировал в 1956 году революционный комитет МИДа. Большинство работников посольств одновременно состояло в штате УГБ и не отказалось от своих чинов в тайной полиции. Так, например, в парижском посольстве Венгрии из двенадцати референтов девять были офицерами УГБ. Таким же образом, хотя и не при столь высоких процентах, осуществлялась руководящая роль партии внутри партии и в других учреждениях. *(Прим. автора.)*

Более того, некоторые из них прощупывали возможность сближения с оппозицией и в доказательство своей готовности даже предоставляли информацию противникам Ракоши. Так стал общеизвестным в Будапеште задуманный генеральным секретарем партии план контрнаступления и его «список четырехсот».

Когда единство и полновластие УГБ пошатнулись, практически перестал существовать строй, именовавшийся пролетарской диктатурой, предпосылкой которого, его *sine qua non* в тогдашней Венгрии была диктатура партии внутри партии, тайной полиции, питавшейся от московских энергетических источников и непосредственно из Москвы управляемой. Поэтому в 1956 году оба крыла сторонников Имре Надя полагали реальной надежду на осуществление одного из двух вариантов государственного устройства — социалистической демократии либо более демократического социализма.

Поначалу как против тирании, так и за реформы могла выступить лишь хорошо политически подготовленная, знакомая с механизмом партийного руководства и государственного управления внутренняя оппозиция. Но, с постепенным ослаблением диктатуры тайной полиции, по всей стране подымали голову все более многочисленные политические силы. Миклош Молнар и Ласло Надь, анализируя роль внутрипартийной оппозиции, замечают:

В период, последовавший за провалом Ракоши и предшествовавший революции, во главе движения стоит уже не внутрипартийная оппозиция; скорее, наоборот, все ширящийся революционный поток увлекает за собой оппозицию и самого Надя. (Miklós Molnár, László Nagy. Imre Nagy, réformateur ou révolutioner? Publications de l`Institute Universitaire des Hautes Études Internationales, № 33, 1959).

Могло случиться так, что Имре Надь вместе с приверженным коммунистическим традициям крылом своей группы остался бы вне революционного движения. Но этого не произошло, потому что желавшие социалистической демократии сторонники Имре Надя и демократические группы вне коммунистической партии сближались и уже вырисовывались контуры некоего всевенгерского единого фронта.

Политическое единство — идет ли речь о массовом движении или межгосударственном союзе — почти всегда, как показывает опыт столетий, достигалось ради негативных целей. Не во имя чего-то, а против чего-то. Когда же эта негативная цель бывала достигнута, союз, как правило, распадался, как распалась антигитлеровская коалиция. Вероятно, подобная судьба постигла бы и единый фронт, сложившийся в Венгрии к концу октября; но насколько сложно было бы определить элементы, тянувшие его в разные стороны, настолько же простой и очевидной представляется его негативная цель. Ибо, в каких бы оттенках

мы эту цель ни формулировали, бесспорно одно: единый фронт направлен был против кулачного права тайной полиции и тесно с нею связанного коммунизма советского образца, против русского колониализма.

Даже Имре Надь, который вовсе не был намерен порвать с Москвой и шел к цели, ведя борьбу внутри партии, выступал в опубликованных лишь позднее своих статьях против политики блоков. Он хотел обеспечить независимость Венгрии, ее право на самоопределение в духе бандунгской декларации[81]. Более того, в случае конфликта между великими державами, — обеспечить нейтралитет Венгрии. Часть сторонников Надя и различных сил формировавшегося единого фронта представляли себе изменения в советско-венгерских отношениях примерно так, как сам Имре Надь, другая же часть настроена была более радикально, и в их представлениях также смешивались несбыточные мечтания и реалистические моменты. Но решительно все — за исключением твердокаменных сталинистов и людей, лично ответственных за репрессии, — желали положить конец господству террора, диктатуре тайной полиции, сфабрикованным процессам.

Поначалу беспартийные, то есть основное население страны, относились к процессу Райка как к внутреннему делу коммунистов. Недоверчиво и равнодушно наблюдали они за отчаянными схватками вокруг реабилитации Райка, за поражениями и скромные победами внутрипартийной оппозиции. Но даже у этих, по-разному мысливших равнодушных и сомневающихся людей появились надежды, едва они поняли, что причиной провала Ракоши и растерянности УГБ в немалой степени стал именно процесс Райка, точнее, движение, первый толчок которому дали угрызения совести из-за дела Райка.

Постепенно казнь бывшего министра внутренних дел, почти независимо от его личности и поступков, превратилась в символ; в символ бесчисленных драконовских приговоров, вынесенных людям иных убеждений, и тайных политических убийств вообще. Поэтому реабилитация Райка и его перезахоронение в глазах всей страны стали как бы торжественным подтверждением утраты власти органами УГБ. И, поскольку свидетелями этого желали стать даже те, кто не поминал добром бывшего министра внутренних дел, похороны Райка превратились в первую, никак заранее не готовившуюся акцию октябрьского единого фронта, которая вылилась в мощную массовую демонстрацию. А в молчаливой угрозе, исходившей от сотен тысяч ее участников, уже можно было разглядеть свет и тени последовавших после 23 октября событий.

1 октября 1956 года в Крыму решили организовать охоту в честь гостя — главы югославского государства. Москва с радушным усердием старалась умиротворить маршала Тито и, разумеется, наладить югосла-

во-венгерские отношения, ведь с тех пор, как на процессе Райка прозвучали клеветнические обвинения и до падения Ракоши напряжение между Белградом и Будапештом почти не ослабело. Поэтому советские государственные деятели вызвали в Крым преемника Ракоши Эрнё Герё, чтобы дать возможность новому генеральному секретарю венгерской партии полуофициально инициировать примирение[82].

После возвращения Герё на родину, вероятно, в результате одного из совещаний в Крыму, на 6 октября была назначена, наконец, дата перезахоронения Ласло Райка и трех его казненных товарищей: Дёрдя Палфи, Тибора Сёни и Андраша Салаи. До сих пор руководители венгерской партии не только постоянно откладывали дату похорон, но и торговались, на уровне и в манере прожженных барышников, с вдовами казненных, особенно с Юлией Райк. Тем не менее после крымских собеседований им пришлось пойти на уступки. Они отказались от своего первоначального плана захоронить Райка в присутствии лишь нескольких приглашенных, однако еще в самый канун похорон продолжали спорить о том, кому выступать с прощальными речами над останками реабилитированных. Ибо Юлия Райк требовала, чтобы не только официально назначенные партией лица произносили официальные речи, но мог бы сказать несколько слов и кто-то из осужденных по делу ее мужа. Случилось так, что она попросила выступить меня. Не потому, чтобы я принадлежал к числу самых близких его друзей и сослуживцев, а потому, что стечение обстоятельств во время подготовки процесса и моя реакция — сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, счастливая реакция — не позволили мне стать орудием, реквизитом для режиссеров этой драмы и публично свидетельствовать против Ласло Райка.

Накануне похорон, уже под вечер Карой Киш распорядился разыскать меня в городе, попросил приехать в ЦК и предупредительно послал за мною машину. Киш принадлежал к тому крылу сталинистов, которое желало, правда, по личным и тактическим причинам, освободиться от самого Ракоши, но, боясь за свое положение, выступало против любых перемен. Почти на всех реабилитированных Киш смотрел с подозрительной неприязнью, на меня же особенно, потому что я совсем недавно отказался от должности замминистра, заявив, что не могу сотрудничать с руководством по принципиальным и моральным причинам. Поэтому я нимало не удивился, когда вообще отличавшийся суровостью Киш холодно, как подобает говорить лишь с врагом, сообщил мне решение руководства: говорить над гробом Райка в качестве обвинявшегося вместе с ним товарища мне не разрешено; самое большее, дозволяется выступить как его коллеге по университету, но лишь после того, как я представлю текст в ЦК.

Функционеры, готовившие похороны, вряд ли допускали мысль о том, что я соглашусь подвергнуться предварительной цензуре. Они поставили это условие, главным образом, потому, что искали предлог, как обойти уже состоявшуюся договоренность с Юлией Райк. Поэтому я успокоил Киша, сказав, что, хотя вижу их насквозь, вызывать охранников, чтобы оттеснить меня подальше от трибуны, им навряд ли придется, тем более, что я и не стремлюсь к такому соседству. Требование цензуры, разумеется, для меня неприемлемо, о чем я сожалею лишь потому, что такою ценой не могу выполнить пожелание Юлии Райк. С этими словами я покинул ЦК, не воспользовавшись снова предложенной мне машиной Киша.

Поскольку публичные выступления мне всегда давались нелегко, вызывая чувство неловкости и тревоги, а также из-за того, что, по совести говоря, я не доверял даже тем, кто заслуживал бы доверия, меня, можно сказать, камень упал с души: слава Богу, хоть не придется дышать одним воздухом с официальными ораторами. Итак, приняв к сведению, что партийному руководству удалось извернуться, я только пожал плечами, как человек, который уже ни в какой капкан попасться не может. Но не так повела себя Юлия Райк.

С посрамляющей мужчин решимостью, энергией и душевной стойкостью она сразу же после своего освобождения стала добиваться восстановления доброго имени Ласло Райка и компенсации для его маленького сына, тоже Ласло Райка. Юлию подогревали не столько политические страсти; она не стремилась выделиться, играть некую общественную роль, ее побуждало к действию чисто человеческое чувство солидарности с конкретной личностью, то самое чувство, которое в свое время привело ее к коммунистам и которое на долгое время запретила ей коммунистическая партия. Поэтому она не успокоилась на том, что осужденные товарищи ее мужа могут лишь молча постоять у его гроба. Еще ночью она позвонила Карою Кишу и разъяснила ему основные принципы этики относительно данного однажды слова. Хотя загнанный в угол Киш не мог единолично взять на себя ответственность за решение, Юлия Райк не сдалась и добилась своего. На другой день, за несколько минут до начала церемонии, ко мне подошел член ЦК Имре Мезё[83], принадлежавший к крылу сочувствовавших Имре Надю членов центристской группы, и непринужденным тоном, но при том официально, сообщил, что центральное руководство более не возражает против моего выступления и не настаивает на предварительном ознакомлении с текстом моей речи.

Ласло Райка, Дёрдя Палфи, Тибора Сёни и Андраша Салаи хоронили на будапештском кладбище Керепеши. Гробы установили перед мавзолеем Лайоша Кошута, вождя венгерской освободительной войны

1848—1849 годов. Пламя огромных канделябров у катафалков трепал, швыряя из стороны в сторону, ветер и так хлопал узкими, длинными полотнищами флагов по древкам, как совсем недавно хлопали по нашим спинам ремни охранников. Низко нависшие тучи клубились, становились все темнее, плотнее, но иногда среди них вдруг на мгновение проглядывало солнце и швыряло вниз узкий сноп лучей, словно вонзало в землю сверкающий клинок. Тем временем начал моросить дождь, канделябры дымили, шипели, но продолжали гореть.

В этих почти ирреальных декорациях из света, теней и звуков в почетном карауле у катафалков стояли осужденные по делу Райка, оставшиеся в живых товарищи казненных. Многие из них, наверное, с отвращением отпрянули бы, знай они, кто встанет в почетный караул вслед за ними. Ибо к катафалкам по очереди подходили партийные и государственные деятели сталинистской эпохи, косвенные или непосредственные организаторы политических убийств и охоты на людей. Отсутствовали только Матяш Ракоши и Габор Петер. Впрочем, и без них гротескная неестественность ситуации, присутствие виновников и их пособников, с каменными лицами притворно оплакивающих свои жертвы, издевательски воссоздавали атмосферу шекспировских трагедий.

Но насколько двусмысленны были притяжения и отторжения, связывавшие и отталкивавшие приглашенных, стоявших внутри веревочного ограждения и солдатского кордона, настолько единой выглядела никем не приглашенная толпа. Хотя многие секретари парткомов предприятий и районных организаций, как и другие функционеры, подчиняясь многозначительным подсказкам руководства, старались убедить доверенную им паству не участвовать в похоронах, перед катафалками — по средним подсчетам — прошло не менее четверти миллиона людей.

Ввиду противоречивости политической ситуации даже редактор официального органа партии не запретил своему репортеру описать то, что он видел своими глазами. Поэтому 7 октября на первой полосе «Сабад неп» можно было прочитать следующее:

...Тысячи проходили, устремив глаза на гробы, и никто не произнес ни слова, не издал ни звука; лишь горели глаза и жестко напрягались лица... Не только траур заставлял людей хранить безмолвие перед гробами казненных, но также и жаркая ненависть... Рабочие, в синих комбинезонах, с прямоугольными деревянными ящичками в руках — так, как вышли с завода. Студенты, юноши и девушки, группками по двое-трое, с портфелями. Военные, гражданские с траурными лентами на рукаве. Дети, оставив свои игры и забавы, идут взволнованные, держась за мамину руку. Они смотрят на маленького мальчика — он стоит у гроба своего отца и тоже держится за мамину руку. Это восьми-

летний Лаци Райк, бывший еще младенцем, когда отца его казнили на виселице, а мать бросили в тюрьму... Яростный осенний ветер гонит низко летящие тучи, холодный колючий дождь льет не переставая — но над сотнями тысяч людей, идущих мимо гробов, не видно ни одного зонтика. Они идут с непокрытыми головами...

Надо думать, репортер тоже заметил, хотя и не мог о том написать, какое множество одетых в штатское сыщиков УГБ вклинилось в эту немую демонстрацию. Но в этой исполненной достоинства массовой демонстрации им нечего было делать, разве только всеми силами пытаться скрыть свое потрясение и страх.

В три часа дня на трибуну поднялся Антал Апро, член политбюро, заместитель председателя Совета министров, за ним последовал Ференц Мюнних, потом Карой Янза, заместитель министра обороны, потом я и, наконец, Ласло Урбан, завотделом агитации и пропаганды ЦК партии.

Апро пообещал, что те, кто творил «позорные беззакония», будут привлечены к ответственности. «У гроба наших товарищей, — продолжал он, — от имени всех венгерских коммунистов поклянемся извлечь урок из ошибок прошлого и сделать все для того, чтобы никогда более не произошло тех ужасов, жертвами которых пали наши дорогие товарищи».

Тем не менее произносивший красивые слова государственный муж, всего несколькими неделями позднее, после поражения революции, когда безо всякого суда и следствия шли массовые расстрелы и люди гибли на виселицах, уже требовал от Кадара еще более решительных действий. И позднее его действия и выступления отнюдь не свидетельствовали о том, что он считает «позорным беззаконием», когда Имре Надя и его соратников, которые, получив охранную грамоту от Кадара, покинули югославское посольство, позднее в неизвестном месте, неизвестные лица неизвестной национальности тайно отправили на виселицу84.

Но когда Апро еще обещал «от имени всех венгерских коммунистов», что «те ужасы» никогда более не повторятся, свои клятвы он дополнил следующими словами: «У многих возникает вопрос, где гарантии того, что подобные беззакония не произойдут в будущем. Это справедливый вопрос. И мы должны ответить на этот вопрос перед лицом всего народа. Гарантия — это партия, гарантия — мы, коммунисты...»

Остальные выступавшие также называли гарантами партию, коммунистов; так, Ференц Мюнних, первый министр внутренних дел в правительстве Кадара после революции, а затем председатель Совета министров, сказал: «...пусть восторжествует в нашей партии ленинская демократия во всей ее глубине, пусть в нашей стране утвердятся непоколебимо сильная социалистическая демократия, социалистический гуманизм и законность, все то, на что указал исторический XX

съезд Коммунистической партии Советского Союза». Заместитель министра обороны Карой Янза, прощаясь с Палфи, заявил: события прошлого никогда не смогут повториться, «гарантия тому — всепобеждающая воля и дееспособность партии». По мнению Ласло Орбана, разоблачение «грязных клеветнических инсинуаций» процесса помогло коммунистам: «Благодаря этому наша партия стала не слабее, а сильнее, ибо, устанавливая истину, партия в то же время смывает и пятно, замаравшее ее честь...» И теперь, патетическим жестом указав на одетые в траур семьи, добавил Ласло Орбан, дети погибших «более не останутся сиротами. Великая семья коммунистов обнимет их, прижмет к себе, партия заменит им их отцов, она сама станет для них родным отцом».

В непосредственном соседстве с подобными прощальными речами мое выступление, состоявшее всего из нескольких фраз, произвело впечатление не столько своим содержанием, сколько тем, чего в нем не было. Все отлично поняли значение того факта, что ни единым словом, ни намеком не были упомянуты ни коммунистическая партия, ни тот социализм, который в глазах населения страны был синонимом диктатуры московского образца. Слух не только партийного руководства, но и далеких от политики людей был чувствителен к подобным умолчаниям. Такое отступление от канона выглядело вызывающим, и именно этому я обязан тем, что после революции командующий силами внутренней безопасности заявил, будто я и Геза Лошонци уже 6 октября замышляли восстание. Между тем, после нескольких вводных слов я сказал всего лишь следующее: «Ложные обвинения и виселица на семь лет бросили Ласло Райка в безымянную могилу, но сегодня в глазах венгерского народа и всего мира смерть его высится как предостерегающий символ. Ибо, проходя перед этими гробами, сотни тысяч людей не только отдают последнюю дань жертвам, но и выражают страстное желание, непоколебимую волю похоронить целую эпоху; навеки похоронить моральных мертвецов эпохи деспотизма и позора, навеки обезвредить венгерских учеников кулачного права и культа личности».

Без сомнения, слова эти — «моральные мертвецы» — могли отнести на свой счет, помимо множества отсутствовавших на похоронах и некоторых членов почетного караула, также и кое-кто из выступавших. Их нелепое положение еще более усугублялось тем, что в своих выступлениях о венгерской компартии, буквально уже дышащей на ладан, уже едва существующей не только в моральном, но и физическом смысле, они говорили так, как будто она все еще обладала полнотой неограниченной власти. Однако 6 октября 1956 года четверть миллиона пришедших на похороны граждан, да и вся страна, уже видели, что именно террористические акции — которые некогда должны были демонстрировать единство партии и ее право казнить и миловать — своими многообразными последствиями разрушили почти до основания

гообразными последствиями разрушили почти до основания организацию, кичившуюся тем, что она объединяет девятьсот тысяч членов.

По окончании гражданской панихиды к четырем катафалкам подошли по четыре человека; они подняли гробы на плечи, впереди стали четыре полковника, держа на бархатных подушечках ордена казненных. Вскоре над четырьмя свежевырытыми могилами выросли горы цветов. На венке от осужденных по процессу Райка ветер вздувал ленту с короткой надписью — теми самыми словами, которые я последними выкрикнул в микрофон: «Мы не забудем!»

Торжественные ружейные залпы лишь на мгновения перекрыли свист ветра, хлопанье флагов, шипенье канделябров. Хотя церемония окончилась, мужчины, женщины еще долго стояли тесным кольцом вокруг могил. Это было не только выражение человеческого сострадания, но и политическая демонстрация, своего рода молчаливое голосование. Таким образом, хотя палачи и привели в исполнение смертные приговоры, вынесенные судом на процессе Райка, однако столь гротескное дополнительное наказание — запрет в течение десяти лет занимать официальные должности и лишение на десять лет всех политических прав — казненные все же не отбыли. Более того, не прошло и семи лет, как они, погребенные в своих могилах, получили наивысшие должности, словно их и не осудили на смерть, словно и не казнили. Они стали возбудителями, символической объединяющей силой политического движения, которое привело к всенародному восстанию. Хотя останься они в живых, кто-то из них, наверное, и не стал бы на сторону революции.

Но, как бы то ни было, торжественный ружейный салют стал завершением реабилитации Ласло Райка, однако реабилитация сотен тысяч людей, решившихся — и еще не решившихся — протестовать, только начиналась.

11

ПОСТСКРИПТУМ

Если бы я располагал более богатой эрудицией, если бы не боялся, что тема подавит мое чувство юмора, я, может быть, сел и попытался бы описать историю человечества как историю фальсифицированных процессов. Я начал бы со сфабрикованных процессов афинянина Сократа, Иисуса из Назарета, затем перебрал бы все менее знаменитые с течением веков личности сходной судьбы, чтобы в заключение с неким злорадным чувством констатировать: почти все сфабрикованные процессы, в конечном счете, сработали мимо цели и привели к результатам, прямо противоположным замыслам их инициаторов. Именно так случилось и с делом Райка.

В международном масштабе Сталин предназначал будапештскому процессу роль одного из победоносных сражений в его крестовом походе против Тито, цель которого — поставить под подозрение и даже уложить на обе лопатки югославских еретиков, доказать, что осуществление социализма возможно исключительно сталинским путем. Прозвучавшие на этом и других процессах ложные обвинения всего несколько лет спустя в большой степени способствовали моральному оправданию ревизионизма; а в лагере коммунистов и сочувствовавших им укрепилось мнение, что осуществление социализма возможно самыми разными способами, но только не сталинским путем, не сталинскими методами.

В масштабах Венгрии целью процесса было, в превентивном порядке удалив способных к противостоянию лиц, добиться жесткого, железного внутрипартийного единства, предотвратить самую возможность изъявления несогласия, установить безусловное полновластие ни перед кем не несущей ответственности тайной полиции, обеспечив тем самым беспрепятственную передачу указаний Москвы и в то же время заставив население страны жить в постоянном страхе, в покорной неподвижности. Но по прошествии относительно короткого времени, именно в результате процесса, или, если угодно, под этим предлогом, внутри коммунистической партии началось чрезвычайно сильное оппозиционное движение, которое дезинтегрировало партию; тайная полиция пошатнулась. Приводной ремень Москвы оборвался, а десятки тысяч людей, осужденных на тупой страх, с автоматами ринулись на русские танки.

Москва могла сделать из этого два прямо противоположных вывода: с одной стороны — что окостенелое сталинское руководство партии и

государства нуждается в ревизии, она жизненно необходима; с другой стороны — что неустойчивость хотя бы периферийной тайной полиции, хотя бы одной провинциальной партии внутри партии способна привести не только к падению местной коммунистической диктатуры, но цепная реакция взрывов может угрожать всей системе укреплений Москвы.

Признав необходимость ревизии, преемник Сталина стремится, преследуя всех других ревизионистов, самому монопольно стать ревизионистом. Однако его реформы, организационные изменения, перемены, тактические уступки, экономические и культурные послабления — без риска для существования самого социализма в московском его понимании, а следовательно, без риска для полновластия бюрократической диктатуры — не могут зайти столь далеко, чтобы поставить под вопрос власть политической полиции.

Если московские руководители и не собираются избавляться от нежелательных лиц или определенных категорий граждан с помощью сфабрикованных процессов, их политическая полиция всегда должна оставаться достаточно сильной, чтобы при необходимости в любой момент иметь возможность такие процессы организовать.

Поэтому если пока ничего не слышно о театрализованных судебных процессах или о массовых арестах и опальные политики могут заниматься пока собиранием марок, это не дает нам права надеяться, что уже завтра сотни человеческих жизней не падут жертвами каких-либо политических замыслов. Ведь фальсифицированные процессы также были всего лишь внешними признаками безнадежного загнивания сталинского руководства, поэтому из-за частичного или временного отсутствия этих признаков мы не можем сделать вывод об исчезновении самого их источника; как не можем и предположить, что в самой сущности московской диктатуры, в функциях политической полиции произошли изменения. А тем паче в более удаленных от центра государствах народной демократии.

Что же касается Венгрии после 1956 года, то хотя правление Яноша Кадара во многих и отнюдь не маловажных отношениях отличалось от правления Матяша Ракоши, все-таки в ноябре 1956 года, со второй волной советской интервенции здесь вновь появились направленные из Москвы специалисты, возводившие здание венгерской политической полиции — сами оставаясь ее центром — в точности так же, как и в сталинские времена.

Коалиционное правительство Имре Надя 29 октября 1956 года официально ликвидировало УГБ, и потому после 4 ноября органы КГБ взяли функции политической полиции на себя. В течение ноября аресты производили все еще русские, русские же допрашивали задержанных по политическим мотивам; венгры участвовали в этом только как перево-

дчики. На эту вспомогательную службу КГБ определяло своих коллег — многочисленных вернувшихся из СССР венгерских «москвичей» высокого ранга, которые в конце октября — начале ноября бежали из Венгрии. Но после полного военного поражения революции КГБ позаботился о том, чтобы создать новую венгерскую политическую полицию из преданных Москве элементов, создать новую партию внутри партии, постепенно восстановить приводной механизм, связывающий Будапешт с Москвой, полностью уничтоженный народным восстанием. Выползли из своих убежищ бывшие офицеры, следователи УГБ. Они опять стали хребтом политической полиции вместе с некоторыми окопавшимися или укрывшимися с оружием в будайских горах бойцами внутренних войск и присоединившимися к русским войскам в качестве проводников коммунистами.

Во многих отношениях дело представлялось так, что все начнется сначала. Тем более, что на некоторых собраниях партийных организаций многие выступавшие уже требовали нового пересмотра однажды уже пересмотренного дела Райка. Они считали обоснованным подозрение, что реабилитированные все-таки служили иностранным державам, поскольку «подготавливали, организовывали восстание и даже руководили контрреволюцией». В особенности широко пользовались такими доводами сторонники Ракоши и, объявляя реабилитацию несостоятельной, пытались реабилитировать Матяша Ракоши, а вместе с ним сталинизм в Венгрии.

Разумеется, возвращение Ракоши было не в интересах Яноша Кадара, нового первого секретаря и премьер-министра. Но в то же время он не мог обойтись и без сталинистов, которые первыми присоединились к новой коммунистической партии, испытывавшей мучительные организационные трудности, в том числе кадровые; вскоре сталинисты заняли важные позиции в партии и государстве и, часто сознательно, а часто лишь потому, что оставались рабами рутины, применяли в работе привычные методы. Проявлением сталинистской рутины можно считать статью в официальной печатном органе партии, озаглавленной: «Всем, к кому это имеет отношение! Пять «безымянных» лжесвидетелей крупным планом!», которая обновила и даже дополнила обвинения в мой адрес по делу Райка. (Непсабадшаг, 15 сентября 1957 г.)

Эта статья, по замыслу Будапешта, должна была послужить ответом на доклад, подготовленный специальной комиссией ООН в связи с венгерской революцией и последовавшими за ней событиями, который 10 сентября 1957 года был представлен Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Партийный орган решил пригвоздить к столбу позора пятерых человек, которых будапештские власти заподозрили в том, что они выступили свидетелями перед этой специальной

комиссией85. «Непсабадшаг» опубликовала сделанные в полиции фотографии нас пятерых, даты рождения и список преступлений каждого, клеймя нас фашистами, террористами, иностранными агентами. Партийный орган не сделал ни малейшей попытки опровергнуть данные специальной комиссии ООН, ведь обнародованные ею материалы в Венгрии знали и могли подтвердить многие сотни тысяч людей, — он просто усомнился в добросовестности пятерых предполагаемы свидетелей, дабы таким образом представить доклад комиссии ООН лживым.

Тесные связи с Интеллидженс сервис, — писала обо мне «Непсабадшаг», — *поддерживал также Бела Сас (родился в 1910 г. в Сомбатхейе); с 1941 г. по настоящее время он работает на английские секретные службы. Белу Саса, который вернулся в Венгрию из Аргентины по поручению Интеллидженс сервис, суд приговорил за шпионскую деятельность — и приговор вступил в законную силу — к 10 годам тюрьмы, а также, дополнительно, к 10 годам лишения политических прав и полной конфискации имущества. Во время следствия и в ходе процесса Бела Сас признал себя виновным и признал также, что, будучи агентом английской разведки, предоставлял ей данные о политическом, экономическом и военном положении Венгрии.*

Даже в обвинительном заключении генерального прокурора Алапи я не был заподозрен в том, что сообщал данные «о политическом, экономическом и военном положении Венгрии», соответственно, я не мог делать подобных признаний и на закрытом заседании суда; впрочем, если бы даже я признался в этом, обвинения, выдвинутые против меня, были судом ложными, а я был реабилитирован. Это подчеркнула и западная печать, а «Нойе Цюрхер Цайтунг» добавила, что, если в Будапеште вновь обращаются к подозрениям, опровергнутым еще во времена Ракоши, это означает, что «нынешние власти в Венгрии делают все, чтобы поддержать, насколько это возможно, обвинения по делу Райка. Возможно, делается это потому, что Кадар, нынешний премьер-министр, в свое время, будучи министром внутренних дел, сыграл немаловажную роль в подготовке процесса» («Нойе Цюрхер Цайтунг», 22 сентября 1957 г.). В связи с этим венгерское посольство в Берне обратилось с пространным письмом к «Нойе Цюрхер Цайтунг» и попросило опубликовать официальное заявление о том, что «Революционное рабоче-крестьянское правительство Венгерской Народной республики» уже определило и с тех пор не изменяло свою позицию в связи с совершенными по делу Райка нарушениями законности. В своем ответе швейцарская газета указала на неуклюжесть пропагандистских приемов, к которым прибегает Будапешт вместо того, чтобы опровергнуть факты, содержащиеся в докладе комиссии ООН. («Нойе Цюрхер Цайтунг», 29 сентября 1957 г.)

Мне не очень-то верится, чтобы нелепые действия «Непсабадшаг» отвечали политике Кадара или намерениям тогдашнего министра внутренних дел Ференца Мюнниха; все это представляется скорее партизанской вылазкой сталинистов, с высокомерным презрением полагающих, что общество не способно помнить даже недавнее прошлое. Однако статья в будапештской партийной газете, именующая меня сомнительным свидетелем и приводящая в подтверждение те же самые домыслы, которые этот же самый партийный орган ранее уже опроверг, укрепила меня в убеждении, что я не могу молчать о том, каким образом рождаются в мастерских советской и венгерской тайной полиции действительно лживые от начала и до конца свидетельства.

Я не могу молчать тем более потому, что, вспоминая о действиях партии внутри партии, не только сберегаю память о событиях прошлого, но говорю и о том, что происходит сегодня. Ибо во внутренних и внешних магнитных полях Москвы — с помощью сфабрикованных процессов или без них, открытого или скрытого насилия — сегодня, так же как и в течение десятилетий, продолжается судебный процесс, который ведет опирающаяся на политическую полицию диктатура против миллионов людей разных стран. Но в то же время и советские лидеры — как будто бы даже в большинстве своем — уже видят необходимость реформировать прежние методы и, по крайней мере отчасти, отвергают прошлое. Вопрос в том, не остановятся ли они на полпути своего консервативного реформизма. Вопрос в том, не потеряют ли равновесия в реформаторском порыве. Да, это важный вопрос, тем более потому, что при каждом ослаблении диктатуры получают слово как раз те, кто до того был вынужден молчать, и, по всем признакам, перемены, жажда перемен волнуют не только значительную часть русских интеллектуалов и специалистов, но бурным потоком увлекают к политической активности также и на вид апатичные народы многонациональной империи. Ведь они уже давно осознали, что исторически сталинский социализм ближе к позавчерашнему, чем ко вчерашнему дню. Этот социализм осуществил не мысль Маркса и Энгельса, обращенную в дальние перспективы, — не мечту об отмирании государства, а идеал царской деспотической и полицейской империи, только в более тотальных размерах, чем российский монарх мог когда-либо даже мечтать. И все же этот позавчерашний день может стать предком дня послезавтрашнего, если никак иначе, то тем, что дети его — как в 1956-ом, в Венгрии, — откажутся от него и станут искать другой путь, быть может, некий третий путь между двумя старыми.

Конечно, результат подобного отрицания сомнителен. Тем более, что противоположностью одной нелепости не обязательно окажется нечто идеальное, это может быть и другая нелепость. Но всякие перемены,

всякое новое всегда начинается с отрицания, с отрицания прошлого. Даже духовная жизнь каждого отдельного человека первым «нет» перерезает пуповину, которая привязывает его к родителям, иными словами — к прошлому.

Мы, родившиеся в социально, культурно отсталых странах Европы, в свое время, со стыдом оглядываясь вокруг, заявили «нет» настоящему, хранившему в себе прошлое наших отцов, и этот дух отрицания повернул нас тогда к Востоку. Когда, подняв паруса, мы выплыли из залива, из его теплых вод, суливших идейный покой, — мы, возможно, напоминали Колумба, великого мореплавателя прошлого, ибо, как он, не ведали, куда приплывем. Только если Колумб искал новый путь в сокровищам Индии, древней империи, а вместо этого открыл Новый свет, мы искали Новый свет, а вместо этого открыли лишь новый путь к древней империи.

Но и сегодня я не могу признать, что филистеры были правы, когда уговаривали нас не покидать залива отцов: да, мы обманулись и оказались не на том берегу, о котором мечтали, но искали-то мы новый путь вовсе не потому, что на прежних берегах все было так уж хорошо. И великий генуэзец не потому приплыл не туда, что Земля не круглая, хотя тогдашние филистеры были уверены, что только совсем спятивший враль может утверждать, будто Земля наша круглая и там, на той стороне, люди висят вниз головой, а дождь падает вверх.

КОММЕНТАРИИ

[1] Седлмайер Э. Курт (1900—1965) — венгерский агробиолог, действительный член ВАН (1949), лауреат премии Кошута (1950), занимался селекцией сахарной свеклы, пшеницы, ячменя и др. культур; в 1956 г. эмигрировал в Австрию.

[2] Лошонци Геза (1917—1957) — журналист, участник подпольного коммунистического движения, в 1948—1949 гг. — политический госсекретарь президиума Совета министров Венгрии, позднее зам. министра культуры. В 1951 г. арестован и осужден на основании вымышленных обвинений, в 1954 г. реабилитирован. В ноябре 1956 г., как один из активных сторонников И.Надя и министр революционного правительства, арестован советскими военными властями. Умер в тюрьме во время голодовки.

[3] Петер Габор (1906—1993) — портной по профессии, в годы войны — один из руководителей подпольной компартии, с 1945 г. начальник политической полиции, с 1946 г. — Отдела государственной безопасности (AVO), преобразованного в сентябре 1948 г. в Управление государственной безопасности (AVH), генерал-лейтенант. 3 января 1953 г. был арестован в связи с готовившимся в Москве процессом по делу о «сионистском заговоре в МГБ», который не состоялся из-за смерти Сталина. В декабре 1953 г. Петер был приговорен к пожизненному заключению. В 1960 г. амнистирован, работал библиотекарем.

[4] Сюч (Сюс) Эрнё (1908—1950) — заместитель начальника УГБ; находясь в эмиграции в СССР, окончил школу НКВД; по сути, был представителем советских органов госбезопасности в венгерском УГБ, принимал активное участие в фабрикации политических судебных процессов в Венгрии. 23 сентября 1950 г. был арестован как «английский шпион», погиб от пыток во время допросов.

[5] Сёни Тибор (1903—1949) — врач-психиатр, с 1930 г. член венгерской компартии, во время Второй мировой войны руководитель венгерской коммунистической группы в Швейцарии. С 1945 г. в аппарате Центрального Руководства (ЦР) ВКП (с июня 1948 г. — Венгерской партии трудящихся), с 1947 г. заведующий отделом кадров ЦР ВПТ. 16 мая 1949 г. был арестован и на открытом судебном процессе (16—24 сентября 1949 г.) по делу Л.Райка и его «сообщников» приговорен к смертной казни по сфабрикованному обвинению в сговоре с Тито и подрывной антигосударственной деятельности. В 1955 г. посмертно реабилитирован.

[6] Салаи Андраш (1917—1949) — после 1945 г. сотрудник аппарата ЦР ВКП (ВПТ), зам. заведующего отделом кадров, в сентябре 1949 г. осужден вместе с Л.Райком и рядом других коммунистов на основании ложных обвинений. Казнен. В 1955 г. посмертно реабилитирован.

[7] Принц Дюла (1905—1969) — в органах УГБ входил в так наз. «пыточную команду», дослужился до подполковника; в декабре 1953 г. вместе с Габором Петером и рядом других офицеров УГБ был приговорен к 8 годам тюремного наказания.

[8] Ваги Ференц (1918—1950) — в 1934—1944 гг. находился в эмиграции во Франции и Швейцарии, с 1948 г. зам. заведующего отделом печати ЦР ВПТ, затем зав. отделом печати президиума СМ ВНР. Арестован 18 мая 1949 г. в связи с делом Райка. В 1950 г. приговорен к смертной казни. В 1955 г. посмертно реабилитирован.

[9] Имеется в виду Коллегиум им. Этвеша — элитная гуманитарная высшая школа при Будапештском университете.

[10] Райк Ласло (1909—1949) — с 1931 г. член нелегальной компартии, участник гражданской войны в Испании, в конце Второй мировой войны один из руководителей коммунистического подполья в Венгрии. С 1945 г. член политбюро ЦР ВКП (ВПТ). В 1945—1946 гг. заместитель генерального секретаря ЦР ВКП, с 1948г. секретарь ЦР ВПТ. В 1946—1948 гг. министр внутренних дел, затем министр иностранных дел ВНР. 30 мая 1949 г. арестован, в сентябре того же года на открытом судебном процессе приговорен к смертной казни по сфабрикованному обвинению в измене родине. В 1955 г. посмертно реабилитирован.

[11] Кадар Янош (1912—1989) — в годы Второй мировой войны один из секретарей подпольного ЦК компартии Венгрии. С 1945 г. член политбюро, в 1946—1951 гг. зам. генерального секретаря ЦР ВКП (ВПТ), в 1948—1950 гг. министр внутренних дел Венгрии. В 1951 г. по ложному обвинению был приговорен к пожизненному заключению, в 1954 г. реабилитирован. С июля 1956 г. вновь член политбюро и секретарь ЦР ВПТ. С 25 октября 1956 г. первый секретарь ЦР ВПТ, после самороспуска ВПТ 1 ноября вошел в состав Исполкома вновь созданной Венгерской социалистической рабочей партии (ВСРП). С 30 октября по 4 ноября государственный министр в правительстве Имре Надя. Отмежевавшись от последнего, возглавил организованное по инициативе Москвы Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство. С 4 ноября 1956 г. до июня 1957 г. председатель Временного Исполкома и Временного ЦК ВСРП. В 1957—1985 гг. первый, затем генеральный секретарь ЦК, в 1988—1989 гг. председатель ВСРП.

[12] Ракоши Матяш (Матиас) (1892—1971) — деятель венгерского рабочего движения и Коминтерна. В 1926—1940 гг. отбывал тюремное заключение в хортистской Венгрии. В 1940—1945 гг. в эмиграции в СССР. С 1945 г. генеральный секретарь ВКП (ВПТ), с 1953 г. — первый секретарь ЦР ВПТ, одновременно в 1952—1953 гг. председатель Совета министров ВНР. 18 июля 1956 г. на пленуме ЦР ВПТ освобожден с поста первого секретаря и члена политбюро ЦР. 26 июля 1956 г. выехал в СССР. В 1962 г. за допущенные в конце 1940-х — начале 1950-х гг. нарушения законности исключен из партии. С середины 1957 г. жил в Краснодаре, Токмаке (Киргизская ССР), Арзамасе, Горьком под надзором органов КГБ.

[13] Мольнар Эрик (1896—1966) — венгерский историк, юрист, с декабря 1944 г. занимал различные министерские посты в коалиционных, а затем коммунистических правительствах. В 1947—1948 и 1952—1953 гг. министр иностранных дел Венгрии, в 1948—1949 гг. посол Венгрии в СССР. В 1949—1950 и 1957—1966 гг. директор Института истории ВАН.

[14] Пушкин Г.М. (1909—1963) — советский дипломат, с 1945 г. — посланник, в 1948—49 гг. посол СССР в Венгрии.

[15] Береи Андор (1900—1979) — экономист, участник венгерского коммунистического движения, с 1922 до 1946 г. находился в эмиграции в СССР, в 1948—1954 гг. заместитель министра иностранных дел ВНР, затем до 1956 г. — председатель Госплана ВНР.

[16] Герё Эрнё (1898—1980) — с 1919 г. член венгерской компартии, в 1924—1944 гг. в эмиграции в СССР, в качестве представителя Коминтерна работал в ряде европейских стран, участвовал в гражданской войне в Испании. С 1945 до октября 1956 г. член политбюро ЦР ВКП (ВПТ). Вместе с М.Ракоши, М.Фаркашем и Й.Реваи в конце 40-х — начале 50-х гг. входил в неформальное узкое руководство ВПТ. В 1948—1951 гг. зам. генерального секретаря ЦР ВПТ, в 1952—1956 гг. зам. председателя Совета министров ВНР. 18 июля сменил Ракоши на посту первого секретаря ЦР ВПТ. Во время народного восстания 1956 г. бежал в СССР, где находился до 1960 г. В 1962 г. исключен из ВСРП.

[17] Кружок Галилея — прогрессивное студенческое объединение в Венгрии, созданное в 1908 г., выступало в защиту свободомыслия и демократических идей; в годы Первой мировой войны — один из центров антивоенной агитации.

[18] Штольте Иштван (р. 1910) — писатель, публицист, в начале 30-х гг. один из активистов студенческого коммунистического движения в Венгрии. 10 июня 1949 г. был в 1949 г. арестован органами советской контрразведки в Вене и доставлен в Венгрию. На процессе Райка был использован как свидетель, после чего в январе 1951 г. приговорен к пожизненному заключению. В 1956 г. покинул Венгрию.

[19] Райк Юлия (1914—1981) — жена Л.Райка. В 1946—1949 гг. генеральный секретарь, затем председатель Демократического союза венгерских женщин. В 1949 г. арестована, в 1950 г. по ложному обвинению приговорена к 5 годам тюремного заключения. В 1954 г. освобождена, примыкала к антиракошистской внутрипартийной оппозиции. 4 ноября 1956 г. вместе с членами группы И.Надя нашла убежище в югославском посольстве. 22 ноября арестована советскими военными властями и депортирована в Румынию. В 1958 г. получила разрешение вернуться на родину.

[20] Филд Ноэль Хэвиленд (1904—1970) — член компартии США, окончил Гарвардский университет, в 1941—1947 гг. руководитель благотворительной организации Unitarian Service Committee. В годы войны, работая в Швейцарии, имел контакты с А.Даллесом; одновременно помогал коммунистам из многих стран. До 1940 г. был агентом НКВД, однако деконспирировался и впоследствии подозревался в двойной игре. 11 мая 1949 г. по инициативе советских спецслужб был арестован в Праге и передан венгерским органам госбезопасности. Показания Филда были использованы при подготовке процесса Райка и других политических процессов в странах советского блока Среди коммунистов-нелегалов из Восточной Европы, которым в годы войны оказывал помощь Филд, многие десятки людей были арестованы и преданы суду. До 1954 г. Филд находился под следствием, после выхода из тюрьмы получил политическое убежище в Венгрии.

[21] Фаркаш Михай (1904—1965) — в 1945—1955 гг. член политбюро ЦР ВКП (ВПТ), в 1946—1955 гг. с незначительными перерывами зам. генерального секретаря ВКП, секретарь ЦР ВПТ. В 1948—1953 гг. министр обороны ВНР. Как один из организаторов массовых репрессий конца 40-х — начала 50-х гг. в июле 1956 г. исключен из ВПТ, 12 октября того же года арестован, в апреле 1957 г. приговорен к 14 годам тюремного заключения, в 1960 г. амнистирован.

Фаркаш Владимир (р. 1925) — сын М.Фаркаша, в 1946—1955 гг. офицер госбезопасности. В 1957 г. был приговорен к 12 годам лишения свободы. В 1960 г. амнистирован.

[22] Больница Кутвёльди — организованная по образцу советской «кремлевки» клиническая больница для партийной номенклатуры.

[23] Хайн Петер (1895—1946) — после оккупации Венгрии гитлеровскими войсками (19 марта 1944 г.) руководитель венгерской политической полиции, отличался крайней жестокостью. Казнен по приговору народного трибунала.

[24] Юстус Пал (1905—1965) — деятель Социал-демократической партии Венгрии, один из ее идеологов. После поглощения СДПВ компартией в июне 1948 г. вошел в Центральное Руководство ВПТ, был заместителем председателя венгерского радио. В сентябре 1949 г. на процессе по делу Л.Райка приговорен к пожизненному тюремному заключению. В 1955 г. реабилитирован.

[25] Тито (Броз Тито) Йосип (1892—1980) — деятель югославской компартии, во время Второй мировой войны верховный главнокомандующий Народно-Освободительной Армией

Югославии. Маршал (1943). В 1940—1952 гг. генеральный секретарь ЦК Компартии Югославии, в 1952—1966 генеральный секретарь Союза коммунистов Югославии. С 1966 г. председатель СКЮ. В 1946—1953 гг. председатель Совета министров ФНРЮ, в 1953—1963 гг. председатель Союзного исполнительного вече (правительства) ФНРЮ. С 1953 г. президент Югославии, с 1971 г. председатель Президиума СФРЮ.

Ранкович Александр (1909—1983) — с 1940 г. до 1966 г. член ЦК и политбюро (Исполкома) КПЮ (СКЮ), в 1948—1953 гг. одновременно министр внутренних дел и руководитель политической полиции. В 1953—1963 гг. зам. председателя Союзного исполнительного вече (правительства) Югославии. В 1966 г. освобожден от всех должностей и исключен из партии за злоупотребления властью.

[26] Реваи Йожеф (1898—1959) — историк, публицист, член ВКП с 1918 г. В 1919—1944 гг. в эмиграции в Австрии, Чехословакии, СССР. В 1945—1953 и с июля до октябрь 1956 г. член политбюро ЦР ВПТ. В 1945—1950 гг. главный редактор газеты «Сабад неп». В 1949—1953 гг. министр просвещения. Ведущий идеолог и руководитель культурной политики ВПТ.

[27] ОГБ (Отдел государственной безопасности; венг. сокращение: AVO) — название венгерской политической полиции с декабря 1946 до сентября 1948 г., когда ОГБ был преобразован в Управление государственной безопасности министерства внутренних дел ВНР.

[28] «Тактика нарезки салями» — выражение Ракоши, которым он цинично охарактеризовал методы борьбы венгерской компартии за единовластие в 1945—1948 гг. Следуя этой тактике, ВКП, опираясь на политическую полицию и советскую военную администрацию, ликвидировала систему коалиционного правления. От наиболее сильных противников — Независимой партии мелких хозяев и Социал-демократической партии Венгрии — коммунисты избавлялись по частям, дискредитируя представителей правого крыла в этих партиях как «фашистов» и «реакционеров». К лету 1947 г. «нарезка» НПМХ завершилась, и на ее руинах возникло несколько мелких буржуазно-демократических партий, а к июню 1948 г. перестала существовать и СДПВ: «правые» из нее были изгнаны, а основная часть партии покорно влилась в ВКП. В результате «объединения» возникла монолитная коммунистическая организация, названная Венгерской партией трудящихся.

[29] Миндсенти Йожеф (1892—1975) — с 1946 г. кардинал, глава венгерской католической церкви. Выступал как непримиримый противник коммунистов. В декабре 1948 г. арестован и в феврале 1949 г. предстал перед судом, приговорившим его к пожизненному заключению на основании ложных обвинений. После освобождения 30 октября 1956 г. стал одной из ключевых фигур венгерской революции. С 4 ноября 1956 находился на территории посольства США в Будапеште. В 1971 г. по договоренности, достигнутой между правительством Венгрии и Ватиканом, выехал в Рим, последние годы жизни провел в Австрии. В 1990 г. судебный приговор 1949 г. в отношении Й.Миндсенти отменен.

[30] Марко — тюремный изолятор в при городском суде, расположенный в центральном районе Будапешта на ул. Марко.

[31] Палфи Дёрдь (1909—1949) — кадровый офицер, с 1942 г. член ВКП, участник антифашистского движения. В 1945—1946 гг. руководитель Военно-политического отдела (контрразведки) министерства обороны Венгрии, с 1948 г. генерал-лейтенант, заместитель министра обороны ВНР. 5 июля 1949 г. арестован в связи с делом Райка, 10 октября вместе с тремя другими военными приговорен к смертной казни, 21 октября 1949 г. казнен. Посмертно реабилитирован.

[32] Патер Балог — католический священник и политик Иштван Балог (1894—1976), государственный секретарь Временного национального правительства (1944—1945).

[33] Вёрёш Янош (1891—1968) — генерал-полковник хортистской армии, в 1944—1945 гг. министр обороны во Временном национальном правительстве Венгрии. В июне 1950 г. был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в измене родины. Освобожден из тюрьмы в 1957 г.

[34] «Народ Кошута» («Kossuth Népe») — выходивший с 1945 г. полуофициальный еженедельник министерства обороны Венгрии.

[35] Венгерская партия независимости была основана адвокатом З.Пфейфером в 1947 г. после того, как ведущая политическая сила послевоенного периода — партия мелких хозяев — усилиями коммунистов была дискредитирована и разрушена. На выборах в августе 1947 г. партия независимости не собрала значительного числа голосов и вскоре была вытеснена с политической арены, а ее лидеру пришлось эмигрировать.

[36] ГРО (GRO) — Отдел борьбы с экономическими правонарушениями, действовавший в составе Главного полицейского управления Будапешта в 1945—1948 гг.

[37] К.Радек, приговоренный в 1937 г. к 10 годам тюремного заключения, на самом деле погиб в 1939 г. в верхнеуральской тюрьме.

[38] По-видимому, следователь имел в виду А.Н.Туполева, в 1937—1941 гг. находившегося в заключении, а в 1945 г. награжденного первой звездой Героя социалистического труда.

[39] Белкин М.И. (Михаил Ильич, в венгерских мемуарных и исторических источниках ошибочно упоминается как Федор Белкин) (1901—?) — с 1918 г. в органах ВЧК—ОГПУ—НКВД, в годы войны — в особых отделах Красной Армии и органах СМЕРШ. В 1947—1950 гг. начальник Управления контрразведки дислоцированной в Австрии Центральной группы войск, генерал-лейтенант, курировал деятельность органов госбезопасности в ряде восточноевропейских стран. В 1949 г. участвовал в подготовке процесса по делу Л.Райка в Венгрии. В октябре 1951 г. арестован по обвинению в принадлежности к «сионистскому заговору» в МГБ. Освобожден в 1953 г. и уволен из органов госбезопасности, в 1954 г. лишен генеральского звания за нарушения законности, допущенные во время работы в органах НКВД—МГБ.

[40] Себени Эндре (1912—1950) — адвокат, в период работы Райка министром внутренних дел государственный секретарь МВД. На процессе по делу Райка был представлен в качестве свидетеля, в марте 1950 г. приговорен к смертной казни, в 1955 г. посмертно реабилитирован.

[41] Череснеш Шандор (1909—1971) — участник гражданской войны в Испании, воевал в Северной Африке в английской армии, с 1947 г. руководитель пресслужбы МВД Венгрии. О своих контактах в конце войны с разведкой югославских партизан (ОЗНА), которая предполагала использовать его после войны для сбора информации в Венгрии, Череснеш после возвращения на родину поставил в известность партийные органы. После ареста 24 мая 1949 г. дал показания, бросавшие тень на Райка. Дважды, в 1950 и в 1955 гг., был осужден, однако в 1963 г. полностью реабилитирован.

[42] Майор Фридеш (1900—1963) — банковский служащий, в 1922 г. эмигрировал на Запад, участвовал в гражданской войне в Испании. После Второй мировой войны, до августа 1946 г., с ведома венгерской компартии работал в Вене в контрразведке армии США, затем был заместителем директора издательства ВКП «Сабад неп». 17 мая 1949 г. арестован в связи с

делом Райка, в 1950 г. приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 1956 г. амнистирован.

[43] Маршалл Ласло (1916—1949) — участник гражданской войны в Испании и французского движения сопротивления. После возвращения в 1945 г. в Венгрию работал на ответственных должностях в министерствах обороны и внутренних дел. В мае 1949 г. арестован, в ноябре приговорен к смертной казни. В 1954 г. посмертно реабилитирован.

[44] Химлер Мартон (Мартин) — полковник армии США венгерского происхождения, в 1945 г. руководитель американской военной миссии в Будапеште.

[45] 2-е бюро (Deuxième Bureau) — разведуправление французского Генштаба.

[46] Си-Ай-Си (Counter Intelligence Corps) — специальная служба военной контрразведки США.

[47] Л.Линдбергер в 1950 г. был приговорен к смертной казни.

[48] Коронди Бела (1914—1949) — бывший офицер жандармерии, поддерживавший связи с коммунистами и участвовавший в антифашистской борьбе, после 1945 г. работал начальником управления подготовки кадров в министерстве внутренних дел. 6 июля 1949 г. арестован в связи с делом Райка, в ноябре приговорен к смертной казни. В 1955 г. реабилитирован.

[49] Надь Имре (1896—1958) — с 1916 г. находился в плену в России, в 1918 г. вступил в РКП(б), участвовал в гражданской войне в Забайкалье. В 1921 г. направлен на нелегальную работу в Венгрию. В 1930—1944 гг. в эмиграции в СССР. В 1945—1949, 1951—1955 гг. член политбюро ЦР ВКП (ВПТ), занимал ряд министерских постов. В 1947—1949 гг. председатель Национального, затем Государственного собрания ВНР. С конца 1951 до июля 1953 г. зам. председателя, затем до апреля 1955 г. председатель Совета министров ВНР. В апреле 1955 г. обвинен в «правом уклоне», снят со всех постов, в декабре исключен из партии. 13 октября 1956 г. восстановлен в ВПТ, 24 октября возглавил правительство, свергнутое 4 ноября в результате советского вооруженного вмешательства. В июне 1958 г. на закрытом судебном процессе приговорен к смертной казни за «измену родине и организацию заговора с целью свержения народно-демократического строя». Казнен 16 июня 1958 г. В 1989 г. судебный приговор в отношении И.Надя отменен.

[50] 16—17 июня в Восточном Берлине и других городах ГДР недовольство рабочих социальной политикой коммунистических властей приняло острые формы протеста. При разгоне многотысячных демонстраций были использованы советские войска, несколько десятков человек погибло.

[51] Имеется в виду выступление Ракоши 30 сентября 1949 г., вскоре после объявления приговора по делу Райка, на собрании будапештского партактива, где он откровенно признался в своем личном участии в подготовке процесса: «В раскрытии подобных дел достаточного опыта у нас не было, и поэтому допустить легкомыслия в этом деле мы не могли... Разработать план разоблачения было не так-то просто, и должен сказать, что я пережил немало бессонных ночей, пока этот план не обрел наконец конкретные очертания» (Társadalmi Szemle, 1949, № 10, p. 656).

[52] Компрометирующая Кадара магнитофонная пленка, точнее, изготовленная с нее распечатка, действительно сохранилась. Расшифровка магнитофонной записи допроса Райка, который 7 июня 1949 г. по поручению Ракоши провели Кадар и Фаркаш (до конца своей жизни Кадар держал ее в личном сейфе), опубликована венгерским историком Т.Хайду (Társadalmi Szemle, 1992, № 4.). Как видно из этого документа, Кадар был убежден в виновности Райка и оказывал на него грубый нажим, добиваясь признания предъявленных обвинений.

[53] В декабре 1944 г. Райк, в то время секретарь ЦК подпольной компартии, был арестован нилашистами и доставлен в тюрьму г. Шопронкёхида на западной границе Венгрии, затем отступавшие нилашисты вывезли его в немецкий концлагерь, откуда он вернулся в мае 1945 г.

[54] Дзодзе Кочи (1911—1949) — министр внутренних дел Албании, лидер проюгославской группировки внутри албанского руководства; стал первой жертвой развязанной Сталиным кампании против Тито; приговорен к смертной казни 10 июня 1949 г.

[55] Костов Трайчо (1897—1949) — один из основателей Болгарской компартии, в 1944—1946 гг. генеральный секретарь, с 1945 г. заместитель председателя Совета министров Болгарии. В декабре 1949 г. стал жертвой показательного процесса, организованного в рамках антиюгославской кампании.

[56] Сланский Рудольф (1901—1952) — с 1945 г. генеральный секретарь Компартии Чехословакии, в 1951 г. арестован, в 1952 г. вместе с 10-ю другими чехословацкими коммунистами на открытом судебном процессе приговорен к смертной казни по сфабрикованным обвинениям.

[57] Бранков Лазар (1912—?) — участник партизанского движения в Югославии, с 1945 г. сотрудник югославской военной миссии при Союзной контрольной комиссии в Венгрии, в 1948 г. поверенный в делах Югославии в Будапеште, резидент югославской госбезопасности (УДБ). После принятия резолюции о положении в КПЮ вторым совещанием Коминформа (июнь 1948 г.) попросил политического убежища в Венгрии, затем переехал в Москву. 19 июня 1949 г. был арестован, а 19 июля после настойчивых требований Ракоши передан венгерским органам безопасности. Идея использовать Бранкова на процессе Райка в роли разоблачителя «клики Тито», по-видимому, принадлежала Ракоши, что зафиксировал, в частности, беседовавший с ним 11 июля С.Г.Заволжский, референт канцелярии Секретариата Коминформа: «Тов. Ракоши утверждает, что Бранков является югославским шпионом, служил связным между Райком и Ранковичем. В своем заявлении он [Ракоши] высказал удивление, что по настоянию бывшего посла в СССР в Венгрии т. Пушкина Бранков был вывезен из Венгрии в Москву. Нам в данное время было бы легко разоблачить Бранкова» (РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 120. Л. 150). В показаниях Бранкова на процессе Райка в качестве американских агентов фигурировали почти все высшие руководители Югославии, многие югославские дипломаты и военные, а также были раскрыты «планы» Тито по организации заговоров в Польше, Румынии, Чехословакии и других странах. Осужденный к пожизненному заключению Бранков был освобожден в апреле 1956 г., после чего вскоре выехал во Францию, где вступил в ФКП.

[58] Кун Бела (1886—1938) — деятель венгерского и международного коммунистического движения. Один из основателей компартии Венгрии в 1918 г. Фактический руководитель Венгерской советской республики 1919 г. Во время крымской кампании 1920 г. по разгрому армии Врангеля член РВС Южного фронта Красной Армии. С 1921 г. член Исполкома Коминтерна. В июне 1937 г. арестован НКВД по обвинению в организации контрреволюционного заговора против Коминтерна.

[59] Скорее всего, речь идет о младшем брате Режё Санто — Санто Золтане (1893—1977), ветеране венгерского коммунистического движения, находившемся с 1935 г. в эмиграции в СССР. После устранения из руководства КПВ сторонников Бела Куна с 1936 г. З.Санто стоял во главе временного секретариата партии, с 1938 г. был представителем Венгрии в Исполкоме Коминтерна. С освобождением Ракоши из заключения в 1940 г. и

его прибытием в СССР был отодвинут на вторые роли в венгерской коммунистической эмиграции.

Режё Санто, также участник венгерского коммунистического движения, в описываемое время (1936—1938 гг.) воевал в Испании.

[60] Имеется в виду резолюция «О положении в Коммунистической партии Югославии», принятая на втором совещании Коминформа (Бухарест, 19—23 июня 1948 г.). В резолюции Тито и его соратники обвинялись в мелкобуржуазном национализме, контрреволюционном троцкизме, меньшевизме, ликвидаторстве, бюрократизме, ревизионизме и прочих грехах.

[61] Келебия — населенный пункт на венгерской стороне венгеро-югославской границы. В конце 1947 г. здесь состоялась рабочая встреча Райка с министром внутренних дел Югославии Ранковичем, преподнесенная на суде в криминализированном виде.

[62] Ласло Райк, находясь с марта 1946 до августа 1948 г. на посту министра внутренних дел, под видом борьбы с реакцией запретил целый рад демократических и религиозных учреждений и организаций и принимал участие в организации первых противозаконных судебных процессов.

[63] Андраша Виллани, бывшего руководителем экономической полиции, а позднее начальника одного из отделов МВД Венгрии, действительно арестовали в ходе процесса, 20 сентября 1949 г., после того, как свидетель Себени заметил, что Виллани был принят в МВД по рекомендации Райка. В 1950 г. Виллани был приговорен к смертной казни, в 1955 г. реабилитирован.

[64] Огненович Милан (1916—1980) — заместитель генерального секретаря Всевенгерского демократического союза южных славян; в июле 1949 г. арестован в связи с делом Райка, в сентябре того же года приговорен к 9 годам тюремного заключения, в 1956 г. реабилитирован.

[65] Немет Дежё (1913—1949) — полковник Венгерской Народной армии, военный атташе посольства ВНР в Москве; в июле 1949 г. был отозван на родину, арестован и в октябре того же года приговорен к смертной казни. В 1955 г. посмертно реабилитирован.

[66] Дескаш Янош (1912—1950) — участник антифашистского Сопротивления, с 1945 г. работник м аппарата ЦР ВКП, с 1948 г. — полковник, начальник Военно-политического отдела (контрразведки) министерства обороны ВНР. В июле 1949 г. арестован в связи с делом Райка, приговорен к 15 годам тюремного заключения. По личному указанию Ракоши дело Дескаша было пересмотрено, и военный трибунал вынес ему смертный приговор.

[67] Речь идет о книге посла США в Советском Союзе в 1936—1938 гг. Джозефа Дэвиса «Московская миссия» (*Davies J.E.* Mission to Moscow. N.Y., 1941).

[68] Сакашич Арпад (1888—1965) — в 1945—1948 гг. генеральный секретарь Социал-демократической партии Венгрии. При объединении в июне 1948 г. ВКП и СДПВ занял предложенную ему почетную должность председателя ВПТ, вошел в состав политбюро ЦР ВПТ. В 1948—1949 гг. президент Венгерской республики, в 1949—1950 гг. председатель Президиума ВНР. В 1950 г. арестован на основании ложных обвинений в сотрудничестве с хортистской полицией в годы войны. В 1956 г. реабилитирован.

[69] Сюч Миклош (1910—1950) — брат полковника УГБ Эрнё Сюча, был арестован в связи с делом Райка в 1949 г., затем выпущен на свободу, а в 1950 г. — вместе с Э.Сючем — арестован вторично. Как и брат, погиб от пыток во время следствия.

[70] Главный судебный процесс по делу Райка и семерых других обвиняемых проходил в Будапеште в здании дворца профсоюза металлистов 16—17 и 19—22 сентября 1949 г. в

присутствии многочисленной публики, представителей дипломатического корпуса и зарубежных журналистов (из советских журналистов на процессе присутствовал Б.Полевой). По приговору, оглашенному 24 сентября, трое из обвиняемых — Л.Райк, А.Салаи и Т.Сёни — были осуждены на смертную казнь (приговор приведен в исполнение 15 октября), а дело Д.Палфи и Б.Коронди передано военному трибуналу, который 10 октября приговорил их вместе с двумя другими военными, О.Хорватом и Д.Неметом, к смертной казни.

Других подозреваемых, а также свидетелей, выступавших на процессах Райка и Палфи, судили на закрытых заседаниях по группам (военных, сотрудников МВД, эмигрантов «испанцев», «французов», «англичан», «югославов» и т. д.) в течение 1949—1952 гг. Дело Б.Саса и 5 других обвиняемых слушалось 29 ноября 1950 г. В общей сложности, по данным венгерского историка Т.Циннера, в связи с делом Райка состоялось 32 судебных процесса, на которых вынесены приговоры почти 100 обвиняемым, в том числе 15 смертных приговоров. Кроме того, 3 человека покончили с собой в заключении, 1 человек скончался во время следствия, 2 человека — в тюремной больнице. Этот мартиролог можно пополнить родственниками арестованных, которые покончили с собой или скончались во время ареста подозреваемых (4 человека). Несколько лет спустя покончили с собой также председатели судебных заседаний, связанных с делом Райка, — д-р Петер Янко и д-р Бела Йонаш.

[71] Летом 1951 г. по указанию Сталина началось широкомасштабное расследование «дела врачей» и связанного с ним «дела о сионистском заговоре в МГБ». Вместе с В.С.Абакумовым были арестованы десятки высших чинов МГБ, в том числе и генерал-лейтенант М.И.Белкин, в то время зам. начальника 1-го главного управления МГБ. Последний, в частности, вынужден был дать «показания» о связях Г.Петера с западными разведками. На основании этого в январе 1953 г. в Венгрии развернулась подготовка аналогичного масштабного дела о «шпионской организации сионистов». Из 80 человек. арестованных по этому делу, 60 после смерти Сталина были освобождены. Остальным в 1955 г. М.Ракоши и его окружение, пытаясь уйти от ответственности за политические репрессии, отвели роль главных виновников беззаконий («банда Габора Петера»).

[72] Встреча в Москве, о которой пишет Б.Сас, состоялась 13—16 июня 1956 г.

[73] По указу Президиума ВНР об амнистии (26 июля 1953 г.) было освобождено только 3234 интернированных. Всего в местах лишения свободы летом 1953 г. находилось 7093 политических и 24 498 уголовных заключенных. Интернированных и заключенных трудовых лагерей по состоянию на июль 1953 г. насчитывалось 5600 чел. (Törvénytelen szocializmus. A tényfeltáró bizottság jelentése. Budapest, [1991], p.134, 158.)

В мае 1954 г. на встрече в Москве с членами Президиума ЦК КПСС венгерское руководство было подвергнуто резкой критике, в том числе, за затяжку с реабилитацией репрессированных. Реабилитация жертв крупных политических процессов началась в июле 1954 г., когда была освобождена группа незаконно осужденных деятелей ВПТ (Ф.Донат, Я.Кадар, Д.Каллаи, Г.Лошонци, вдова Л.Райка Ю.Райк, С.Уйхейи, Ш.Харасти и др.). Контроль за этим процессом, не завершившимся и к июлю 1956 г., находился в руках Ракоши, который по решению политбюро ЦР ВПТ от 19 мая 1954 г. возглавлял комиссию по реабилитации. С 1955 г. до 1 сентября 1956 г. было пересмотрено только 3938 дел политических заключенных, из которых 2010 были освобождены, а 1019 лицам снижены сроки заключения (Ibid., p. 302).

[74] Я.Кадар, являвшийся заместителем генерального секретаря ЦР ВПТ и министром внутренних дел, был выведен из состава политбюро и арестован в апреле 1951 г. по решению руководящей «тройки» (Ракоши, Герё и Фаркаша). Со Сталиным этот вопрос был согласован задним числом. Несмотря на распространявшиеся впоследствии слухи о применении к нему жесточайших пыток, в действительности это было не так, в чем он сам признался незадолго до смерти. Сломленный к моменту ареста морально и психически, в ходе следствия, которым руководил Владимир Фаркаш, Кадар довольно быстро подписал вымышленные обвинения в сотрудничестве с хортистской тайной полицией и в декабре 1951 г. был приговорен к пожизненному заключению. После освобождения из тюрьмы летом 1954 г. Кадар работал в качестве секретаря одного из райкомов в Будапеште, а затем как секретарь Пештского обкома ВПТ. На июльском пленуме ЦР ВПТ 1956 г. был кооптирован в Центральное Руководство ВПТ и восстановлен в политбюро.

[75] Говоря о моральных издержках и человеческих жертвах, на которые пришлось пойти Я.Кадару ради карьеры, автор имеет в виду его роль в событиях 1956 г. в период, последовавший за ними. В конце октября 1956 г., будучи членом правительства И.Надя и выступая вместе со всеми за вывод советских войск и объявление Венгрии нейтральным государством, Кадар накануне 4 ноября согласился на предложение советского руководства возглавить самопровозглашенное Революционное рабоче-крестьянское правительство и тем самым придать советской интервенции хотя бы видимость законности. Этот способ прихода к власти в дальнейшем привел его к необходимости прибегнуть к массовым репрессиям и террору для упрочения своего режима. В середине декабря 1956 г, чтобы сломить сопротивление общества, в Венгрии вновь были открыты лагеря для интернированных и введен институт чрезвычайного судопроизводства (единственной мерой, которую мог определить чрезвычайный суд, была смертная казнь). Последовала череда закрытых процессов: до начала 60-х годов участникам «мятежа» было вынесено свыше 300 смертных приговоров, десятки тысяч повстанцев, членов рабочих советов и национальных комитетов, деятелей партийной оппозиции, писателей, журналистов — впоследствии практически все они были реабилитированы — оказались в тюрьмах и лагерях.

[76] Хегедюш Андраш (1922—2001) — в 1951—1956 гг. член политбюро ЦР ВПТ, с апреля 1955 г. по 24 октября 1956 г. председатель Совета министров ВНР. В кадаровскую эпоху занимался социологией, выступал за либерализацию режима. В 1973 г. за свои политические взгляды исключен из ВСРП.

[77] Кружок Петефи — дискуссионный клуб, функционировавший с 1955 г. в рамках Союза трудящейся молодежи Венгрии. Активизировал свою деятельность весной 1956 г., став в конце мая — июне главным форумом демократической оппозиции режиму Ракоши.

[78] 28 июня 1956 г. в польском городе Познани демонстрация рабочих, выступивших за улучшение условий труда, вылилась в вооруженное восстание, подавленное с помощью армии. Свыше 70 человек погибло, более 300 было ранено.

[79] Имеется в виду первая после 1945 г. встреча на высшем уровне руководителей четырех великих держав — США, Великобритании, Франции и СССР, состоявшаяся в Женеве в июле 1955 г.

[80] Июльская программа — программа правительства И.Надя, провозглашенная с трибуны сессии Государственного собрания ВНР 4 июля 1953 г., была направлена на осуществление далеко идущих экономических и политических реформ. Был принят ряд мер, призванных исправить последствия форсированной индустриализации и насильственной коллективизации, восстановить законность в деятельности правоохранительных органов. Этот

курс, связанный с деятельностью на посту председателя Совета министров И.Надя, был свернут после мартовского (1955 г.) пленума ЦР ВПТ, осудившего Надя за «правый уклон» и восстановившего единовластие М.Ракоши.

[81] «Декларации о содействии всеобщему миру и сотрудничеству», принятая Бандунгской конференцией (1955) 29 стран Азии и Африки, провозгласила пять принципов мирного сосуществования — принципы взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды и мирного сосуществования. И.Надь предлагал положить эти принципы в основу внешней политики Венгрии в своих полемических письмах и заявлениях 1955—1956 гг., в которых развенчивалась политика М.Ракоши и его окружения и отстаивалась идея «венгерского пути» к социализму. В 1957 г. сборник этих его работ был опубликован на Западе на венгерском и ряде других языков (*Nagy I.* On Communism. In Defense of the New Course. London, 1957).

[82] В конце сентября — начале октября 1956 г. первый секретарь ЦР ВПТ Э.Герё встречался в Крыму с отдыхавшими там Хрущевым и другими советскими руководителями. Там же 30 сентября состоялась его встреча с Тито и Ранковичем и при посредничестве Хрущева была достигнута договоренность о визите венгерской партийно-правительственной делегации в Югославию, который состоялся с 15 по 22 октября 1956 г.

[83] Мезё Имре (1905—1956) — участник гражданской войны в Испании и движения Сопротивления во Франции. С 1950 г. секретарь Будапештского горкома ВПТ. 30 октября 1956 г. был смертельно ранен во время штурма повстанцами здания Будапештского горкома партии.

[84] 4 ноября 1956 г., после начала советской интервенции, И.Надь вместе с некоторыми другими членами его правительства и сторонниками получил убежище в югославском посольстве, при выходе из которого 22 ноября они были арестованы советскими военными властями и 23 ноября депортированы в Румынию. Захват группы Надя стал возможен благодаря тому, что накануне представители Югославии получили от Я.Кадара письменные гарантии в том, что Надь и члены его группы не будут преследоваться венгерскими властями и смогут вернуться домой.

В апреле 1957 г. члены группы были доставлены в Будапешт. В июне 1958 г. на закрытом судебном процессе И.Надю и трем его сторонникам вынесли смертный приговор за «измену родине и организацию заговора с целью свержения народно-демократического строя», других приговорили к длительным срокам тюремного заключения. 16 июня 1958 г. смертные приговоры были приведены в исполнение.

[85] В сентябре 1957 г., за два месяца до сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в повестку дня которой был включен «венгерский вопрос», был обнародован доклад специальной комиссии ООН по расследованию событий октября-ноября 1956 г. в Венгрии и роли СССР в подавлении венгерской революции (United Nations. Report of the Special Commitee on the problem of Hungary. N.Y., 1957). Поскольку правительство Кадара не допустило членов комиссии на территорию Венгрии, доклад в значительной мере основывался на свидетельских показаниях участников революции, оказавшихся после ее подавления на Западе. В интересах безопасности свидетелей (а их было несколько сотен) их имена комиссией не разглашались.

Вячеслав Середа

ОБ АВТОРЕ, О КНИГЕ И ПРОЦЕССЕ РАЙКА

Бела Сас в конце своего горького, но написанного без гнева и пристрастия повествования, относит себя к числу Колумбов XX века — к категории тех восточноевропейских интеллектуалов, еще в юности захваченных пафосом революционного действия, которые пришли к убеждению, что выход из вопиющей социальной несправедливости окружавшего их мира — в Ленине и марксизме. Но, отправившись на поиски новой земли, после долгих (или не слишком долгих) странствий эти люди открыли совсем другие края, мир, ужаснувший их во сто крат большей несправедливостью, беззаконием, жутким цинизмом и прежде всего беспредельной жестокостью. Возможно, они плохо поняли или не хотели понять Ленина, откровенно учившего в пресловутой «Детской болезни...» будущих бойцов Коминтерна: нравственно, а стало быть, допустимо все, что полезно для «дела рабочего класса».

Книгу Саса можно поставить в один ряд с более известными произведениями Кёстлера, Оруэлла, Солженицына, югославов Джиласа, Данило Киша, Михаиловича. Этот ряд может быть продолжен, но произведение Саса интересно, прежде всего, не разоблачением беспощадного механизма репрессий как универсального инструмента господства коммунистической власти, не собранием обвинительных материалов против тоталитарного строя (все это в нем, разумеется, есть), а уникальностью человеческого документа, личного опыта автора, который только и может сообщить такого рода произведению историческую достоверность.

Бела Сас родился в 1910 году в г. Сомбатхейе у западной границы Венгрии, а умер в английском Норфолке, в 1999-ом. Между этими датами — учеба в Будапеште, сначала на экономическом факультете Технического университета, затем на филологическом факультете Университета им. П.Пазманя, где Сас изучал венгерскую и французскую литературы, занимался искусствоведением (именно здесь познакомился он с Ласло Райком, что годы спустя роковым образом повлияло на его судьбу). В 1937 году, эмигрировав во Францию, Сас включился в интеллектуальную жизнь Парижа, был ассистентом известного французского режиссера Жана Ренуара, симпатизировавшего коммунистам, а незадолго до гитлеровского вторжения переселился в Аргентину, где с 1941 года был генеральным секретарем по Латинской Америке антифашистского Движения за освобождение Венгрии, а также редактором нескольких венгерских антифашистских журналов.

Поскольку книга эта автобиографична, ограничимся далее лишь событиями жизни автора, выходящими за рамки его повествования. В начале 1957 года, по совету одного из осведомленных друзей, Бела Сас эмигрирует из родной страны, где, по всей вероятности, его вновь ожидал арест. После краткого пребывания в Австрии он находит пристанище в Англии, и в течение ряда лет сотрудничает в эмигрантской венгерской литературной газете («Иродалми Уйшаг»), работает в Брюссельском институте имени Имре Надя, занимающемся историей венгерской революции 1956 года, а с 1965 года становится внештатным автором венгерского отдела Би-би-си. В 1963 году. в Западной Германии вышла его книга «Без всякого принуждения (История одного сфабрикованного процесса)», получившая широкую известность после перевода ее на несколько западных языков. В течение 26 лет, вплоть до падения коммунистического режима, эта книга, одна из самых достоверных хроник о процессе Райка и иных беззакониях венгерского сталинизма, была в Венгрии под запретом, ее тайно ввозили из-за границы и читали, как некогда читали у нас «самиздат».

Произведение, вскрывающее механизм фабрикации самого нашумевшего политического процесса рубежа 40—50-х годов — суда над Ласло Райком и другими деятелями венгерской компартии, является именно *художественным* свидетельством: факты, изложенные в ней, достоверны, почерпнуты из личной биографии автора, но написана она талантливым литератором и читается подстать роману. По сути, это документальный роман, но из общего ряда его выделяет то, что содержащиеся в книге свидетельства о механизме репрессий, о процессе политической криминализации коммунистического режима в послевоенной Венгрии, а также выводы относительно инициаторов дела Райка и их политических целей ни в целом, ни даже во многих частностях не противоречат тем знаниям, которыми располагают сегодня историки, изучающие этот период на основе ранее недоступных источников. И все же некоторые сведения, почерпнутые в архивах и современной исторической литературе, могут дополнить и уточнить то, о чем мы читаем в книге Белы Саса.

Повествование Саса начинается с мая 1949 года, в момент, когда приближался к своей кульминации процесс советизации Восточной Европы, создания в странах, оказавшихся в сфере влияния СССР, режимов единого сталинского образца. Международным фоном и действенным стимулом этих процессов был спровоцированный и умело разжигавшийся Сталиным конфликт с Югославией. В воспоминаниях Милована Джиласа, неоднократно общавшегося с высшим кремлевским руководством в конце войны и сразу после победы, зафиксировано высказыва-

ние Сталина, сделанное в апреле 1945 г. на закрытом ужине в честь Тито, приехавшего в Москву: «В этой войне, — говорил генералиссимус, — не так, как в прошлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может»*. Парадокс в отношениях с Югославией заключался в том, что коммунистическая система сталинского образца была «насаждена» в Югославии маршалом Тито и его партией раньше, чем где бы то ни было в Центральной и Юго-Восточной Европе, причем, в отличие от других стран, по сути, самостоятельно, при минимальной помощи Красной Армии. Отсюда — беспрецедентный, сопоставимый со сталинским, авторитет югославского лидера после войны в компартиях стран «народной демократии», позволявший ему делать жесты, которые приводили кремлевского Хозяина в ярость. Если в других странах будущего соцлагеря каждый шаг коммунисты, еще только подбиравшиеся к абсолютной власти, согласовывали с Москвой и, кроме того, находились под контролем, осуществлявшимся через посольства, военных, многочисленных экономических советников и, не в последнюю очередь, через разветвленную сеть доверенных лиц советской госбезопасности, то Тито, напротив, всячески пресекал активность советских чекистов по вербовке агентов в руководящих органах Югославии, отказывал он советским представителям и в предоставлении секретной информации об экономике страны. Терпение Кремля иссякло в начале 1948 года, когда под эгидой Тито на Балканах стали формироваться контуры федерации, сначала болгаро-югославской, затем возникла идея таможенного союза с Румынией. Кроме того, фактически было подготовлено объединение Югославии и Албании. Немало сторонников конфедерации дунайских народов, еще со времен Кошута, было и в Венгрии. Под угрозу было поставлено единовластие Сталина в регионе. Отказ югославов от беспрекословного подчинения Москве в глазах Сталина был равнозначен измене делу социализма и переходу в стан классового врага. В июне 1948 года собравшееся в Бухаресте второе совещание Коминформа — созданного годом раньше координационного органа 9 компартий (советской, стран «народно-демократического» лагеря, а также французской и итальянской) — в резолюции «О положении в КПЮ» предало анафеме Тито и его соратников, обвинив их во всех грехах от мелкобуржуазного национализма, контрреволюционного троцкизма и меньшевизма до ликвидаторства, бюрократизма, ревизионизма и установления в партии террористического режима. [illegible] вызвала растерянность и смятение в рядах КПЮ, поставленной цели — а именно, свержения титовского руково-

* *Джилас М.* Лицо тоталитаризма. Пер. с сербо-хорв. М., «Новости», 1992. С. 84.

дства «здоровыми силами» партии — не достигла. Военные приготовления против Югославии либо физическое устранение Тито (так, впрочем, и не удавшееся) требовали времени. Проще всего было, следуя уже отработанному в 30-е годы сценарию, сделать из Тито нового Троцкого, посадив на скамью подсудимых его вымышленных союзников и агентов. Подобный сценарий мог решить сразу две задачи — изолировать Югославию от соцлагеря и с помощью Страха намертво сцементировать антиимпериалистический «лагерь мира» в монолитный и легко управляемый просоветский блок.

Так начался ужасающий по размаху и количеству пролитой крови восточноевропейский сталинский триллер, состоявший из бесконечной череды — публичных и тайных — фальсифицированных процессов. Первой жертвой пал албанский министр внутренних дел Кочи Дзодзе — соперник Энвера Ходжи, единственный, кстати, из всех жертв этих процессов проюгославски ориентированный политик. Процесс против «Кочи Дзодзе и его банды югославских агентов и саботажников» начался 12 мая 1949 года за закрытыми дверями. В обвинительном акте указывалось, что они вместе с Тито составили заговор с целью свержения албанского правительства, убийства вождя партии и включения Албании в состав Югославии. В свою очередь Тито, как говорилось дальше, получил задание от империалистических разведывательных служб выковать из балканских стран антисоветский блок. Дзодзе «признался» в том, что еще в 30-е годы он был завербован в шпионы монархической партией, а во время войны пошел служить в англо-американскую шпионскую сеть. В 1943 года глава английской военной миссией сообщил ему, что Тито является его секретным агентом, и поручил установить связь с югославским политбюро. Было заключено секретное соглашение, по которому после прихода коммунистов к власти в обеих странах, Дзодзе должен был взять на себя руководство албанской партией и подчинить ее югославской. В начале июля 1949 года закрытый процесс был закончен и Дзодзе казнен, после чего за ним последовали еще сотни албанских коммунистов.

Но это была только репетиция, где отрабатывались основные элементы спектакля, которые потом, как мы видели, нашли свое применение и в процессе Райка. Для достижения поставленных целей Сталину нужны были открытые, хорошо срежессированные процессы. В качестве такового планировался процесс по делу арестованного в июле того же года видного деятеля Болгарской компартии Трайчо Костова, который, правда, в отличие от Кочи Дзодзе, вовсе не симпатизировал Тито. Но подготовка судилища затянулась. Четыре месяца Костов, второй человек в БКП, сопротивлялся под пытками, не соглашаясь подписать ложные обвинения в подготовке свержения законного правительства и присое-

динения Болгарии к Югославии. Суд состоялся только в начале декабря 1949-го и — чего еще не бывало в практике сталинских показательных процессов — по сути сорвался. Болгарский подарок к 70-летию Сталина не удался. Во время слушаний Костов отказался от сделанных на предварительном следствии признаний, хотя это и не спасло его от сметного приговора.

По признанию Габора Петера, бывшего шефа венгерской госбезопасности, после процесса по делу Костова генсек ВПТ Матяш Ракоши заявил ему: «Хорошо бы мы выглядели, если бы и у нас так прошло! Эх, ничего-то они не понимают в этих вещах!»

В самом деле, в череде антититовских процессов, прокатившихся по Восточной Европе, суд над Райком занимает особое место. Грандиозное действо, состоявшееся в сентябре 1949 года, потрясло мировую общественность не меньше, чем знаменитые сталинские процессы 1937—1938 годов. На открытом процессе член политбюро и министр иностранных дел (годом раньше — министр внутренних дел) ВНР, один из популярнейших руководителей партии, Ласло Райк сознался в заговоре, цель которого якобы состояла в том, чтобы арестовать членов правительства (наиболее видных — Ракоши, Фаркаша и Герё — ликвидировать), уничтожить в стране народно-демократический строй и, оторвав Венгрию от СССР, реставрировать в ней капиталистические порядки. По сценарию, изложенному подсудимыми на процессе, этот замысел был только частью обширной подрывной деятельности «антинародной клики» Тито и ее заокеанских хозяев, направленной против всего лагеря народно-демократических стран.

Очень многие обстоятельства возникновения этого дела указывают на «московский почерк» организаторов. И сомнительный компромат на одного из будущих подсудимых, который был получен из Европы от загадочного агента венгерской разведки (возможно, явившегося орудием советского МГБ) и не менее года пылился в архиве военной разведки, прежде чем началось невиданное по размаху расследование и волна арестов; и демонстрация венгерским генсеком лояльности к будущей главной жертве процесса незадолго до ее ареста (в феврале 1949 г. Ласло Райк выдвигается на пост генерального секретаря Народного фронта независимости, а 1 мая на праздничной трибуне стоит рядом с Ракоши); и показные предостережения, сделанные Ракоши при свидетелях начальнику УГБ, о необходимости тщательным образом соблюдать законность при получении показаний, — эти и многие другие детали свидетельствуют о том, что «лучший венгерский ученик Сталина», как называли Ракоши в тогдашних газетах, глубоко постиг режиссерскую школу сталинских репрессий. Достаточно напомнить одну подробность: инст-

руктируя сотрудников НКВД, привлеченных в 1936 г. к расследованию дела Каменева, Зиновьева и их «сообщников», Ягода зачитал следователям директиву о недопустимости применения к обвиняемым угроз и пыток; и советские следователи, как позднее их венгерские коллеги, естественно, правильно поняли скрытый смысл указаний.

Один из вопросов, занимающих историков, состоит в том, насколько были самостоятельны в своих действиях «наместники» Сталина в странах Восточной Европы, в какой мере они действовали на свой страх и риск, или проявляли инициативу, пытаясь предугадать пожелания и реакцию Хозяина. С этим, в частности, связан вопрос об ответственности за все, совершенное в этих странах после второй мировой войны, включая ответственность за репрессии, развязанные в 40—50-х гг. против всех, по сути, слоев общества, во главе которого они оказались.

В своих мемуарах Хрущев, исходя из собственных впечатлений, был склонен преуменьшать роль Ракоши в массовых репрессиях в Венгрии. После 1945 г., вспоминал Хрущев, «и он (Ракоши) оказался причастен к истреблению кадров. Правда, в первые послевоенные годы он вроде бы сопротивлялся Сталину в этом отношении. Когда Сталин называл имена очередных врагов народа, среди которых были члены ВКП, Ракоши не соглашался с ним и доказывал, что они честные люди и что он им верит. Но Сталин сразу же направил во все братские партии своих советников, в основном чекистов. Многие из них уже «отличились» в СССР кровавыми методами расправы с кем попало... Когда Ракоши приезжал в Москву, то уже не он докладывал Сталину о врагах народа в Венгрии, а Сталин указывал ему: вот такой-то делает то-то, а Вы не видите, Вы слепец, слепой погубит дело и себя погубит. Ракоши защищался. Раз это было при мне. Присутствовали все члены Политбюро ЦК ВКП(б), но мы ничего не могли промолвить. Ведь все разведывательные данные о странах народной демократии докладывались Сталину, а он уж определял, что нужно и чего не нужно знать членам Политбюро» *.

Читая воспоминания Хрущева, нельзя, разумеется, забывать, что написаны они человеком, который и сам при жизни Хозяина отличался немалым рвением в «истреблении кадров» в Москве и на Украине.

Венгерский генсек, после своей отставки в 1956 году находясь в СССР на положении ссыльного, писал свои мемуары примерно в то же время, что и Хрущев. В них тоже есть ряд страниц, касающихся репрессий в Венгрии, в том числе и процесса по делу Райка. В частности, он вспоминает, как буквально остолбенел, когда ему доложили о возникших в связи с Райком подозрениях: «Выходит, и у нас возможно то, что было в Советском Союзе в 1937 году!» — пронеслось у меня в голо-

---

* Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории, 1994, № 5. С. 73–74.

ве», — пишет он. В интерпретации Ракоши дело Райка было провокаций Берии вкупе с его венгерским подручным Габором Петером, а в конечном счете — одной из самых удачных провокаций американских спецслужб против стран народной демократии*.

Но вот документ, в котором зафиксирована беседа, состоявшаяся между М.Ракоши и С.Г.Заволжским, сотрудником канцелярии Секретариата Коминформа, о подготовке к процессу по делу Райка. «11 июля 1949 г. Сов. секретно. (...) В беседе со мной т. Ракоши заявил следующее: О преступной деятельности Райка мы знали давно, но выжидали случая для его полного разоблачения. Когда для нас стало ясно, что Райк предатель, мы решили его арестовать (...). Тов. Ракоши предполагает, что Райк был одновременно агентом Тито и США. С Тито Райк встречался и работал в Париже, когда Тито занимался отправкой бойцов-коммунистов в интернациональную бригаду в Испании. С Ранковичем Райк находился вместе в лагере во Франции. Тов. Ракоши утверждает, что Райк имел тесную связь с Ранковичем, Вукмановичем, Миличем и Коста Надж. Тито, по показаниям Райка, обещал ему военную помощь в какой-либо форме для осуществления в Венгрии правительственного переворота и организации в Венгрии государственного устройства по югославскому типу. Мое личное впечатление, сказал т. Ракоши, что группа Райка хотела убить меня. Тов. Ракоши предполагает, что имеется единая цепь шпионажа в странах народной демократии и в первую очередь в Чехословакии. Не называя фамилий, т. Ракоши указал на двух заместителей т. Климентиса, редактора «Руде право» и секретаря у т. Готвальда. Тов. Ракоши сказал, что об этом он информировал лично т. Готвальда, но пока руководители компартии Чехословакии мер никаких не принимали (...)»

В тот же день упомянутый С.Заволжский обсуждал этот вопрос с другим высшим руководителем ВПТ, М.Фаркашем, который — за два месяца до начала процесса — уже рапортовал о том, какой приговор будет вынесен «народным судом» преступнику Райку: «Разоблачению Райка мы придаем большое значение, сказал т. Фаркаш. Видимо, имелся единый центр, и Райк был связан с ему подобными в Польше, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Италии, Франции. После окончания следствия Райка будем судить и приговорим к повешению»**.

---

* Часть мемуаров Ракоши, касающаяся дела Райка, см.: «Людям свойственно ошибаться». Из воспоминаний М.Ракоши // Исторический архив. 1997, № 3. Публ. А.В.Короткова, В.Т.Середы, А.Д.Чернева, А.А.Чернобаева.

** Документы Российского государственного архива социально-политической истории; цитируются по подготовленному к публикации сборнику документов «Венгрия под сенью Коминформа. Дело Райка в контексте сталинской внешней политики».

Еще более красноречиво обстоятельства «расследования» и ту лепту, которую внес в успех фабрикации дела Райка лично венгерский генсек, изложил 10 июля 1956 года в письме, адресованном комиссии ВПТ по расследованию репрессий, уже осужденный к пожизненному заключению Габор Петер. Поскольку комиссия имела возможность проверить изложенные в этом письме факты, то к ним можно отнестись серьезно. Вот некоторые выдержки из этого замечательного в своем роде, написанного полуграмотным, но обладавшим профессиональной памятью экс-начальника тайной полиции Ракоши:

«Совершенно секретно!

Отдаю себе отчет в том, что пишу на высокое усмотрение Партийной Комиссии.

Подчиняюсь голосу своей совести, который диктует мне, что партия должна знать все! Всю правду! Все, как оно было на самом деле! (...)

16 апреля 1956 г., в понедельник, около полудня, меня доставили к завотделом Прокуратуры Бакошу, который сказал следующее: «Я к вам от партии. Я сотрудник Прокуратуры. Опишите мне, в точном соответствии с истиной, как проходили дела Райка, Кадара и военных».

Я начал рассказывать. Но когда я произнес имя Матяша Ракоши, он перебил меня: «О Старике говорить не надо!» Он повторил это дважды: «О Старике говорить не надо!»

Однако, если я не могу говорить о Матяше Ракоши, то у меня нет возможности рассказать всю правду.

Я попросил дать мне вопросы письменно.

(...) Я не могу отвечать на эти вопросы, не касаясь Матяша Ракоши. Почему? Потому что от Матяша Ракоши Белкин получал указания о том, как вести дело Райка!

Это — чистая правда!

Матяш Ракоши обсуждал с Белкиным все вопросы, касающиеся допросов Райка. Об этих беседах Белкин рассказывал следующее:

«У нас идут ожесточенные споры. Почти всегда они кончаются ссорой. Он хочет все новых и новых признаний. Ему все мало. Теперь ему нужно, чтобы Райк признался, что хотел убить Ракоши. А когда то, чего он требовал, появляется в протоколе, он заявляет: «Ну что, я же говорил!» А если не появляется: «Вы просто не знаете здешних условий! Они тут хотели захватить власть! Они собирались нас убить!!!» (...)

Белкин встречался с Матяшем Ракоши трижды в неделю. Несколько раз — вместе с полковником Макаровым. Он проводил там по нескольку часов. «Дознание» Райка Белкин продолжал, следуя указаниям Матяша Ракоши. Указания эти он заносил в отдельную книжку. «По ка-

ким вопросам нужно "вести дознание" Райка?» Результатами этого стали «признания» Райка и его товарищей. Обвинительные заключения Райка и его товарищей!

Во второй половине августа 1949 г. мы собрались на квартире Матяша Ракоши (ул. Йожефа Сабо), чтобы обсудить процесс по делу Райка. Нас было четверо: 1) Матяш Ракоши, 2) Петер Янко, 3) Дюла Алапи, 4) Габор Петер.

На этой встрече Матяш Ракоши давал «ориентировочные соображения», то есть, попросту говоря, указания Петеру Янко как судье, Дюле Алапи как прокурору, о том, как надо провести процесс по делу Райка.

Петер Янко и Дюла Алапи вели судебные заседания в соответствии с полученными здесь указаниями.

Обвинительное заключение по делу Райка с первых строк редактировал Матяш Ракоши. «Прокурор пусть только выберет соответствующие параграфы!» — сказал Матяш Ракоши.

Собственноручно отредактированное им обвинительное заключение Матяш Ракоши на спецсамолете отвез в Москву.

Привезя обвинительное заключение назад из Москвы, он сказал следующее: «Пальцем у меня не трогайте! Ни запятой не меняйте! Это так и должно прозвучать!» (С этим напутствием я и вручил его Дюле Дечи.)

За несколько дней до процесса Матяш Ракоши спросил меня: «Скажите, сможет прокурор произнести обвинительное заключение так, будто это его собственные слова?» «Ничего, отрепетирует», — ответил я. Матяш Ракоши с самодовольной улыбкой добавил: «Правда ведь, прокурор был бы рад, умей он писать такие обвинительные заключения?»

Перед процессом Белкин пришел к Матяшу Ракоши обсудить моменты, связанные с подготовкой и проведением процесса. Опираясь на то, что они там говорили, Белкин приготовил вопросы, которые судья и прокурор должны задать обвиняемому. Эти вопросы, приготовленные Белкиным для судьи и прокурора, я перед началом процесса передал для просмотра и одобрения Матяшу Ракоши.

Незадолго до начала процесса Матяш Ракоши внимательно прочитал 1) показания обвиняемых, 2) вопросы судьи, 3) вопросы прокурора, 4) обвинительную речь прокурора, 5) речи адвокатов, 6) что захотят сказать обвиняемые в последнем слове. Он снабдил их словесными и письменными замечаниями. И одобрил.

Из зала судебного заседания в кабинет Матяша Ракоши был проведен репродуктор. Он слушал процесс от начала до конца.

На время процесса в его кабинете был установлен особый телефон, который вел в мою комнату, находившуюся на том же этаже, что и зал заседаний.

По этому телефону он часто звонил мне и постоянно передавал новые и новые вопросы для обвиняемого и указания для судьи и прокурора. «Судья пусть меньше говорит! Пусть говорит обвиняемый!» «Хорошо, если бы этот обвиняемый поговорил еще!» «Видите, в чем беда: слаб этот судья в политике! Не знает, как надо действовать!» «У меня волосы дыбом встают, когда я это слушаю!» «Чего судья все время влезает со своими вопросами? Пускай обвиняемый выговорится!» «До перерыва пусть не заканчивает допрос обвиняемого, могут возникнуть новые вопросы, которые надо будет обговорить в перерыве». «Судья что, целый день собирается вести заседание?! К 3 часам обязательно надо закончить! Иначе материал не появится в утренних газетах. И радио должно его передать в вечерних выпусках!»

Таковы были указания суду.

А вот указания для обвиняемых:

«Скажите, можно как-нибудь сделать, чтобы Сёни сказал следующее: «О следственных органах ходили слухи, будто в работе с обвиняемыми они применяют актедрон, чтобы принуждать их к необходимым ответам. Как обвиняемый и как врач могу заявить: я убедился, что в этих слухах нет ни слова правды!» (И Сёни это сказал.)

Матяш Ракоши распорядился, чтобы судья спросил у Райка: «Ну и в чем была ваша цель?» Райк должен был ответить: «Отдать землю помещикам! Заводы — капиталистам!» (Так и случилось.) (...)

Так Матяш Ракоши режиссировал процесс Райка!

За день до вынесения приговора Матяш Ракоши вызвал меня в ЦР. У себя в кабинете он достал из внутреннего кармана бумажник. Из него вынул листок бумаги длиной 10 см и шириной 5 см. На бумаге были написаны имена Ласло Райка и его товарищей. И — рукой Матяша Ракоши — приговор для каждого.

Так рождались «судебные решения»!

*Так Ласло Райку и его товарищам был вынесен смертный приговор!»**

Эта пространная цитата, позволяющая заглянуть за кулисы инсценированного судилища, многое оставляет в тени — автор, в частности, предпочитает не распространяться о собственной роли в организации процесса Райка и множества других кровавых злодеяний руководимой им венгерской тайной полиции, несколько идиллически изображает он и советских коллег, у которых учился и перенимал опыт. Но главное

---

* Цитируется по тому же источнику. Пер. с венг. Ю.Гусева.

заблуждение бывшего шефа венгерского УГБ — в том, что приговор Ласло Райку и его «соучастникам» мог быть вынесен лично Ракоши. Вопрос этот был слишком важным для Москвы, чтобы Сталин мог перепоручить его своему наместнику.

Согласно журналу регистрации посетителей кремлевского кабинета Сталина, 20 августа 1949 г. состоялась встреча Ракоши со Сталиным. В обсуждении, которое продолжалось с 19 ч. 00 мин. до 21 ч. 20 мин., участвовал Г.М.Маленков. С 20 ч. 45 мин. в кабинете присутствовал также Н.А.Булганин, а перед самым завершением встречи, возможно, для получения указаний, связанных с подготовкой процесса Райка, были приглашены руководители МГБ СССР Абакумов и МВД СССР Круглов.

В своих мемуарах Ракоши вспоминает, что обсуждался на встрече прежде всего проект обвинительного заключения по делу Райка. Документ этот Сталин уже изучил, кое-что вычеркнул, внес поправки. «Он сказал, — пишет Ракоши, — что у него имеется целый ряд замечаний по обвинительному акту. Страницу за страницей мы просмотрели текст, и я внес в венгерский экземпляр предложенные изменения. Те вопросы, с которыми я был не согласен, мы обсудили. Это была весьма большая работа. Затем Сталин спросил, имеется ли какое-либо мнение относительно приговора. Я сказал, что разговаривал с судьями, товарищами и сложилось такое мнение, что нет необходимости в смертном приговоре. Сталин согласился, но тотчас же добавил, что все зависит от того, что выяснится на суде, каково будет влияние на трудящихся, и предложил в период между окончанием суда и вынесением приговора еще раз вернуться к этому вопросу»*.

Оба участника этого разговора, даже если предположить, что он воспроизведен дословно, конечно же, понимали, «*что* выяснится на суде» и «*каково* будет влияние на трудящихся». Но уже за два дня до судебного процесса, 14 сентября 1949 года, венгерский генсек, прекрасно понимая, чего ждал от него Хозяин, обратился к нему с письмом, в котором, ссылаясь на «мнение» председателя суда, информировал его о предрешенном уже приговоре: «Уважаемый товарищ Сталин! Процесс по делу Райка начнется послезавтра, 16 сентября. Приговор будет вынесен, повидимому, в субботу, 24 сентября. Ознакомившись с материалом, председатель суда считает, что за исключением шпиона Огненовича всех нужно приговорить к смертной казни. По нашему мнению, 7 смертных приговоров — много. Мы считаем, что Райка, Сеньи и Салаи следует

---

* «Людям свойственно ошибаться». Из воспоминаний М.Ракоши // Исторический архив. 1997, № 3.

приговорить к смерти, Бранкова и Юстуса — к пожизненному заключению, Огненович получит соответствующее тюремное наказание, а Палфи и Коронди суд предаст — при вынесении приговора — военному трибуналу, который после тайного слушания дела вынесет над ними приговор. Председатель суда считает, что было бы правильным, если бы он приговорил и военных. Против всех приговоров будут поданы кассационные жалобы и последнее слово скажет кассационный суд. (...) С горячим коммунистическим приветом М.Ракоши»*.

На это письмо Филиппов (под этим псевдонимом Сталин после войны вел секретную переписку с лидерами стран «народной демократии») 22 сентября ответил: «Не возражаю против Вашего предложения о характере судебного приговора в отношении обвиняемых. Я отказываюсь от своего мнения в отношении Райка, которое я высказывал Вам во время беседы в Москве. Считаю, что Райка надо казнить, так как любой другой приговор в отношении Райка не будет понят народом...». Комментарии здесь, пожалуй, излишни. Сатрапы Сталина, как известно, умели угадывать его желания…

16—19 ноября 1949 года в Венгрии в обстановке глубокой секретности и строжайших мер безопасности состоялось третье (и последнее) совещание Коминформа, принявшее резолюция под названием «Компартия Югославии под властью убийц и шпионов». Репрессии покатились кровавой волной по другим странам советского блока, в каждой из которых искали своих «Райков». А в изолированной от советского лагеря Югославии с новой силой продолжились не менее кровавые репрессии и показательные процессы, направленные против явных и мнимых сторонников Коминформа.

Книга Саса, написанная «без всякого принуждения» (этой формулой в венгерском суде предваряют свои показания свидетели), содержит не только ценнейшие исторические свидетельства, но и уроки. Главный из них сформулировал в заключительной главе сам автор: почти все сфабрикованные процессы, в конечном счете, всегда срабатывали мимо цели и приводили к результатам, прямо противоположным замыслам их инициаторов. Судьба созданного рукою Сталина монолитного лагеря социализма — наглядное тому подтверждение.

Вячеслав Середа

---

* Архив Президента Российской Федерации. Ф. 3. Оп. 64. Д. 503. Л. 140.

Содержание

БЕЛА САС

БЕЗ ВСЯКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

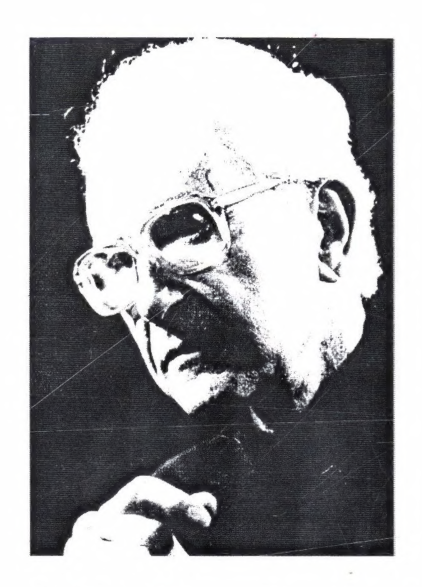
Перевод с венгерского
Елены Малыхиной

Комментарии, послесловие
Вячеслава Середы

В оформлении обложки использована работа венгерского скульптора Тибора Вильта «Клетка» (1949)

Регистрационный номер 768 в Минпечати РФ
Подписано в печать 15.12.2002

Типография ВТИИ
Формат 60×84 $^1/_{16}$. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 18. Тираж 1000 экз. Заказ 1091С.
Москва, ул. Красноармейская 21.



«Если бы я располагал более богатой эрудицией, я попытался бы описать историю человечества как историю сфабрикованных процессов. Я начал бы с процессов афинянина Сократа, Иисуса из Назарета, затем перебрал бы все менее знаменитые личности сходной судьбы, чтобы в заключение не без злорадства констатировать: почти все сфабрикованные процессы, в конечном счете, привели к результатам, прямо противоположным замыслам их инициаторов. Именно так случилось и с делом Райка».

Книга Белы Саса (1910–1999) «Без всякого принуждения», впервые опубликованная 1963 году на Западе, – одно из первых и замечательное в своем роде свидетельство о становлении послевоенных тоталитарных режимов в Восточной Европе, о процессе их криминализации, о чудовищном механизме политической репрессий. Обладая исключительной памятью, Бела Сас с предельной точностью рассказывает о фабрикации самого нашумевшего политического процесса рубежа 1940–50-х годов – дела Ласло Райка, по которому он и сам был одним из обвиняемых и лишь благодаря собственной стойкости избежал смертного приговора. Талантливый литератор, Бела Сас создал яркое документально-художественное произведение, которое читается с напряженным интересом.

КОММЕНТАРИИ

Бела Сас ■ БЕЗ ВСЯКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ